

РУССКИЙ ЖЕСТОКИЙ РАССКАЗ

18+

СОСТАВИТЕЛЬ

ВЛАДИМИР СОРОКИН

RUS 808.831 SOROKIN, VL
Sorokin, Vladimir,
compiler.
Russki zhestoki rasskaz

СОСТАВИТЕЛЬ
ВЛАДИМИР СОРОКИН

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ
ВЛАДИМИР ОДОЕВСКИЙ
МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
ВСЕВОЛОД ГАРШИН
АНТОН ЧЕХОВ
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
ФЕДОР СОЛОГУБ
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
ИВАН БУНИН
СЕМЕН ПОДЪЯЧЕВ
ВЛАДИМИР НАБОКОВ
ГАЙТО ГАЗДАНОВ
ИСААК БАБЕЛЬ
МИХАИЛ ЗОЩЕНКО
ДАНИИЛ ХАРМС
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ
ВАРЛАМ ШАЛАМОВ
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
ВАСИЛЬ БЫКОВ
ЮРИЙ МАМЛЕЕВ
ВЛАДИМИР КАЗАКОВ
ЕВГЕНИЙ ХАРИТОНОВ
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ
ЮРИЙ БУЙДА
ВИКТОР ПЕЛЕВИН
РОМАН СЕНЧИН
МИХАИЛ ЕЛИЗАРОВ
ВЛАДИМИР СОРОКИН

РУССКИЙ ЖЕСТОКИЙ РАССКАЗ

СОСТАВИТЕЛЬ
ВЛАДИМИР СОРОКИН



издательство **АСТ**

Москва

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)-44
Р89

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Р89 Русский жестокий рассказ: сборник/ составитель Владимир Сорокин. —
Москва : АСТ : CORPUS, 2014. — 636, [4] с.

ISBN 978-5-17-085231-4

В сборник короткой прозы “Русский жестокий рассказ”, составленный Владимиром Сорокиным, вошло 32 произведения русских и советских писателей. Различные по духу, стилю и содержанию, все они исследуют феномен человеческой жестокости: авторы приоткрывают дверь в пространство иррационального, фиксируя момент, когда разум уступает место инстинкту и культурные коды теряют значение.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)-44

ISBN 978-5-17-085231-4

- © В. Сорокин, В. Набоков, И. Бабель, А. Платонов, В. Шаламов, В. Быков, В. Ерофеев, Т. Толстая, Ю. Буйда, В. Пелевин, Ю. Мамлеев, Р. Сенчин, М. Елизаров, М. Зощенко, Л. Петрушевская, А. Солженицын, В. Казаков, Е. Харитонов, Д. Хармс, 2014
- © В. Сорокин, составление, 2014
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2014
- © ООО “Издательство АСТ”, 2014
Издательство CORPUS ®

Содержание

Н. В. Гоголь. Вечер накануне Ивана Купала	7
В. Ф. Одоевский. Игоша	29
М. Ю. Лермонтов. Фаталист	39
Ф. М. Достоевский. Кроткая	53
Л. Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича	109
В. М. Гаршин. Трус	187
А. П. Чехов. Спать хочется	219
Леонид Андреев. В подвале	229
Федор Сологуб. В толпе	245
Максим Горький. Васька Красный	289
И. А. Бунин. Захар Воробьев	313
Семен Подъячев. Семейный разлад	333
Владимир Набоков. Месть	345
Гайто Газданов. Черные лебеди	357
Исаак Бабель. Соль	381
Михаил Зощенко. Иностранцы	389

Даниил Хармс. Пакин и Ракукин	395
Андрей Платонов. Мусорный ветер	401
Варлам Шаламов. На представку	429
Александр Солженицын. Правая кисть	439
Василь Быков. Свояки	455
Юрий Мамлеев. Сереженька	467
Владимир Казаков. Свадьба	473
Евгений Харитонов. Один такой, другой другой . . .	481
Виктор Ерофеев. Попугайчик	491
Татьяна Толстая. Соня	509
Людмила Петрушевская. Черное пальто	523
Юрий Буйда. Аллес	539
Виктор Пелевин. Фокус-группа	545
Роман Сенчин. Очистка	583
Михаил Елизаров. Сифилис	589
Владимир Сорокин. Моноклон	623

Н. В. Гоголь

Вечер накануне Ивана Купала

Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви

За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность: он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда, если упросишь его рассказать что сызнова, то, смотри, что-нибудь да вкинет новое, или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ — нам, простым людям, мудрено и назвать их — писаки они, не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, попросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки, не толще букваря, каждый месяц или неделю. Один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли; привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку. “Постойте! наперед скажите мне, что это вы читаете?” Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса. “Как, что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова”. — “Кто вам сказал, что это мои слова?” — “Да чего лучше, тут и напечатано: *рассказанная таким-то дьячком*”. — “Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! *бреше, сучий москаль*. Так ли я говорил? *Що-то вже, як у кого чорт ма клепки в голови!* Слушайте, я вам расскажу ее сейчас”. Мы придвинулись к столу, и он начал:



Дед мой (царство ему небесное! чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные да маковники в меду) умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь — целый день не подвинулся бы с места, и все бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет *москаля везть*¹, да еще и языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку да из хаты. Как теперь помню — покойная старуха, мать моя, была еще жива — как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Веретено жужжало; а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более пяти лет с своей печки. Но ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается бог знает каким чудищем. Случится, ночью выйдешь за чем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходец с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали

1 Т. е. лгать.

собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы — есть уменье. Им все, что ни расскажешь, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету! Да чего, — вот не люби бог меня и пречистая дева! вы, может, даже не поверите: раз как-то заикнулся про ведьм — что ж? нашелся сорвиголова, ведьмам не верит! Да, слава богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым *провозить пона в решете*¹ было легче, нежели нашему брату понюхать табаку; а и те отрещивались от ведьм. Но приснись им, не хочется только выговаривать, что такое, нечего и толковать об них.

Лет — куды! — более чем за сто, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто: хутор, самый бедный хутор! Избенок десять, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там, посреди поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это ж еще богачи так жили; а посмотрели бы на нашу братью, на голь: вырытая в земле яма — вот вам и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность не бедность; потому что тогда козаковал почти всякой и набирал в чужих землях немало добра; а больше оттого, что незачем

¹ Т. е. солгать на исповеди.

было заводиться порядочною хатою. Какого народу тогда не шаталось по всем местам: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало.

В этом-то хуторе показывался часто человек, или лучше дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, глядь — снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет и которое было, может, не дальше ста шагов от Диканьки. Понаберет встречных козаков: хохот, песни, деньги сыплются, водка как вода... Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серег, монист — девать некуда! Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки: бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк, так называли этого бесовского человека, именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять, как же и не взять: всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги бог знает куда; а возьмешь — так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота, с рогами на голове, и давай души за шею, когда на шее монисто, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда, с этими подарками! Но вот беда — и отвязаться нельзя: бросишь

в воду — плывет чертовский перстень или монисто поверх воды, и к тебе же в руки.

В селе была церковь, чуть ли еще, как вспомню, не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей, блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что Басаврюк и на Светлое Воскресение не бывал в церкви, задумал было пожурить его — наложить церковное покаяние. Куды! насилу ноги унес. “Слушай, *паноце!* — загремел он ему в ответ, — знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячею кутьею!” Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто зазнается с Басаврюком, станет считать за католика, врага Христовой церкви и всего человеческого рода.

В том селе был у одного козака, прозвищем Коржа, работник, которого люди звали Петром Безродным; может, оттого, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы; но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье, был в плену у турок, натерпелся мук бог знает каких и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым дивчатам и молодежи мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, в другую люльку в кра-

сивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане злотых. И это бы еще не большая бѣда; а вот беда: у старого Коржа была дочка, красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала, — а женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чортом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею, — что полненькие щеки козачки были свежи и яркие, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись божьею росой, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком; что брови словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи; что ротик, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни; что волосы ее, черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен (тогда еще девушки наши не заплетали их в дрибушки, перевивая красивыми, ярких цветов, синдячками), падали курчавыми кудрями на шитый золотом кунтуш. Эх, не доведи господь возглашать мне больше на крилосе алилуя, если бы, вот тут же, не расцеловал ее, несмотря на то, что сечь пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушу, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого... сами знаете, что выходит. Бывало, ни свет ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала Пидор-

ка с своим Петрусем. Но все бы Коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе, да раз — ну, это уже и видно, что никто другой, как лукавый дернул — вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сенях, вlepить поцелуй, как говорят, от всей души, в розовые губки козачки, и тот же самый лукавый, чтоб ему, собачьему сыну, приснился крест святой! настроил сдуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревянел Корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутю, за неимением фузеи и пороха.

Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как, откуда ни возмись, шестилетний брат Пидоркин, Ивась, прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: “Тятя, тятя! не бей Петруся!” Что прикажешь делать? у отца сердце не каменное: повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты: “Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате, или хоть только под окнами, то слушай, Петро: ей богу, пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоею макушей!” Сказавши это, дал он ему легонькою рукою стусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались! Взяла кручина наших голубков; а тут и слух по селу, что к Коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, с шпорами, с карманами, бренчавшими как звонок от мешочка, с которым по-

номарь наш, Тарас, отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот, один раз Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: “Ивасю мой милый, Ивасю мой любимый! беги к Петрусью, мое золотое дитя, как стрела из лука; Расскажи ему все: любила б его карие очи, целовала бы его белое личико, да не велит судьба моя. Не один рушник вымочила горячими слезами. Тошно мне. Тяжело на сердце. И родной отец — враг мне: неволит итти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе; будут дьяки петь, вместо кобз и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим; понесут меня. Темная, темная моя будет хата: из кленового дерева, и, вместо трубы, крест будет стоять на крыше!”

Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи. “А я думал, несчастный, итти в Крым и Туречину, навоевать золота и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка! будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе; ворон черный прокрячет, вместо попа, надо мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча — моя крыша; орел выклюет мои карие очи; вымоют дожди козацкие косточки, и вихорь высушит их. Но что я? на кого? кому жаловаться? Так уже, видно, бог велел, — пропадать так пропадать!” — да прямехонько и побрел в шинок.

Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда

добрый человек идет к заутрене, и выпучила на него глаза, как будто спросонья, когда потребовал он кухоль сивухи, мало не с полведра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинул от себя кухоль на землю. “Полно горевать тебе, козак!” — загремело что-то басом над ним. Оглянулся: Басаврюк! у! какая образина! Волосы — щетина, очи — как у вола! “Знаю, чего недостает тебе: вот чего!” Тут брякнул он с бесовскою усмешкою кожаным, висевшим у него возле пояса, кошельком. Вздогнул Петро. “Ге, ге, ге! да как горит! — заревел он, пересыпая на руку червонцы. — Ге, ге, ге! да как звенит! А ведь и дела только одного потребую за целую гору таких цацек”. — “Дьявол! — закричал Петро. — Давай его! на все готов!” Хлопнули по рукам. “Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай! Я тебя буду ждать, о полночи, в Медвежьем овраге”.

Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дела, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, и что далее, тем нетерпеливей. Экая долгота! видно, день божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне. И оно уже тускнет. В поле становится холодней. Примеркает, примеркает и — смерклось. Насилу! С сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, назы-

ваемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро: никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и Басаврюк. “Видишь ли ты, стоят перед тобою три пригорка. Много будет на них цветов разных; но сохрани тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе позади ни чудилось”. Петро хотел было спросить... глядь — и нет уже его. Подошел к трем пригоркам; где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своею густотою. Но вот блеснула на небе зарница, и перед ним показалась целая гряда цветов, все чудных, все невиданных; тут же и простые листья папоротника. Посумнился Петро и раздумно стал перед ними, подпершись обеими руками в боки. “Что тут за невидальщина? десять раз на день, случается, видишь это зелье; какое ж тут диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться?”

Глядь — краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле чудно! Двигается и становится все больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя.

“Теперь пора!” — подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук также к цветку, и позади его что-то перебегают с места на место. Зажмурился, дернул он за стебелек,

и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим Басаврюк, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; рот вполовину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелохнет. Ух, страшно!.. Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики; деревья загремели сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдруг ожило; очи сверкнули. “Насилу воротилась, яга!” — проворчал он сквозь зубы. “Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица: делай все, что ни прикажет, не то пропал навеки!” Тут разделил он суковатою палкою куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в кошку, кинулась в глаза им. “Не бесись, не бесись, старая чертовка!” — проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь, вместо кошки старуха с лицом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу; нос с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи. “Славная красавица!” — подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изо рта; пена показалась на губах. “Бросай!” — сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил, и, что за чудо? — цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком.

ком посреди мрака и, словно лодка, плавал по воздуху; наконец, потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. “Здесь!” — глухо прохрипела старуха; а Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: “Копай здесь, Петро. Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу не снилось”. Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю, в другой, в третий, еще раз... что-то твердое!.. Заступ звенит и нейдет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, окованный железом, сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже; а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипеньем. “Нет, не видать тебе золота, покаместь не достанешь крови человеческой!” — сказала ведьма и подвела к нему дитя, лет шести, накрытое белою простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость, отрезать ни за что, ни про что человеку голову, да еще и безвинному ребенку! В сердцах, сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручонки сложило бедное дитя накрест; и головку повесило... Как бешеный, подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку...

“А что ты обещал за девушку?..” — грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою: синее пламя выхватилось из земли; середина ее вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита; и все, что ни было под землею, сделалось видимо, как на ладоне. Червонцы, дорогие камни, в сундуках, в котлах, грудями были навалены под тем са-

мым местом, где они стояли. Глаза его загорелись... ум помутился... Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи... Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками за обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь... Все пошло кругом в голове его! Собравши все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Деревья, все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало... Огненные пятна, что молнии, мерещились ему в глаза. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачужку и, как сноп, повалился на землю. Мертвый сон схватил его.

Два дни и две ночи спал Петро без просыпа. Очнувшись на третий день, долго осматривал он углы своей хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит: два мешка с золотом. Тут только, будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу... Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять.

Увидел Корж мешки и — развежился: “Сякой, такой Петрусь, немазанный! да я ли не любил его? да не был ли у меня он, как сын родной?” — и понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало. Дивно только показалось Пидорке, когда стала рассказывать, как проходившие мимо цыгане украли Ивася. Он не мог даже вспомнить лица его: так обморочила проклятая бесовщина! Мешкать было незачем. Поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу: на-

пекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки; посадили за стол молодых; разрезали коровай; брякнули в бандуры, цымбалы, сопилки, кобзы — и пошла потеха...

В старину свадьба водилась не в сравнение нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет — люли только! Как девчата, в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, наверх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в сафьянных сапогах на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и с шумом, что вихорь, скакали в горлице. Как молодцы, с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из сутозолотой парчи, с небольшим вырезом на затылке, из которого выглядывал золотой очипок, с двумя выдавшимися, один наперед, другой назад, рожками самого мелкого черного смушка; в синих, из лучшего полутабенеку, с красными клапанами кунтушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гопака. Как парубки, в высоких козацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали туры. Сам Корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною. С бандурою в руках, потягивая люльку и вместе припевая, с чаркою на голове, пустился старичина, при громком крике гуляк, вприсядку. Чего не выдумают навеселе? Начнут, бывало, наряжаться в хари — боже ты мой, на человека не похожи! Уж не нынешних переодеваний, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? — только что кор-

чат цыганок да москалей. Нет, вот, бывало, один оденется жидом, а другой чортом, начнут сперва целоваться, а после ухватятся за чубы... Бог с вами! смех нападет такой, что за живот хвататься. Пооденутся в турецкие и татарские платья: все горит на них, как жар... А как начнут дуреть да строить штуки... ну, тогда хоть святых выноси. С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история: была она одета тогда в татарское широкое платье, и с чаркою в руках угощала собрание. Вот одного дернул лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег... пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать с себя, при всех, платье... Шум, хохот, ералаш поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панею. Всего вдоволь, все блеснит... Однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. "От чорта не будет добра, — поговаривали все в один голос. — Откуда, как не от искуителя люда православного, пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? Отчего, вдруг, в самый тот день, когда разбогател он, Басаврюк пропал, как в воду?" Говорите же, что люди выдумывают! Ведь в самом деле, не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего, что с ним сделалось, бог знает. Сидит на одном месте, и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда Пидорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже; но нена-

роком посмотрит на мешки — “постой, постой, позабыл!” — кричит, и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот все сызнава приходит на ум... и опять все ушло. Кажется: сидит в шинке; несут ему водку; жжет его водка; противна ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его... но далее все как будто туманом укрывается перед ним. Пот валится градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место.

Чего ни делала Пидорка: и совещалась с знахорами, и переполох выливали, и соняшницу заваривали¹ — ничто не помогало. Так прошло и лето. Много козачков откосилось, много козаков, поразгульнее других, и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших; но крапивянок уже и в помине не было. В степях покраснело. Скирды хлеба то сям, то там, словно козацкие шапки, пестрели по полю. Попадались по дороге и возы, наваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег стал сеяться с неба, и ветви деревьев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, меж-

1 Выливают переполох у нас в случае испуга, когда хотят узнать, отчего приключился он; бросают расплавленное олово или воск в воду, и чье примут они подобие, то самое перепугало больного; после чего и весь испуг проходит. Заваривают соняшницу от дурноты и боли в животе. Для этого зажигают кусок пеньки, бросают в кружку и опрокидывают ее вверх дном в миску, наполненную водою и поставленную на животе больного; потом, после зашептываний, дают ему выпить ложку этой самой воды....

ду тем как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам, с зажженной люлькою в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец, или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец, снега стали таять, и *щука хвостом лед расколотила*, а Петро все так же, и чем далее, тем еще суровее. Как будто прикованный, сидит посередине хаты, поставив себе в ноги мешки свои. Одичал; оброс волосами; стал страшен; и все думает об одном, все силится припомнить что-то, и сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико подымается с своего места, поводит руками, вперяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его; губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово — и неподвижно останавливаются... Бешенство овладевает им, как полумумный, грызет и кусает себе руки и в досаде рвет клоками волоса, покамест, утихнув, не упадет, будто в забытие, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука... Что это за напасть божия? Жизнь не в жизнь стала Пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате; да после свыклась бедняжка с своим горем. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки; изныла, исчахла, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, сжалился над ней, посоветовал итти к колдунье, жившей в Медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство; слово за слово, уговорила старуху итти с собою. Это было ввечеру, как раз накануне Купала. Петро в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гостыи. Как вот, мало-помалу, стал приподниматься и всматриваться.

Вдруг весь задрожал, как на плахе; волосы поднялись горою... и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце Пидорки. “Вспомнил, вспомнил!” — закричал он в странном весельи и, размахнувши топор, пустил им со всёй силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лет семи, в белой рубашке, с накрытою головою, стало посреди хаты... Простыня слетела. “Ивась!” — закричала Пидорка и бросилась к нему; но привидение все, с ног до головы, покрылось кровью и осветило всю хату красным светом... В испуге выбежала она в сени; но, опомнившись немного, хотела было помочь ему; напрасно! дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди; принялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам: одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевелинуть усом, стояли козаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво.

Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет итти на богомолье; собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; да один раз приехавший из Киева козак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки по всем приметам узнали Пидорку; что еще никто не слышал от нее ни одного слова; что пришла она пешком и принесла оклад к иконе

божьей матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все зажмуривались, на него глядя.

Позвольте, этим еще не все кончилось. В тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк; только все бегом от него. Узнали, что это за птица: не кто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады; а как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село; но и там однако ж не было покою от проклятого Басаврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок по Опошнянской дороге, и всеми силами старался выместить все на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был, грех сказать чтобы малый, жареный баран. Калякали о сем и о том, было и про диковинки разные, и про чуда. Вот и померещилось, еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем, что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка; тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки... Честные старшины за шапки, да скорей восвояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз с дедовскою чаркою, не успел еще два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. Чорт с тобою! давай креститься!.. А тут с половиною его тоже диво: только что начала она замешивать те-

сто в огромной диже, вдруг дижа выпрыгнула. “Стой, стой!” Куды! подбоченившись важно, пустилась вприсядку по всей хате... Смейтесь; однако ж не до смеха было нашим дедам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу с святою водою и гонял чорта кропилом по всем улицам, а все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене.

Да чего! Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно; а ведь еще не так давно, еще покойный отец мой и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валился дым и, поднявшись высоко, так, что посмотреть — шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи, и чорт, нечего бы и вспоминать его, собачьего сына, так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу.

В. Ф. Одоевский

Игоша

Я сидел с нянюшкой в детской; на полу разостлан был ковер, на ковре игрушки, а между игрушками — я; вдруг дверь открылась, а никто не вошел. Я посмотрел, подождал — все нет никого.

— Нянюшка! нянюшка! Кто дверь открыл?

— Безрукий, безногий дверь открыл, дитяtko!

Вот безрукий, безногий и запал мне на мысль.

— Что за безрукий, безногий такой, нянюшка?

— Ну, да так, известно что, — отвечала нянюшка, — безрукий, безногий.

Мало мне было нянюшкиных слов, и я, бывало, как дверь ли, окно ли откроется — тотчас забегу посмотреть: не тут ли безрукий — и, как он ни увертлив, верно бы мне попался, если бы в то время батюшка не возвратился из города и не привез с собою новых игрушек, которые заставили меня на время позабыть о безруком.

Радость! веселье! прыгаю! люблюсь игрушками! А нянюшка ставит да ставит рядом их на столе, покрытом салфеткою, приговаривая: “Не ломай, не разбей, помаленьку играй, дитяtko”. Между тем зазвонили к обеду.

Я прибежал в столовую, когда батюшка рассказывал, отчего он так долго не возвращался. “Все постромки лопались, — говорил он, — а не постромки, так кучер то и дело что кнут свой теряет; а не то пристяжная

ногу зашибет, беда, да и только! Хоть стань на дороге; уж в самом деле я подумал: не от Игоши ли?”

— От какого Игоши? — спросила его маменька.

— Да вот послушай. На завтражке я остановился лошадей покормить; прозяб я и вошел в избу погреться; в избе за столом сидят трое извозчиков, а на столе лежат четыре ложки; вот они хлеб ли режут, лишний ломоть к ложке положат; пирога ли попросят, лишний кусок отрушат...

— Кому это вы, верно, товарищу оставляете, добрые молодцы? — спросил я.

— Товарищу не товарищу, — отвечали они, — а такому молодцу, который обид не любит.

— Да кто ж он такой? — спросил я.

— Да Игоша, барин.

Что за Игоша, вот я их и ну допрашивать.

— А вот послушайте, барин, — отвечал мне один из них, — летось у земляка-то родился сынок, такой хворенький, Бог с ним, без ручек, без ножек — в чем душа; не успели за попом сходить, как он и дух испустил; до обеда не дожил. Вот, делать нечего, поплакали, погоревали, да и предали младенца земле. Только с той поры все у нас стало не по-прежнему... впрочем, Игоша, барин, малый добрый: наших лошадей бережет, гривы им заплетает, к попу под благословенье подходит; но если же ему лишней ложки за столом не положишь или поп лишнего благословенья при отпуске в церкви не даст, то Игоша и пойдет кутить: то у попадьи квашню опрокинет или из горшка горох выбросает; а у нас или у лошадей подкову сломает, или у колокольчика язык вырвет — мало ли что бывает.

— И! да я вижу, Игоша-то проказник у вас, — сказал я, — отдайте-ка его мне, и если он хорошо мне послужит, то у меня ему славное житье будет; я ему, пожалуй, и харчевые назначу.

Между тем лошади отдохнули, я отогрелся, сел в сани, покатился: не отъехали версты — шлея соскочила, потом постромки оборвались, а наконец оглобля пополам — целых два часа понапрасну потеряли. В самом деле подумаешь, что Игоша ко мне привязался.

Так говорил батюшка; я не пропустил ни одного слова. В раздумье пошел я в свою комнату, сел на полу, но игрушки меня не занимали — у меня в голове все вертелся Игоша да Игоша. Вот я смотрю — няня на ту минуту вышла — вдруг дверь отворилась; я по своему обыкновению хотел было вскочить, но невольно присел, когда увидел, что ко мне в комнату вошел, припрыгивая, маленький человечек в крестьянской рубашке, подстриженный в кружок; глаза у него горели, как угольки, и голова на шейке у него беспрестанно вертелась; с самого первого взгляда я заметил в нем что-то странное, посмотрел на него пристальнее и увидел, что у бедняжки не было ни рук, ни ног, а прыгал он всем туловищем. Как мне его жалко стало! Смотрю, маленький человечек — прямо к столу, где у меня стояли рядом игрушки, вцепился зубами в салфетку и потянул ее, как собачонка; посыпались мои игрушки: фарфоровая моська вдребезги, барабан у барабанщика выскочил, у колясочки слетели колеса — я взвыл и закричал благим матом: “Что за негодный мальчишка! зачем ты сронил мои игрушки, эдакой злыдень! да что еще мне от нянюшки достанется! Говори, зачем ты сронил игрушки?”

— А вот зачем, — отвечал он тоненьким голоском, — затем, — прибавил он густым басом, — что твой батюшка всему дому валежки сшил, а мне, маленькому, — заговорил он снова тоненьким голоском, — ни одного не сшил, а теперь мне, маленькому, холодно, на дворе мороз, гололедица, пальцы костенеют.

— Ах, жалкий, — сказал я сначала, но потом, одумавшись, — да какие пальцы, негодный, да у тебя и рук-то нет, на что тебе валежки?

— А вот на что, — сказал он басом, — что ты вот видишь, твои игрушки в дребезгах, так ты и скажи батюшке: “Батюшка, батюшка, Игоша игрушки ломает, валежек просит, купи ему валежки”, а ты возьми да и брось их ко мне в окошко.

Игоша не успел окончить, как нянюшка вошла ко мне в комнату, Игоша не прост молодец, разом лыжи наострил, а нянюшка — на меня: “Ах ты, проказник, сударь! зачем изволил игрушки сронить? Нельзя тебя одного ни на минуту оставить. Вот ужо тебя маменька...”

— Нянюшка! Не я уронил игрушки, право, не я, это Игоша...

— Какой Игоша, сударь?.. еще изволишь выдумывать!

— Безрукий, безногий, нянюшка.

На крик прибежал батюшка, я ему рассказал все, как было, он расхохотался.

— Изволь, дам тебе валежки, отдай их Игоше.

Так я и сделал. Едва я остался один, как Игоша явился ко мне, только уже не в рубашке, а в полушубке.

— Добрый ты мальчик, — сказал он мне тоненьким голоском, — спасибо за валежки; посмотри-ка,

я из них себе какой полушубок сшил, вишь, какой славный!

И Игоша стал повертываться со стороны на сторону и опять к столу, на котором нянюшка поставила свой заветный чайник, очки, чашку без ручки и два кусочка сахару — и опять за салфетку, и опять ну тянуть.

— Игоша! Игоша! — закричал я, — погоди, не роняй — хорошо, мне один раз прошло, а в другой не поверят; скажи лучше, что тебе надобно?

— А вот что, — сказал он густым басом, — я твоему батюшке верой и правдой служу, не хуже других слуг ничего не делаю, а им всем батюшка к празднику сапоги пошил, а мне, маленькому, — прибавил он тоненьким голоском, — и сапожишков нет, на дворе днем мокро, ночью морозно, ноги ознобишь... — и с сими словами Игоша потянул за салфетку, и полетели на пол и заветный нянюшкин чайник, и очки выскочили из очешника, и чашка без ручки расшиблась, и кусочек сахарца укатился...

Вошла нянюшка, опять меня журит: я на Игошу, она на меня.

— Батюшка, безногий сапогов просит, — закричал я, когда вошел батюшка.

— Нет, шалун, — сказал батюшка, — раз тебе прошло, в другой раз не пройдет; эдак ты у меня всю посуду перебьешь; полно про Игошу-то толковать, становись-ка в угол.

— Не бось, не бось, — шептал мне кто-то на ухо, — я ужо тебя не выдам.

В слезах я побрел к углу. Смотрю: там стоит Игоша; только батюшка отвернется, а он меня головой толк да толк в спину, и я очутюсь на ковре с игруш-

ками посредине комнаты; батюшка увидит, я опять в угол; отворотится, а Игоша снова меня толкнет.

Батюшка рассердился.

— Так ты еще не слушаешься? — сказал он. — Сейчас в угол и ни с места.

— Батюшка, это не я — это Игоша толкается.

— Что ты вздор мелешь, негодяй; стой тихо, а не то на целый день привяжу тебя к стулу.

Рад бы я был стоять, но Игоша не давал мне покоя: то ущипнет меня, то оттолкнет, то сделает мне смешную рожу — я захохочу; Игоша для батюшки был невидим — и батюшка पुще рассердился.

— Постой, — сказал он, — увидим, как тебя Игоша будет отталкивать, — и с сими словами привязал мне руки к стулу.

А Игоша не дремлет: он ко мне — и ну зубами тянуть узлы; только батюшка отворотится, он петлю и вытянет; не прошло двух минут — и я снова очутился на ковре между игрушек, посредине комнаты.

Плохо бы мне было, если б тогда не наступил уже вечер; за непослушание меня уложили в постель ранее обыкновенного, накрыли одеялом и велели спать, обещая, что завтра, сверх того, меня запрут одного в пустую комнату.

Ночью, едва нянюшка загнула в свинец свои пукли, надела коленкорový чепчик, белую канифасную кофту, пригладила виски свечным огарком, покурила ладаном и захрапела, я прыг с постели, схватил нянюшкины ботинки и махнул их за форточку, приговаривая вполголоса: “Вот тебе, Игоша”.

— Спасибо! — отвечал мне со двора тоненький голосок.

Разумеется, что ботинок назавтра не нашли, и нянюшка не могла надивиться, куда они девались.

Между тем батюшка не забыл обещания и посадил меня в пустую комнату, такую пустую, что в ней не было ни стола, ни стула, ни даже скамейки.

— Посмотрим, — сказал батюшка, — что здесь разобьет Игоша! Нет, брат, я вижу, что ты не по летам вырос на шалости... пора за ученье. Теперь сиди здесь, а чрез час за азбуку, — и с этими словами батюшка запер двери.

Несколько минут я был в совершенной тишине и прислушивался к тому странному звуку, который слышится в ухе, когда совершенно тихо в пустой комнате. Мне приходил на мысль и Игоша. Что-то он делает с нянюшкиными ботинками? Верно, скачет по гладкому снегу и взрывает хлопья.

Как вдруг форточка хлопнула, разбилась, зазвенела, и Игоша, с ботинкой на голове, запрыгал у меня по комнате.

— Спасибо! Спасибо! — закричал он пискляво. — Вот какую я себе славную шапку сшил!

— Ах, Игоша! не стыдно тебе? Я тебе и полушубок достал, и ботинки тебе выбросил из окошка, а ты меня только в беды вводишь!

— Ах ты, неблагодарный, — закричал Игоша густым басом, — я ли тебе не служу, — прибавил он тоненьким голоском, — я тебе и игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю; а когда уже ничего не осталось, так рамы бью; да к тому ж служу тебе и батюшке из чести, обещанных харчевых не получаю, а ты еще на меня жалуешься. Правда у нас говорится, что люди — самое

неблагодарное творение! Прощай же, брат, если так, не поминай меня лихом. К твоему батюшке приехал из города немец, доктор, который надоумил твоего батюшку тебя за азбуку посадить, да все меня к себе напрашивается, попробую ему послужить; я уж и так ему стаклянки перебил, а вот к вечеру после ужина и парик под бильярд закину — посмотрим, не будет ли он тебя благодарнее...

С сими словами исчез мой Игоша, и мне жаль его стало.

С тех пор Игоша мне более не являлся. Мало-помалу ученье, служба, житейские происшествия отдалили от меня даже воспоминание о том полусонном состоянии моей младенческой души, где игра воображения так чудно сливалась с действительностью; этот психологический процесс сделался для меня недоступным; те условия, при которых он совершался, уничтожились рассудком; но иногда, в минуту пробуждения, когда душа возвращается из какого-то иного мира, в котором она жила и действовала по законам, нам здесь неизвестным, и еще не успела забыть о них, в эти минуты странное существо, являвшееся мне в младенчестве, возобновляется в моей памяти, и его явление кажется мне понятным и естественным.

М. Ю. Лермонтов

Фаталист

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.

Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С *** очень долго; разговор против обыкновения был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи *pro* или *contra*.

— Все это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый майор: — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения...

— Конечно никто! — сказали многие: — но мы слышали от верных людей...

— Все это вздор! — сказал кто-то: — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?..

В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные пронизательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая

на губах его, — все это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, чьих судьба дала ему в товарищи.

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн, вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, которых прелесть трудно постигнуть, не выдав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была равнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.

Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал все, и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу. Все вскочили и бросились к оружию. “Поставь ва-банк!” — кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтеров. — “Идет семерка”, — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху Вулич докинул талью. Карта была дана.

Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтера.

— Семерка дана! — закричал он, увидав его, наконец, в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед,

увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.

— Господа, — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного): — господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?

— Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон: — вот чудак! придет же в голову!..

— Предлагаю пари, — сказал я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев, все, что было у меня в кармане.

— Держу, — отвечал Вулич глухим голосом. — Майор, вы будете судьей; вот 15 червонцев, остальные пять вы мне должны и сделаете мне дружбу прибавить их к этим.

— Хорошо, — сказал майор: — только не понимаю, право, в чем дело... и как вы решите спор.....

Вулич молча вышел в спальню майора. Мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.

— Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! — закричали ему.

— Господа, — сказал он медленно, освобождая свои руки: — кому угодно заплатить за меня 20 червонцев?

Все замолчали и отошли.

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола. Все последовали за ним: он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но не смотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его: я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.

— Вы нынче умрете, — сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

— Может быть да — может быть и нет...

Потом, обратясь к майору, спросил, заряжен ли пистолет. Майор в замешательстве не помнил хорошенько.

— Да полно, Вулич! — закричал кто-то: — уж верно заряжен, коли в головах висел... что за охота шутить!..

— Глупая шутка, — подхватил другой.

— Держу 50 рублей против пяти, что пистолет не заряжен! — закричал третий.

Составились новые пари.

Мне надоела эта длинная церемония.

— Послушайте, — сказал я: — или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдете спать.

— Разумеется, — воскликнули многие, — пойдемте спать.

— Господа, я вас прошу не трогаться с места, — сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.

— Господин Печорин, — прибавил он: — возьмите карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось, все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!

— Слава богу! — вскрикнули многие: — не заряжен...

— Посмотрим, однако ж, — сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном, — выстрел раздался, дым наполнил комнату! Когда он рассеялся, сняли фуражку; она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич преспокойно пересыпал в свой кошелек мои червонцы.

Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что вероятно полка была засорена, другие говорили шопотом, что прежде порох был сырой, и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета.

— Вы счастливы в игре, — сказал я Вуличу...

— В первый раз отроду, — отвечал он, самодовольно улыбаясь: — это лучше банка и штосса.

— Зато немножко опаснее.

— А что, вы начали верить предопределению?

— Верю... только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.

— Однако ж довольно, — сказал он вставая: — пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... — Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным, — и недаром!..

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..

Я возвращался домой пустыми переулками станции; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампы, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убе-

ждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность, и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою.

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем: я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? — одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею; но я оста-

новил себя вовремя на этом опасном пути, и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не верить слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но повидимому неживое. Наклоняюсь — месяц уж светил прямо на дорогу — и что же? предо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой... Едва я успел ее рассмотреть, как услышал шум шагов: два казака бежали из переуллка; один подошел ко мне и спросил, не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойник! — сказал второй казак. — Как напьется чихиря, так и пошел крошить все, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и, наконец, счастливо добрался до своей квартиры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю.

Она по обыкновению дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась — но мне было не до нее. “Прощай, Настя”, — сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то ответить, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечу и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток

начинал бледнеть, когда я заснул, но видно было написано на небесах, что в эту ночь я не выплусь. В 4 часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. “Вставай, одевайся!” — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. “Знаешь, что случилось?” — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны, как смерть.

— Что?

— Вулич убит.

Я остоленел.

— Да, убит, — продолжали они: — пойдем скорее.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: “Кого ты, братец, ищешь?” “Тебя!” — отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца... Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: “он прав!” Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня, я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате на конце станции. Мы шли туда. Множество женщин бежало с пла-

чем в ту же сторону. По временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.

Вот, наконец, мы пришли: смотрим, вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою; женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние; она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится. В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

— Согрешил, брат Ефимыч, — сказал есаул: — так уж нечего делать, покорись.

— Не покорюсь, — отвечал казак.

— Побойся бога, ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; — ну уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь.

— Не покорюсь! — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

— Эй, тетка, — сказал есаул старухе: — поговори сыну: авось тебя послушает... Ведь это только бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

— Василий Петрович, — сказал есаул, подойдя к майору: — он не сдастся: я его знаю. А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу я вздумал испытать судьбу.

— Погодите, — сказал я майору: — я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

— Ах ты окаянный! — кричал есаул. — Что ты над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? — Он стал стучать в дверь изо всей силы: я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, — и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки; казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уж свя-

зан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем!

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив; что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения; он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

— Да-с! конечно-с! — это штука довольно мудреная! Впрочем эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны, или недовольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны, — приклад маленький, того и гляди нос обожжет... Зато уж шашки у них — просто мое почтение!..

Потом он примолвил, несколько подумав:

— Да, жаль беднягу... Чорт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано...

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

Ф. М. Достоевский

Кроткая

Фантастический рассказ

Глава первая

От автора

Я прошу извинения у моих читателей, что на сей раз вместо “Дневника” в обычной его форме даю лишь повесть. Но я действительно занят был этой повестью большую часть месяца. Во всяком случае прошу снисхождения читателей.

Теперь о самом рассказе. Я озаглавил его “фантастическим”, тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа, что и нахожу нужным пояснить предварительно.

Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, “собрать свои мысли в точку”. Притом это закоренелый ипохондрик, из тех, что говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет себе его. Несмотря на кажущуюся последовательность речи, он несколько раз противуречит себе, и в логике и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения: тут и грубость мысли и серд-

ца, тут и глубокое чувство. Мало-помалу он действительно уясняет себе дело и собирает “мысли в точку”. Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к правде; правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере для него самого.

Вот тема. Конечно, процесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и перемежками и в форме сбивчивой: то он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности. Если б мог подслушать его и все записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе (после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим. Но отчасти подобное уже не раз допускалось в искусстве: Виктор Гюго, например, в своем шедевре “Последний день приговоренного к смертной казни” употребил почти такой же прием и хоть и не вывел стенографа, но допустил еще большую неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может (и имеет время) вести записки не только в последний день свой, но даже в последний час и буквально в последнюю минуту. Но не допусти он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения — самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных.

I. Кто был я и кто была она

... Вот пока она здесь — еще все хорошо: подхожу и смотрю поминутно; а унесут завтра и — как же я останусь один? Она теперь в зале на столе, составили два ломберных, а гроб будет завтра, белый, белый гроденапль, а впрочем, не про то... Я все хожу и хочу себе уяснить это. Вот уже шесть часов, как я хочу уяснить и все не соберу в точку мыслей. Дело в том, что я все хожу, хожу, хожу... Это вот как было. Я просто расскажу по порядку. (Порядок!) Господа, я далеко не литератор, и вы это видите, да и пусть, а расскажу, как сам понимаю. В том-то и весь ужас мой, что я все понимаю!

Это если хотите знать, то есть если с самого начала брать, то она просто-запросто приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтоб оплатить публикацию в "Голосе" о том, что вот, дескать, таки так, гувернантка, согласна и в отъезд, и уроки давать на дому, и проч., и проч. Это было в самом начале, и я, конечно, не различал ее от других: приходит как все, ну и прочее. А потом стал различать. Была она такая тоненькая, белокуренькая, средне-высокого роста; со мной всегда мешковата, как будто конфузилась (я думаю, и со всеми чужими была такая же, а я, разумеется, ей был все равно что тот, что другой, то есть если брать как не закладчика, а как человека). Только что получала деньги, тотчас же повертывалась и уходила. И все молча. Другие так спорят, просят, торгуются, чтоб больше дали; эта нет, что дадут... Мне кажется, я все путаюсь... Да; меня прежде всего поразили ее вещи: серебряные позолоченные сережечки, дрянненький медальончик — вещи в двугривенный. Она и сама знала, что цена им

гривенник, но я по лицу видел, что они для нее драгоценность, — и действительно, это все, что оставалось у ней от папаши и мамыши, после узнал. Раз только я позволил себе усмехнуться на ее вещи. То есть, видите ли, я этого себе никогда не позволяю, у меня с публикой тон джентльменский: мало слов, вежливо и строго. “Строго, строго и строго”. Но она вдруг позволила себе принести остатки (то есть буквально) старой заячьей куцавейки, — и я не удержался и вдруг сказал ей что-то, вроде как бы остроты. Батюшки, как вспыхнула! Глаза у ней голубые, большие, задумчивые, но — как загорелись! Но ни слова не выронила, взяла свои “остатки” и — вышла. Тут-то я и заметил ее в первый раз особенно и подумал что-то о ней в этом роде, то есть именно что-то в особенном роде. Да; помню и еще впечатление, то есть, если хотите, самое главное впечатление, синтез всего: именно что ужасно молода, так молода, что точно четырнадцать лет. А меж тем ей тогда уж было без трех месяцев шестнадцать. А впрочем, я не то хотел сказать, вовсе не в том был синтез. На завтра опять пришла. Я узнал потом, что она у Добронравова и у Мозера с этой куцавейкой была, но те, кроме золота, ничего не принимают и говорить не стали. Я же у ней принял однажды камей (так, дрянненький) — и, осмыслив, потом удивился: я, кроме золота и серебра, тоже ничего не принимаю, а ей допустил камей. Это вторая мысль об ней тогда была, это я помню.

В этот раз, то есть от Мозера, она принесла сигарный янтарный мундштук — вещица так себе, любительская, но у нас опять-таки ничего не стоящая, потому что мы — только золото. Так как она приходила

уже после вчерашнего бунта, то я встретил ее строго. Строгость у меня — это сухость. Однако же, выдавая ей два рубля, я не удержался и сказал как бы с некоторым раздражением: “Я ведь это только для вас, а такую вещь у вас Мозер не примет”. Слово “для вас” я особенно подчеркнул, и именно в некотором смысле. Зол был. Она опять вспыхнула, выслушав это “для вас”, но смолчала, не бросила денег, приняла, — то-то бедность! А как вспыхнула! Я понял, что уколол. А когда она уже вышла, вдруг спросил себя: так неужели же это торжество над ней стоит двух рублей? Хе-хе-хе! Помню, что задал именно этот вопрос два раза: “Стоит ли? стоит ли?” И, смеясь, разрешил его про себя в утвердительном смысле. Очень уж я тогда развеселился. Но это было не дурное чувство: я с умыслом, с намерением; я ее испытать хотел, потому что у меня вдруг забродили некоторые на ее счет мысли. Это была третья особенная моя мысль об ней.

...Ну вот с тех пор все и началось. Разумеется, я тотчас же постарался разузнать все обстоятельства стороной и ждал ее прихода с особенным нетерпением. Я ведь предчувствовал, что она скоро придет. Когда пришла, я вступил в любезный разговор с необычайною вежливостью. Я ведь недурно воспитан и имею манеры. Гм. Тут-то я догадался, что она добра и кротка. Добрые и кроткие недолго сопротивляются и хоть вовсе не очень открываются, но от разговора увернуться никак не умеют: отвечают скупой, но отвечают, и чем дальше, тем больше, только сами не уставайте, если вам надо. Разумеется, она тогда мне сама ничего не объяснила. Это потом уже про “Голос” и про все я узнал. Она тогда из последних сил

публиковалась, сначала, разумеется, заносчиво: “Дескать, гувернантка, согласна в отъезд, и условия присылать в пакетах”, а потом: “Согласна на все, и учить, и в компаньонки, и за хозяйством смотреть, и за больной ходить, и шить умею”, и т. д., и т. д., все известное! Разумеется, все это прибавлялось к публикации в разные приемы, а под конец, когда к отчаянию подошло, так даже и “без жалованья, из хлеба”. Нет, не нашла места! Я решился ее тогда в последний раз испытать: вдруг беру сегодняшний “Голос” и показываю ей объявление: “Молодая особа, круглая сирота, ищет места гувернантки к малолетним детям, преимущественно у пожилого вдовца. Может облегчить в хозяйстве”.

— Вот, видите, эта сегодня утром публиковалась, а к вечеру наверно место нашла. Вот как надо публиковаться!

Опять вспыхнула, опять глаза загорелись, повернулась и тотчас ушла. Мне очень понравилось. Впрочем, я был тогда уже во всем уверен и не боялся: мундштуки-то никто принимать не станет. А у ней и мундштуки уже вышли. Так и есть, на третий день приходит, такая бледненькая, взволнованная, — я понял, что у ней что-то вышло дома, и действительно вышло. Сейчас объясню, что вышло, но теперь хочу лишь припомнить, как я вдруг ей тогда шику задал и вырос в ее глазах. Такое у меня вдруг явилось намерение. Дело в том, что она принесла этот образ (решилась принести)... Ах, слушайте! слушайте! Вот теперь уже началось, а то я все путался... Дело в том, что я теперь все это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую черточку. Я все хочу в точку мысли собрать и — не могу, а вот эти черточки, черточки...

Образ богородицы. Богородица с младенцем, домашний, семейный, старинный, риза серебряная золоченая — стоит — ну, рублей шесть стоит. Вижу, дорог ей образ, закладывает весь образ, ризы не снимая. Говорю ей: лучше бы ризу снять, а образ унесите; а то образ все-таки как-то того.

— А разве вам запрещено?

— Нет, не то что запрещено, а так, может быть, вам самим...

— Ну, снимите.

— Знаете что, я не буду снимать, а поставлю вон туда в киот, — сказал я, подумав, — с другими образами, под лампадкой (у меня всегда, как открыл кассу, лампадка горела), и просто-запросто возьмите десять рублей.

— Мне не надо десяти, дайте мне пять, я непременно выкуплю.

— А десять не хотите? Образ стоит, — прибавил я, заметив, что опять глазки сверкнули. Она смолчала. Я вынес ей пять рублей.

— Не презирайте никого, я сам был в этих тисках, да еще похуже-с, и если теперь вы видите меня за таким занятием... то ведь это после всего, что я вынес...

— Вы мстите обществу? Да? — перебила она меня вдруг с довольно едкой насмешкой, в которой было, впрочем, много невинного (то есть общего, потому что меня она решительно тогда от других не отличала, так что почти безобидно сказала). “Ага! — подумал я, — вот ты какая, характер объявляется, нового направления”.

— Видите, — заметил я тотчас же полушутливо-полутаинственно. — “Я — я есмь часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро...”

Она быстро и с большим любопытством, в котором, впрочем, было много детского, посмотрела на меня:

— Постойте... Что это за мысль? Откуда это? Я где-то слышала...

— Не ломайте головы, в этих выражениях Мефистофель рекомендуется Фаусту. “Фауста” читали?

— Не... невнимательно.

— То есть не читали вовсе. Надо прочесть. А впрочем, я вижу опять на ваших губах насмешливую складку. Пожалуйста, не предположите во мне так мало вкуса, что я, чтобы закрасить мою роль закладчика, захотел отрекомендоваться вам Мефистофелем. Закладчик закладчиком и останется. Знаем-с.

— Вы какой-то странный... Я вовсе не хотела вам сказать что-нибудь такое...

Ей хотелось сказать: я не ожидала, что вы человек образованный, но она не сказала, зато я знал, что она это подумала; ужасно я угодил ей.

— Видите, — заметил я, — на всяком поприще можно делать хорошее. Я конечно не про себя, я, кроме дурного, положим, ничего не делаю, но...

— Конечно можно делать и на всяком месте хорошее, — сказала она, быстрым и проникнутым взглядом смотря на меня, — на всяком месте, — вдруг прибавила она. О, я помню, я все эти мгновения помню! И еще хочу прибавить, что когда эта молодежь, эта милая молодежь, захочет сказать что-нибудь такое умное и проникнутое, то вдруг слишком искренно и наивно покажет лицом, что “вот, дескать, я говорю тебе теперь умное и проникнутое”, — и не то чтоб из тщеславия, как наш брат, а таки видишь, что она сама

ужасно ценит все это, и верует, и уважает, и думает, что и вы все это точно так же, как она, уважаете. О искренность! Вот тем-то и побеждают. А в ней как было прелестно!

Помню, ничего не забыл! Когда она вышла, я разом порешил. В тот же день я пошел на последние поиски и узнал об ней всю остальную, уже текущую подноготную; прежнюю подноготную я знал уже всю от Лукерьи, которая тогда служила у них и которую я уже несколько дней тому подкупил. Эта подноготная была так ужасна, что я и не понимаю, как еще можно было смеяться, как она давеча, и любопытствовать о словах Мефистофеля, сама будучи под таким ужасом. Но — молодежь! Именно это подумал тогда об ней с гордостью и с радостью, потому что тут ведь и великодушие: дескать, хоть и на краю гибели, а великие слова Гете сияют. Молодость всегда хоть капельку и хоть в кривую сторону да великодушна. То есть я ведь про нее, про нее одну. И главное, я тогда смотрел уж на нее как на мою и не сомневался в моем могуществе. Знаете, пресладострастная это мысль, когда уж не сомневаешься-то.

Но что со мной? Если я так буду, то когда я соберу все в точку? Скорей, скорей — дело совсем не в том, о боже!

II. Брачное предложение

“Подноготную”, которую я узнал об ней, объясню в одном слове: отец и мать померли, давно уже, три года перед тем, а осталась она у беспорядочных теток.

То есть их мало назвать беспорядочными. Одна тетка вдова, многосемейная, шесть человек детей, мал мала меньше, другая в девках, старая, скверная. Обе скверные. Отец ее был чиновник, но из писарей, и всего лишь личный дворянин — одним словом: все мне на руку. Я являлся как бы из высшего мира: все же отставной штабс-капитан блестящего полка, родовой дворянин, независим и проч., а что касса ссуд, то тетки на это только с уважением могли смотреть. У теток три года была в рабстве, но все-таки где-то экзамен выдержала, — успела выдержать, урвалась выдержать, из-под поденной безжалостной работы, — а это значило же что-нибудь в стремлении к высшему и благородному с ее стороны! Я ведь для чего хотел жениться? А впрочем, обо мне наплевать, это потом... И в этом ли дело! Детей теткиных учила, белье шила, а под конец не только белье, а, с ее грудью, и полы мыла. Попросту они даже ее били, попрекали куском. Кончили тем, что намеревались продать. Тьфу! опускаю грязь подробностей. Потом она мне все подробно передала. Все это наблюдал целый год соседний толстый лавочник, но не простой лавочник, а с двумя бакалейными. Он уж двух жен усахарил и искал третью, вот и наглядел ее: “Тихая, дескать, росла в бедности, а я для сирот женюсь”. Действительно, у него были сироты. Присватался, стал сговариваться с тетками, к тому же — пятьдесят лет ему; она в ужасе. Вот тут-то и зачастила ко мне для публикаций в “Голосе”. Наконец, стала просить теток, чтоб только самую капельку времени дали подумать. Дали ей эту капельку, но только одну, другой не дали, заели: “Сами не знаем, что жрать и без лишнего рта”. Я уж это все знал,

а в тот день после утрешнего и порешил. Тогда вечером приехал купец, привез из лавки фунт конфет в полтинник; она с ним сидит, а я вызвал из кухни Лукерью и велел сходить к ней шепнуть, что я у ворот и желаю ей что-то сказать в самом неотложном виде. Я собою остался доволен. И вообще я весь тот день был ужасно доволен.

Тут же у ворот ей, изумленной уже тем, что я ее вызвал, при Лукерье, я объяснил, что сочту за счастье и за честь... Во-вторых, чтоб не удивлялась моей манере и что у ворот: "Человек, дескать, прямой и изучил обстоятельства дела". И я не врал, что прямой. Ну, наплевать. Говорил же я не только прилично, то есть выказав человека с воспитанием, но и оригинально, а это главное. Что ж, разве в этом грешно признаваться? Я хочу себя судить и сужу. Я должен говорить *pro* и *contra*, и говорю. Я и после вспоминал про то с наслаждением, хоть это и глупо: я прямо объявил тогда, без всякого смущения, что, во-первых, не особенно талантлив, не особенно умен, может быть, даже не особенно добр, довольно дешевый эгоист (я помню это выражение, я его, дорогой идя, тогда сочинил и остался доволен) и что — очень, очень может быть — заключаю в себе много неприятного и в других отношениях. Все это сказано было с особенного рода гордостью, — известно, как это говорится. Конечно, я имел настолько вкуса, что, объявив благородно мои недостатки, не пустился объявлять о достоинствах: "Но, дескать, взамен того имею то-то, то-то и это-то". Я видел, что она пока еще ужасно боится, но я не смягчил ничего, мало того, видя, что боится, нарочно усилил: прямо сказал, что сыта

будет, ну а нарядов, театров, балов — этого ничего не будет, разве впоследствии, когда цели достигну. Этот строгий тон решительно увлекал меня. Я прибавил, и тоже как можно вскользь, что если я и взял такое занятие, то есть держу эту кассу, то имею одну лишь цель, есть, дескать, такое одно обстоятельство... Но ведь я имел право так говорить: я действительно имел такую цель и такое обстоятельство. Постойте, господа, я всю жизнь ненавидел эту кассу ссуд первый, но ведь, в сущности, хоть и смешно говорить самому себе таинственными фразами, а я ведь “мстил же обществу”, действительно, действительно, действительно! Так что острота ее утром насчет того, что я “мщу”, была несправедлива. То есть, видите ли, скажи я ей прямо словами: “Да, я мщу обществу”, и она бы расхохоталась, как давеча утром, и вышло бы в самом деле смешно. Ну а косвенным намеком, пустив таинственную фразу, оказалось, что можно подкупить воображение. К тому же я тогда уже ничего не боялся: я ведь знал, что толстый лавочник во всяком случае ей гаже меня и что я, стоя у ворот, являюсь освободителем. Понимал же ведь я это. О, подлости человек особенно хорошо понимает! Но подлости ли? Как ведь тут судить человека? Разве не любил я ее даже тогда уже?

Постойте: разумеется, я ей о благодеянии тогда ни полслова; напротив, о, напротив: “Это я, дескать, остаюсь благодетельствован, а не вы”. Так что я это даже словами выразил, не удержался, и вышло, может быть, глупо, потому что заметил беглую складку в лице. Но в целом решительно выиграл. Постойте, если всю эту грязь припоминать, то припомню и последнее свинство: я стоял, а в голове шевелилось:

ты высок, строен, воспитан и — и наконец, говоря без фанфаронства, ты недурен собой. Вот что играло в моем уме. Разумеется, она тут же у ворот сказала мне “да”. Но... но я должен прибавить: она тут же у ворот долго думала, прежде чем сказала “да”. Так задумалась, так задумалась, что я уже спросил было: “Ну что ж?” — и даже не удержался, с таким шиком спросил: “Ну что же-с?” — с словоерсом.

— Подождите, я думаю.

И такое у ней было серьезное личико, такое — что уж тогда бы я мог прочесть! А я-то обижался: “Неужели, думаю, она между мной и купцом выбирает?” О, тогда я еще не понимал! Я ничего, ничего еще тогда не понимал! До сегодня не понимал! Помню, Лукерья выбежала за мною вслед, когда я уже уходил, остановила на дороге и сказала впопыхах: “Бог вам заплатит, сударь, что нашу барышню милую берете, только вы ей это не говорите, она гордая”.

Ну, гордая! Я, дескать, сам люблю горденьких. Гордые особенно хороши, когда... ну, когда уж не сомневаешься в своем над ними могуществе, а? О, низкий, неловкий человек! О, как я был доволен! Знаете, ведь у ней, когда она тогда у ворот стояла задумавшись, чтоб сказать мне “да”, а я удивлялся, знаете ли, что у ней могла быть даже такая мысль: “Если уж несчастье и там и тут, так не лучше ли прямо самое худшее выбрать, то есть толстого лавочника, пусть поскорей убьет пьяный до смерти!” А? Как вы думаете, могла быть такая мысль?

Да и теперь не понимаю, и теперь ничего не понимаю! Я сейчас только что сказал, что она могла иметь эту мысль: что из двух несчастий выбрать худшее,

то есть купца? А кто был для нее тогда хуже — я аль купец? Купец или закладчик, цитующий Гете? Это еще вопрос! Какой вопрос? И этого не понимаешь: ответ на столе лежит, а ты говоришь “вопрос”! Да и наплевать на меня! Не во мне совсем дело... А кстати, что для меня теперь — во мне или не во мне дело? Вот этого так уж совсем решить не могу. Лучше бы спать лечь. Голова болит...

III. Благороднейший из людей, но сам же и не верю

Не заснул. Да и где ж, стучит какой-то пульс в голове. Хочется все это усвоить, всю эту грязь. О, грязь! О, из какой грязи я тогда ее вытащил! Ведь должна же она была это понимать, оценить мой поступок! Нравились мне тоже разные мысли, например, что мне сорок один, а ей только что шестнадцать. Это меня пленяло, это ощущение неравенства, очень сладостно это, очень сладостно.

Я, например, хотел сделать свадьбу *à l'anglaise*, то есть решительно вдвоем, при двух разве свидетелях, из коих одна Лукерья, и потом тотчас в вагон, например хоть в Москву (там у меня кстати же случилось дело), в гостиницу, недели на две. Она воспротивилась, она не позволила, и я принужден был ездить к теткам с почтением, как к родственницам, от которых беру ее. Я уступил, и теткам оказано было надлежащее. Я даже подарил этим тварям по сту рублей и еще обещал, ей, разумеется, про то не сказавши, чтобы не огорчить ее низостью обстановки. Тетки

тотчас же стали шелковые. Был спор и о приданом: у ней ничего не было, почти буквально, но она ничего и не хотела. Мне, однако же, удалось доказать ей, что совсем ничего — нельзя, и приданое сделал я, потому что кто же бы ей что сделал? Ну, да наплевать обо мне. Разные мои идеи, однако же, я ей все-таки успел тогда передать, чтобы знала по крайней мере. Поспешил даже, может быть. Главное, она с самого начала, как ни крепилась, а бросилась ко мне с любовью, встречала, когда я приезжал по вечерам, с восторгом, рассказывала своим лепетом (очаровательным лепетом невинности!) все свое детство, младенчество, про родительский дом, про отца и мать. Но я все это упоение тут же обдал сразу холодной водой. Вот в том-то и была моя идея. На восторги я отвечал молчанием, благосклонным, конечно... но все же она быстро увидала, что мы разница и что я — загадка. А я, главное, и бил на загадку! Ведь для того, чтобы загадать загадку, я, может быть, и всю эту глупость сделал! Во-первых, строгость, — так под строгостью и в дом ее ввел. Одним словом, тогда, ходя и будучи доволен, я создал целую систему. О, без всякой натуги сама собой вылилась. Да и нельзя было иначе, я должен был создать эту систему по неотразимому обстоятельству, — что ж я, в самом деле, клевету-то на себя! Система была истинная. Нет, послушайте, если уж судить человека, то судить, зная дело... Слушайте.

Как бы это начать, потому что это очень трудно. Когда начнешь оправдываться — вот и трудно. Видите ли: молодежь презирает, например, деньги, — я тотчас же налег на деньги; я напер на деньги. И так налег, что она все больше и больше начала умолкать.

Раскрывала большие глаза, слушала, смотрела и умолкала. Видите ли: молодежь великодушна, то есть хорошая молодежь, великодушна и порывиста, но мало терпимости, чуть что не так — и презрение. А я хотел широкости, я хотел привить широкость прямо к сердцу, привить к сердечному взгляду, не так ли? Возьму пошлый пример: как бы я, например, объяснил мою кассу ссуд такому характеру? Разумеется, я не прямо заговорил, иначе вышло бы, что я прошу прощения за кассу ссуд, а я, так сказать, действовал гордостью, говорил почти молча. А я мастер молча говорить, я всю жизнь мою проговорил молча и прожил сам с собою целые трагедии молча. О, ведь и я же был несчастлив! Я был выброшен всеми, выброшен и забыт, и никто-то, никто-то этого не знает! И вдруг эта шестнадцатилетняя нахватала обо мне потом подробностей от подлых людей и думала, что все знает, а сокровенное между тем оставалось лишь в груди этого человека! Я все молчал, и особенно, особенно с ней молчал, до самого вчерашнего дня, — почему молчал? А как гордый человек. Я хотел, чтоб она узнала сама, без меня, но уже не по рассказам подлецов, а чтобы сама догадалась об этом человеке и постигла его! Принимая ее в дом свой, я хотел полного уважения. Я хотел, чтоб она стояла предо мной в мольбе за мои страдания — и я стоил того. О, я всегда был горд, я всегда хотел или всего, или ничего! Вот именно потому, что я не половинщик в счастье, а всего захотел, — именно потому я и вынужден был так поступить тогда: “Дескать, сама догадайся и оцени!” Потому что, согласитесь, ведь если б я сам начал ей объяснять и подсказывать, вилять и уважения про-

силь, — так ведь я все равно что просил бы милостыни... А впрочем... а впрочем, что ж я об этом говорю!

Глупо, глупо, глупо и глупо! Я прямо и безжалостно (и я напирал на то, что безжалостно) объяснял ей тогда, в двух словах, что великодушные молодежи прелестно, но — гроша не стоит. Почему не стоит? Потому что дешево ей достается, получилось не живши, все это, так сказать, “первые впечатления бытия”, а вот посмотрим-ка вас на труде! Дешевое великодушные всегда легко, и даже отдать жизнь — и это дешево, потому что тут только кровь кипит и сил избыток, красоты страстно хочется! Нет, возьмите-ка подвиг великодушия, трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой, где много жертвы и ни капли славы, — где вы, сияющий человек, пред всеми выставлены подлецом, тогда как вы честнее всех людей на земле, — ну-тка, попробуйте-ка этот подвиг, нет-с, откажетесь! А я — я только всю жизнь и делал, что носил этот подвиг. Сначала спорила, ух как, а потом начала примолкать, совсем даже, только глаза ужасно открывала, слушая, большие, большие такие глаза, внимательные. И... и кроме того, я вдруг увидел улыбку, недоверчивую, молчаливую, нехорошую. Вот с этой-то улыбкой я и ввел ее в мой дом. Правда и то, что ей уж некуда было идти...

IV. Все планы и планы

Кто у нас тогда первый начал?

Никто. Само началось с первого шага. Я сказал, что я ввел ее в дом под строгостью, однако с пер-

вого же шага смягчил. Еще невесте, ей было объяснено, что она займется приемом закладов и выдачей денег, и она ведь тогда ничего не сказала (это заметьте). Мало того, — принялась за дело даже с усердием. Ну, конечно, квартира, мебель — все осталось по-прежнему. Квартира — две комнаты: одна — большая зала, где отгорожена и касса, а другая, тоже большая, — наша комната, общая, тут и спальня. Мебель у меня скудная; даже у теток была лучше. Киот мой с лампадкой — это в зале, где касса; у меня же в комнате мой шкаф, и в нем несколько книг, и укладка, ключи у меня; ну, там постель, столы, стулья. Еще невесте сказал, что на наше содержание, то есть на пищу, мне, ей и Лукерье, которую я переманил, определяется в день рубль и не больше: “Мне, дескать, нужно тридцать тысяч в три года, а иначе денег не наживешь”. Она не препятствовала, но я сам возвысил содержание на тридцать копеек. Тоже и театр. Я сказал невесте, что не будет театра, и, однако ж, положил раз в месяц театру быть, и прилично, в креслах. Ходили вместе, были три раза, смотрели “Погоню за счастьем” и “Птицы певчие”, кажется. (О, наплевать, наплевать!) Молча ходили и молча возвращались. Почему, почему мы с самого начала принялись молчать? Сначала ведь ссор не было, а тоже молчание. Она все как-то, помню, тогда исподтишка на меня глядела; я, как заметил это, и усилил молчание. Правда, это я на молчание напер, а не она. С ее стороны раз или два были порывы, бросалась обнимать меня; но так как порывы были болезненные, истерические, а мне надо было твердого счастья, с уважением от нее, то я принял

холодно. Да и прав был: каждый раз после порывов на другой день была ссора.

То есть ссор не было, опять-таки, но было молчание и — все больше и больше дерзкий вид с ее стороны. “Бунт и независимость” — вот что было, только она не умела. Да, это кроткое лицо становилось все дерзче и дерзче. Верите ли, я ей становился поган, я ведь изучил это. А в том, что она выходила порывами из себя, в этом не было сомнения. Ну как, например, выйдя из такой грязи и нищеты, после мытья-то полов, начать вдруг фыркать на нашу бедность! Видите-с: была не бедность, а была экономия, а в чем надо — так и роскошь, в белье например, в чистоте. Я всегда и прежде мечтал, что чистота в муже прельщает жену. Впрочем, она не на бедность, а на мое будто бы скарество в экономии: “Цели, дескать, имеет, твердый характер показывает”. От театра вдруг сама отказалась. И все пуще и пуще насмешливая складка... а я усиливаю молчание, а я усиливаю молчание.

Не оправдываться же? Тут главное — эта касса ссуд. Позвольте-с: я знал, что женщина, да еще шестнадцати лет, не может не подчиниться мужчине вполне. В женщинах нет оригинальности, это — это аксиома, даже и теперь, даже и теперь для меня аксиома! Что ж такое, что там в зале лежит: истина есть истина, и тут сам Милль ничего не поделает! А женщина любящая, о, женщина любящая — даже пороки, даже злодейства любимого существа обоготворит. Он сам не подыщет своим злодействам таких оправданий, какие она ему найдет. Это великодушно, но не оригинально. Женщин погубила одна лишь

неоригинальность. И что ж, повторяю, что вы мне указываете там на столе? Да разве это оригинально, что там на столе? О-о!

Слушайте: в любви ее я был тогда уверен. Ведь бросалась же она ко мне и тогда на шею. Любила, значит, вернее — желала любить. Да, вот так это и было: желала любить, искала любить. А главное ведь в том, что тут и злодейств никаких таких не было, которым бы ей пришлось подыскивать оправдания. Вы говорите “закладчик”, и все говорят. А что ж что закладчик? Значит, есть же причины, коли великодушнейший из людей стал закладчиком. Видите, господа, есть идеи... то есть, видите, если иную идею произнести, выговорить словами, то выйдет ужасно глупо. Выйдет стыдно самому. А почему? Нипочему. Потому, что мы все дрянь и правды не выносим, или уж я не знаю. Я сказал сейчас “великодушнейший из людей”. Это смешно, а между тем ведь это так и было. Ведь это правда, то есть самая, самая правденская правда! Да, я имел право захотеть себя тогда обеспечить и открыть эту кассу: “Вы отвергли меня, вы, люди то есть, вы прогнали меня с презрительным молчанием. На мой страстный порыв к вам вы ответили мне обидой на всю мою жизнь. Теперь я, стало быть, вправе был оградиться от вас стеной, собрать эти тридцать тысяч рублей и окончить жизнь где-нибудь в Крыму, на Южном берегу, в горах и виноградниках, в своем имении, купленном на эти тридцать тысяч, а главное, вдали от всех вас, но без злобы на вас, с идеалом в душе, с любимой у сердца женщиной, с семьей, если бог пошлет, и — помогая окрестным поселянам”. Разумеется, хорошо, что я это сам теперь

про себя говорю, а то что могло быть глупее, если б я тогда ей это вслух расписал? Вот почему и гордое молчание, вот почему и сидели молча. Потому, что ж бы она поняла? Шестнадцать-то лет, первая-то молодость, — да что могла она понять из моих оправданий, из моих страданий? Тут прямолинейность, незнание жизни, юные дешевые убеждения, слепота куриная “прекрасных сердец”, а главное тут — касса ссуд и — баста (а разве я был злодей в кассе ссуд, разве не видела она, как я поступал и брал ли я лишнее?)! О, как ужасна правда на земле! Эта прелесть, эта кроткая, это небо — она была тиран, нестерпимый тиран души моей и мучитель! Ведь я наклевету на себя, если этого не скажу! Вы думаете, я ее не любил? Кто может сказать, что я ее не любил? Видите ли: тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы! Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще! (Моя, в частности!) Я ведь понимаю же теперь, что я в чем-то тут ошибся! Тут что-то вышло не так. Все было ясно, план мой был ясен как небо: “Суров, горд и в нравственных утешениях ни в чьих не нуждается, страдает молча”. Так оно и было, не лгал, не лгал! “Увидит потом сама, что тут было великодушие, но только она не сумела заметить, — и как догадается об этом когда-нибудь, то оценит вдесятеро и падет в прах, сложив в мольбе руки”. Вот план. Но тут я что-то забыл или упустил из виду. Не сумел я что-то тут сделать. Но довольно, довольно. И у кого теперь прощения просить? Кончено так кончено. Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!..

Что ж, я скажу правду, я не побоюсь стать пред правдой лицом к лицу: она виновата, она виновата!..

V. Кроткая бунтует

Ссоры начались с того, что она вдруг вздумала выдавать деньги по-своему, ценить вещи выше стоимости и даже раза два удѣстоила со мной вступить на эту тему в спор. Я не согласился. Но тут подвернулась эта капитанша.

Пришла старуха капитанша с медальоном — покойного мужа подарок, ну, известно, сувенир. Я выдал тридцать рублей. Принялась жалобно ныть, просить, чтоб сохранили вещь, — разумеется, сохраним. Ну, одним словом, вдруг через пять дней приходит обменять на браслет, который не стоил и восьми рублей; я, разумеется, отказал. Должно быть, она тогда же угадала что-нибудь по глазам жены, но только она пришла без меня, и та обменяла ей медальон.

Узнав в тот же день, я заговорил кротко, но твердо и резонно. Она сидела на постели, смотрела в землю, щелкая правым носком по коврику (ее жест); дурная улыбка стояла на ее губах. Тогда я, вовсе не возвышая голоса, объявил спокойно, что деньги мои, что я имею право смотреть на жизнь моими глазами, и — что когда я приглашал ее к себе в дом, то ведь ничего не скрыл от нее.

Она вдруг вскочила, вдруг вся затряслась и — что бы вы думали — вдруг затопала на меня ногами; это был зверь, это был припадок, это был зверь в припадке. Я оцепенел от изумления: такой выходки я никогда не ожидал. Но не потерялся, я даже не сделал движения и опять прежним спокойным голосом прямо объявил, что с сих пор лишаю ее участия в моих занятиях. Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры.

Дело в том, что выходить из квартиры она не имела права. Без меня никуда, таков был уговор еще в невестах. К вечеру она воротилась; я ни слова.

Назавтра тоже с утра ушла, напоследок опять. Я запер кассу и направился к теткам. С ними я с самой свадьбы прервал — ни их к себе, ни сами к ним. Теперь оказалось, что она у них не была. Выслушали меня с любопытством и мне же насмеялись в глаза: “Так вам, говорят, и надо”. Но я и ждал их смеха. Тут же младшую тетку, девицу, за сто рублей подкупил и двадцать пять дал вперед. Через два дня она приходит ко мне: “Тут, говорит, офицер, Ефимович, поручик, бывший ваш прежний товарищ в полку, замешан”. Я был очень изумлен. Этот Ефимович более всего зла мне нанес в полку, а с месяц назад, раз и другой, будучи бесстыден, зашел в кассу под видом закладов и, помню, с женой тогда начал смеяться. Я тогда же подошел и сказал ему, чтоб он не осмеливался ко мне приходить, вспомя мои отношения; но и мысли об чем-нибудь таком у меня в голове не было, а так просто подумал, что нахал. Теперь же вдруг тетка сообщает, что с ним у ней уже назначено свидание и что всем делом орудует одна прежняя знакомая теток, Юлия Самсоновна, вдова, да еще полковница, — “к ней-то, дескать, ваша супруга и ходит теперь”.

Эту картину я сокращу. Всего мне стоило это дело рублей до трехсот, но в двое суток устроено было так, что я буду стоять в соседней комнате, за притворенными дверями, и слышать первый *rendez-vous* наедине моей жены с Ефимовичем. В ожидании же, накануне, произошла у меня с ней одна краткая, но слишком знаменательная для меня сцена.

Воротилась она перед вечером, села на постель, смотрит на меня насмешливо и ножкой бьет о коврик. Мне вдруг, смотря на нее, влетела тогда в голову идея, что весь этот последний месяц, или, лучше, две последние перед сим недели, она была совсем не в своем характере, можно даже сказать — в обратном характере: являлось существо буйное, нападающее, не могу сказать бесстыдное, но беспорядочное и само ищущее смятения. Напрашивающееся на смятение. Кротость, однако же, мешала. Когда этакая забуйствует, то хотя бы и перескочила меру, а все видно, что она сама себя только ломит, сама себя подгоняет и что с целомудрием и стыдом своим ей самой первой справиться невозможно. Оттого-то этакie и выскакивают порой слишком уж не в мерку, так что не веришь собственному наблюдающему уму. Привычная же к разврату душа, напротив, всегда смягчит, сделает гаже, но в виде порядка и приличия, который над вами же имеет претензию превосходствовать.

— А правда, что вас из полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти трусили? — вдруг спросила она, с дубу сорвав, и глаза ее засверкали.

— Правда; меня, по приговору офицеров, попросили из полка удалиться, хотя, впрочем, я сам уже перед тем подал в отставку.

— Выгнали как труса?

— Да, они присудили как труса. Но я отказался от дуэли не как трус, а потому, что не захотел подчиниться их тираническому приговору и вызывать на дуэль, когда не находил сам обиды. Знайте, — не удержался я тут, — что восстать действием про-

тив такой тирании и принять все последствия — значило выказать гораздо более мужества, чем в какой хотите дуэли.

Я не сдержался, я этой фразой как бы пустился в оправдание себя; а ей только этого и надо было, этого нового моего унижения.

Она злобно рассмеялась.

— А правда, что вы три года потом по улицам в Петербурге как бродяга ходили, и по гривеннику просили, и под биллиардами ночевали?

— Я и на Сенной в доме Вяземского ночевывал. Да, правда; в моей жизни было потом, после полка, много позора и падения, но не нравственного падения, потому что я сам же первый ненавидел мои поступки даже тогда. Это было лишь падение воли моей и ума и было вызвано лишь отчаянием моего положения. Но это прошло...

— О, теперь вы лицо — финансист!

То есть это намек на кассу ссуд. Но я уже успел сдержать себя. Я видел, что она жаждет унижительных для меня объяснений и — не дал их. Кстати же позвонил закладчик, и я вышел к нему в залу. После, уже через час, когда она вдруг оделась, чтоб выйти, остановилась предо мной и сказала:

— Вы, однако ж, мне об этом ничего не сказали до свадьбы?

Я не ответил, и она ушла.

Итак, назавтра я стоял в этой комнате за дверями и слушал, как решалась судьба моя, а в кармане моем был револьвер. Она была приодета, сидела за столом, а Ефимович перед нею ломался. И что ж: вышло то (я к чести моей говорю это), вышло точь-в-точь то,

что я предчувствовал и предполагал, хоть и не сознавая, что я предчувствую и предполагаю это. Не знаю, понятно ли выражаюсь.

Вот что вышло. Я слушал целый час и целый час присутствовал при поединке женщины благороднейшей и возвышенной с светской развратной, тупой тварью, с пресмыкающеюся душой. И откуда, думал я, пораженный, откуда эта наивная, эта кроткая, эта малословесная знает все это? Остроумнейший автор великосветской комедии не мог бы создать этой сцены насмешек, наивнейшего хохота и святого презрения добродетели к пороку. И сколько было блеска в ее словах и маленьких словечках; какая острота в быстрых ответах, какая правда в ее осуждении! И в то же время столько девического почти простодушия. Она смеялась ему в глаза над его объяснениями в любви, над его жестами, над его предложениями. Приехав с грубым приступом к делу и не предполагая сопротивления, он вдруг так и осел. Сначала я бы мог подумать, что тут у ней просто кокетство — “кокетство хоть и развратного, но остроумного существа, чтоб дороже себя выставить”. Но нет, правда засияла как солнце, и сомневаться было нельзя. Из ненависти только ко мне, напускной и порывистой, она, неопытная, могла решиться затеять это свидание, но как дошло до дела — то у ней тотчас открылись глаза. Просто металось существо, чтобы оскорбить меня чем бы то ни было, но, решившись на такую грязь, не вынесло беспорядка. И ее ли, безгрешную и чистую, имеющую идеал, мог прельстить Ефимович или кто хотите из этих великосветских тварей? Напротив, он возбудил лишь смех.

Вся правда поднялась из ее души, и негодование вызвало из сердца сарказм. Повторяю, этот шут под конец совсем осовел и сидел нахмурившись, едва отвечая, так что я даже стал бояться, чтоб не рискнул оскорбить ее из низкого мщения. И опять повторяю: к чести моей, эту сцену я выслушал почти без изумления. Я как будто встретил одно знакомое. Я как будто шел затем, чтоб это встретить. Я шел, ничему не веря, никакому обвинению, хотя и взял револьвер в карман, — вот правда! И мог разве я вообразить ее другою? Из-за чего ж я любил, из-за чего ж я ценил ее, из-за чего ж женился на ней? О, конечно, я слишком убедился в том, сколь она меня тогда ненавидела, но убедился и в том, сколь она непорочна. Я прекратил сцену вдруг, отворив двери. Ефимович вскочил, я взял ее за руку и пригласил со мной выйти. Ефимович нашелся и вдруг звонко и раскатисто расхохотался:

— О, против священных супружеских прав я не возражаю, уводите, уводите! И знаете, — крикнул он мне вслед, — хоть с вами и нельзя драться порядочному человеку, но, из уважения к вашей даме, я к вашим услугам... Если вы, впрочем, сами рискнете...

— Слышите! — остановил я ее на секунду на пороге.

Затем всю дорогу до дома ни слова. Я вел ее за руку, и она не сопротивлялась. Напротив, она была ужасно поражена, но только до дома. Придя домой, она села на стул и уперлась в меня взглядом. Она была чрезвычайно бледна; губы хоть и сложились тотчас же в насмешку, но смотрела она уже с торжественным и суровым вызовом и, кажется, серьезно убеждена была в первые минуты, что

я убью ее из револьвера. Но я молча вынул револьвер из кармана и положил на стол. Она смотрела на меня и на револьвер. (Заметьте: револьвер этот был ей уже знаком. Заведен он был у меня и заряжен с самого открытия кассы. Открывая кассу, я решил не держать ни огромных собак, ни сильного лакея, как, например, держит Мозер. У меня посетителям отворяет кухарка. Но занимающимся нашим ремеслом невозможно лишить себя, на всякий случай, самозащиты, и я завел заряженный револьвер. Она в первые дни, как вошла ко мне в дом, очень интересовалась этим револьвером, расспрашивала, и я объяснил даже ей устройство и систему, кроме того, убедил раз выстрелить в цель. Заметьте все это.) Не обращая внимания на ее испуганный взгляд, я, полураздетый, лег на постель. Я был очень обессилен; было уже около одиннадцати часов. Она продолжала сидеть на том же месте, не шевелясь, еще около часа, затем потушила свечу и легла, тоже одетая, у стены, на диване. В первый раз не легла со мной, — это тоже заметьте...

VI. Страшное воспоминание

Теперь это страшное воспоминание...

Я проснулся утром, я думаю, в восьмом часу, и в комнате было уже почти совсем светло. Я проснулся разом с полным сознанием и вдруг открыл глаза. Она стояла у стола и держала в руках револьвер. Она не видела, что я проснулся и гляжу. И вдруг я вижу, что она стала надвигаться ко мне с револьве-

ром в руках. Я быстро закрыл глаза и притворился крепко спящим.

Она дошла до постели и стала надо мной. Я слышал все; хоть и настала мертвая тишина, но я слышал эту тишину. Тут произошло одно судорожное движение — и я вдруг, неудержимо, открыл глаза против воли. Она смотрела прямо на меня, мне в глаза, и револьвер уже был у моего виска. Глаза наши встретились. Но мы глядели друг на друга не более мгновения. Я с силой закрыл глаза опять и в то же мгновение решил изо всей силы моей души, что более уже не шевельнусь и не открою глаз, что бы ни ожидало меня.

В самом деле, бывает, что и глубоко спящий человек вдруг открывает глаза, даже приподымает на секунду голову и оглядывает комнату, затем, через мгновение, без сознания кладет опять голову на подушку и засыпает, ничего не помня. Когда я, встретившись с ее взглядом и ощутив револьвер у виска, вдруг закрыл опять глаза и не шевельнулся, как глубоко спящий, — она решительно могла предположить, что я в самом деле сплю и что ничего не видал, тем более что совсем невероятно, увидав то, что я увидел, закрыть в такое мгновение опять глаза.

Да, невероятно. Но она все-таки могла угадать и правду, — это-то и блеснуло в уме моем вдруг, все в то же мгновение. О, какой вихрь мыслей, ощущений пронесся менее чем в мгновение в уме моем, и да здравствует электричество человеческой мысли! В таком случае (почувствовалось мне), если она угадала правду и знает, что я не сплю, то я уже раздавил ее моею готовностью принять смерть и у ней теперь

может дрогнуть рука. Прежняя решимость может разбиться о новое чрезвычайное впечатление. Говорят, что стоящие на высоте как бы тянутся сами книзу, в бездну. Я думаю, много самоубийств и убийств совершилось потѣмъ только, что револьвер уже был взят в руки. Тут тоже бездна, тут покатошь в сорок пять градусов, о которую нельзя не скользнуть, и вас что-то вызывает непобедимо спустить курок. Но сознание, что я все видел, все знаю и жду от нее смерти молча, — могло удержать ее на покатоши.

Тишина продолжалась, и вдруг я ощутил у виска, у волос моих, холодное прикосновение железа. Вы спросите: твердо ли я надеялся, что спасусь? Отвечу вам, как перед богом: не имел никакой надежды, кроме разве одного шанса из ста. Для чего же принимал смерть? А я спрошу: на что мне была жизнь после револьвера, поднятого на меня обожаемым мною существом? Кроме того, я знал всей силой моего существа, что между нами в это самое мгновение идет борьба, страшный поединок на жизнь и смерть, поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость товарищами. Я знал это, и она это знала, если только угадала правду, что я не сплю.

Может быть, этого и не было, может быть, я этого и не мыслил тогда, но это все же должно было быть, хоть без мысли, потому что я только и делал, что об этом думал потом каждый час моей жизни.

Но вы зададите опять вопрос: зачем же ее не спас от злодейства? О, я тысячу раз задавал себе потом этот вопрос — каждый раз, когда, с холодом в спине, припоминал ту секунду. Но душа моя была тогда в мрачном отчаянии: я погибал, я сам погибал, так кого

ж бы я мог спасти? И почему вы знаете, хотел ли бы еще я тогда кого спасти? Почему знать, что я тогда мог чувствовать?

Сознание, однако ж, кипело; секунды шли, тишина была мертвая; она все стояла надо мной, — и вдруг я вздрогнул от надежды! Я быстро открыл глаза. Ее уже не было в комнате. Я встал с постели: я победил, — и она была навеки побеждена!

Я вышел к самовару. Самовар подавался у нас всегда в первой комнате, и чай разливала всегда она. Я сел к столу молча и принял от нее стакан чая. Минут через пять я на нее взглянул. Она была страшно бледна, еще бледнее вчерашнего, и смотрела на меня. И вдруг — и вдруг, видя, что я смотрю на нее, она бледно усмехнулась бледными губами, с робким вопросом в глазах. “Стало быть, все еще сомневается и спрашивает себя: знает он или не знает, видел он или не видел?” Я равнодушно отвел глаза. После чая запер кассу, пошел на рынок и купил железную кровать и ширмы. Возвратясь домой, я велел поставить кровать в зале, а ширмами огородить ее. Это была кровать для нее, но я ей не сказал ни слова. И без слов поняла, через эту кровать, что я “все видел и все знаю” и что сомнений уже более нет. На ночь я оставил револьвер как всегда на столе. Ночью она молча легла в эту новую свою постель: брак был расторгнут, “побеждена, но не прощена”. Ночью с нею сделался бред, а наутро горячка. Она пролежала шесть недель.

Глава вторая

I. Сон гордости

Лукерья сейчас объявила, что жить у меня не станет и, как похоронят барыню, — сойдет. Молился на коленях пять минут, а хотел молиться час, но все думаю, думаю, и все больные мысли, и больная голова, — чего ж тут молиться — один грех! Странно тоже, что мне спать не хочется: в большом, в слишком большом горе, после первых сильнейших взрывов, всегда спать хочется. Приговоренные к смертной казни чрезвычайно, говорят, крепко спят в последнюю ночь. Да так и надо, это по природе, а то силы бы не вынесли... Я лег на диван, но не заснул...

...Шесть недель болезни мы ходили тогда за ней день и ночь — я, Лукерья и ученая сиделка из больницы, которую я нанял. Денег я не жалел, и мне даже хотелось на нее тратить. Доктора я позвал Шредера и платил ему по десяти рублей за визит. Когда она пришла в сознание, я стал меньше являться на глаза. А впрочем, что ж я описываю. Когда она встала совсем, то тихо и молча села в моей комнате за особым столом, который я тоже купил для нее в это время... Да, это правда, мы совершенно молчали; то есть мы начали даже потом говорить, но — все обычное. Я, конечно, нарочно не распространялся, но я очень

хорошо заметил, что и она как бы рада была не сказать лишнего слова. Мне показалось это совершенно естественным с ее стороны: “Она слишком потрясена и слишком побеждена, — думал я, — и, уж конечно, ей надо дать позабыть и привыкнуть”. Таким образом мы и молчали, но я каждую минуту приготавлился про себя к будущему. Я думал, что и она тоже, и для меня было страшно занимательно угадывать: об чем именно она теперь про себя думает?

Еще скажу: о, конечно, никто не ведает, сколько я вынес, стная над ней в ее болезни. Но я стнал про себя и стоны давил в груди даже от Лукерьи. Я не мог представить, предположить даже не мог, чтоб она умерла, не узнав всего. Когда же она вышла из опасности и здоровье стало возвращаться, я, помню это, быстро и очень успокоился. Мало того, я решил отложить наше будущее как можно на долгое время, а оставить пока все в настоящем виде. Да, тогда случилось со мной нечто странное и особенное, иначе не умею назвать: я восторжествовал, и одного сознания о том оказалось совершенно для меня довольно. Вот так и прошла вся зима. О, я был доволен, как никогда не бывал, и это всю зиму.

Видите: в моей жизни было одно страшное внешнее обстоятельство, которое до тех пор, то есть до самой катастрофы с женой, каждый день и каждый час давило меня, а именно — потеря репутации и тот выход из полка. В двух словах: была тираническая несправедливость против меня. Правда, меня не любили товарищи за тяжелый характер и, может быть, за смешной характер, хотя часто бывает ведь так, что возвышенное для вас, сокровенное и чтимое вами

в то же время смешит почему-то толпу ваших товарищей. О, меня не любили никогда даже в школе. Меня всегда и везде не любили. Меня и Лукерья не может любить. Случай же в полку был хоть и следствием не любви ко мне, но без сомнения носил случайный характер. Я к тому это, что нет ничего обиднее и не сноснее, как погибнуть от случая, который мог быть и не быть, от несчастного скопления обстоятельств, которые могли пройти мимо, как облака. Для интеллигентного существа унижительно. Случай был следующий.

В антракте, в театре, я вышел в буфет. Гусар А-в, вдруг войдя, громко при всех бывших тут офицерах и публике заговорил с двумя своими же гусарами об том, что в коридоре капитан нашего полка Безумцев сейчас только наделал скандалу “и, кажется, пьяный”. Разговор не завязался, да и была ошибка, потому что капитан Безумцев пьян не был и скандал был, собственно, не скандал. Гусары заговорили о другом, тем и кончилось, но назавтра анекдот проник в наш полк, и тотчас же у нас заговорили, что в буфете из нашего полка был только я один и когда гусар А-в дерзко отнесся о капитане Безумцеве, то я не подошел к А-ву и не остановил его замечанием. Но с какой же бы стати? Если он имел зуб на Безумцева, то дело это было их личное, и мне чего ж ввязываться? Между тем офицеры начали находить, что дело было не личное, а касалось и полка, а так как офицеров нашего полка тут был только я, то тем и доказал всем бывшим в буфете офицерам и публике, что в полку нашем могут быть офицеры, не столь щекотливые насчет чести своей и полка. Я не мог согласиться с таким определением.

Мне дали знать, что я могу еще все поправить, если даже и теперь, хотя и поздно, захочу формально объясниться с А-м. Я этого не захотел и так как был раздражен, то отказался с гордостью. Затем тотчас же подал в отставку, — вот вся история. Я вышел гордый, но разбитый духом. Я упал волей и умом. Тут как раз подошло, что сестрин муж в Москве промотал наше маленькое состояние и мою в нем часть, крошечную часть, но я остался без гроша на улице. Я бы мог взять частную службу, но я не взял: после блестящего мундира я не мог пойти куда-нибудь на железную дорогу. Итак — стыд так стыд, позор так позор, падение так падение, и чем хуже, тем лучше, — вот что я выбрал. Тут три года мрачных воспоминаний и даже дом Вяземского. Полтора года назад умерла в Москве богатая старуха, моя крестная мать, и неожиданно, в числе прочих, оставила и мне по завещанию три тысячи. Я подумал и тогда же решил судьбу свою. Я решился на кассу ссуд, не прося у людей прощения: деньги, затем угол и — новая жизнь вдали от прежних воспоминаний, — вот план. Тем не менее мрачное прошлое и навеки испорченная репутация моей чести томили меня каждый час, каждую минуту. Но тут я женился. Случайно или нет — не знаю. Но вводя ее в дом, я думал, что ввожу друга, мне же слишком был надобен друг. Но я видел ясно, что друга надо было приготовить, доделать и даже победить. И мог ли я что-нибудь объяснить так сразу этой шестнадцатилетней и предубежденной? Например, как мог бы я, без случайной помощи происшедшей страшной катастрофы с револьвером, уверить ее, что я не трус и что меня обвинили в полку как труса несправедливо? Но ката-

строфа подросла к стати. Выдержав револьвер, я от-мстил всему моему мрачному прошедшему. И хоть никто про то не узнал, но узнала она, а это было все для меня, потому что она сама была все для меня, вся надежда моего будущего в мечтах моих! Она была единственным человеком, которого я готовил себе, а другого и не надо было, — и вот она все узнала; она узнала по крайней мере, что несправедливо поспешила присоединиться к врагам моим. Эта мысль восхищала меня. В глазах ее я уже не мог быть подлецом, а разве лишь странным человеком, но и эта мысль теперь, после всего, что произошло, мне вовсе не так не нравилась: странность не порок, напротив, иногда увлекает женский характер. Одним словом, я нарочно отдалил развязку: того, что произошло, было слишком пока довольно для моего спокойствия и заключало слишком много картин и матерьяла для мечтаний моих. В том-то и скверность, что я мечтатель: с меня хватило матерьяла, а об ней я думал, что подождет.

Так прошла вся зима, в каком-то ожидании чего-то. Я любил глядеть на нее украдкой, когда она сидит, бывало, за своим столиком. Она занималась работой, бельем, а по вечерам иногда читала книги, которые брала из моего шкафа. Выбор книг в шкафе тоже должен был свидетельствовать в мою пользу. Не выходила она почти никуда. Перед сумерками, после обеда, я выводил ее каждый день гулять, и мы делали моцион, но не совершенно молча, как прежде. Я именно старался делать вид, что мы не молчим и говорим согласно, но, как я сказал уже, сами мы оба так делали, что не распространялись. Я делал нарочно, а ей, думал я,

необходимо “дать время”. Конечно странно, что мне ни разу, почти до конца зимы, не пришло в голову, что я вот исподтишка люблю смотреть на нее, а ни одного-то ее взгляда за всю зиму я не поймал на себе! Я думал, что в ней это робость. К тому же она имела вид такой робкой кротости, такого бессилия после болезни. Нет, лучше выжди и — “и она вдруг сама подойдет к тебе...”

Эта мысль восхищала меня неотразимо. Прибавлю одно: иногда я как будто нарочно разжигал себя самого и действительно доводил свой дух и ум до того, что как будто впадал на нее в обиду. И так продолжалось по несколько времени. Но ненависть моя никогда не могла созреть и укрепиться в душе моей. Да и сам я чувствовал, что как будто это только игра. Да и тогда, хоть и разорвал я брак, купив кровать и ширмы, но никогда, никогда не мог я видеть в ней преступницу. И не потому, что судил о преступлении ее легкомысленно, а потому, что имел смысл совершенно простить ее, с самого первого дня, еще прежде даже, чем купил кровать. Одним словом, это странность с моей стороны, ибо я нравственно строг. Напротив, в моих глазах она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, что я мучительно жалел ее иногда, хотя мне при всем этом решительно нравилась иногда идея об ее унижении. Идея этого неравенства нашего нравилась...

Мне случилось в эту зиму нарочно сделать несколько добрых поступков. Я простил два долга, я дал одной бедной женщине без всякого залога. И жене я не сказал про это, и вовсе не для того, чтобы она узнала, сделал; но женщина сама пришла благода-

рить, и чуть не на коленях. Таким образом огласилось; мне показалось, что про женщину она действительно узнала с удовольствием.

Но надвигалась весна, был уже апрель в половине, вынули двойные рамы, и солнце стало яркими пучками освещать наши молчаливые комнаты. Но пелена висела передо мною и слепила мой ум. Роковая, страшная пелена! Как это случилось, что все это вдруг упало с глаз и я вдруг прозрел и все понял! Случай ли это был, день ли пришел такой срочный, солнечный ли луч зажег в отупевшем уме моем мысль и догадку? Нет, не мысль и не догадка были тут, а тут вдруг заиграла одна жилка, замертвевшая было жилка, затряслась и ожила и озарила всю отупевшую мою душу и бесовскую гордость мою. Я тогда точно вскочил вдруг с места. Да и случилось оно вдруг и внезапно. Это случилось перед вечером, часов в пять, после обеда...

II. Пелена вдруг упала

Два слова прежде того. Еще за месяц я заметил в ней странную задумчивость, не то что молчание, а уже задумчивость. Это тоже я заметил вдруг. Она тогда сидела за работой, наклонив голову к шитью, и не видала, что я гляжу на нее. И вдруг меня тут же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, лицо бледненькое, губы побелели, — меня все это, в целом, вместе с задумчивостью, чрезвычайно и разом фраппировало. Я уже и прежде слышал маленький сухой кашель, по ночам особенно. Я тотчас встал и отправился просить ко мне Шредера, ей ничего не сказавши.

Шредер прибыл на другой день. Она была очень удивлена и смотрела то на Шредера, то на меня.

— Да я здорова, — сказала она, неопределенно усмехнувшись.

Шредер ее не очень осматривал (эти медики бывают иногда свысока небрежны), а только сказал мне в другой комнате, что это осталось после болезни и что с весной недурно куда-нибудь съездить к морю или, если нельзя, то просто переселиться на дачу. Одним словом, ничего не сказал, кроме того, что есть слабость или там что-то. Когда Шредер вышел, она вдруг сказала мне опять, ужасно серьезно смотря на меня:

— Я совсем, совсем здорова.

Но сказавши, тут же вдруг покраснела, видимо, от стыда. Видимо, это был стыд. О, теперь я понимаю: ей было стыдно, что я еще муж ее, забочусь об ней, все еще будто бы настоящий муж. Но тогда я не понял и краску приписал смирению. (Пелена!)

И вот, месяц после того, в пятом часу, в апреле, в яркий солнечный день я сидел у кассы и вел расчет. Вдруг слышу, что она, в нашей комнате, за своим столом, за работой, тихо-тихо... запела. Эта новость произвела на меня потрясающее впечатление, да и до сих пор я не понимаю его. До тех пор я почти никогда не слыхал ее поющую, разве в самые первые дни, когда ввел ее в дом и когда еще могли резвиться, стреляя в цель из револьвера. Тогда еще голос ее был довольно сильный, звонкий, хотя неверный, но ужасно приятный и здоровый. Теперь же песенка была такая слабенькая — о, не то чтобы заунывная (это был какой-то романс), но как будто бы в голосе

было что-то надтреснутое, сломанное, как будто голосок не мог справиться, как будто сама песенка была больная. Она пела вполголоса, и вдруг, поднявшись, голос оборвался, — такой бедненький голосок, так он оборвался жалко; она откашлялась и опять тихо-тихо, чуть-чуть, запела...

Моим волнениям засмеются, но никогда никто не поймет, почему я заволновался! Нет, мне еще не было ее жаль, а это было что-то совсем еще другое. Сначала, по крайней мере в первые минуты, явилось вдруг недоумение и страшное удивление, страшное и странное, болезненное и почти что мстительное: “Поет, и при мне! Забыла она про меня, что ли?”

Весь потрясенный, я оставался на месте, потом вдруг встал, взял шляпу и вышел, как бы не соображая. По крайней мере не знаю, зачем и куда. Лукерья стала подавать пальто.

— Она поет? — сказал я Лукерье невольно. Та не понимала и смотрела на меня, продолжая не понимать; впрочем, я был действительно непонятен.

— Это она в первый раз поет?

— Нет, без вас иногда поет, — ответила Лукерья.

Я помню все. Я сошел лестницу, вышел на улицу и пошел было куда попало. Я прошел до угла и стал смотреть куда-то. Тут проходили, меня толкали, я не чувствовал. Я подозвал извозчика и нанял было его к Полицейскому мосту, не знаю зачем. Но потом вдруг бросил и дал ему двугривенный:

— Это за то, что тебя потревожил, — сказал я, бессмысленно смеясь ему, но в сердце вдруг начался какой-то восторг.

Я поворотил домой, учащая шаг. Надтреснутая, бедненькая, порвавшаяся нотка вдруг опять зазвене-ла в душе моей. Мне дух захватывало. Падала, падала с глаз пелена! Коль запела при мне, так про меня по-забыла, — вот что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало. Но восторг сиял в душе моей и переси-ливал страх.

О ирония судьбы! Ведь ничего другого не было и быть не могло в моей душе всю зиму, кроме это-го же восторга, но я сам-то где был всю зиму? был ли я-то при моей душе? Я взбежал по лестнице очень спеша, не знаю, робко ли я вошел. Помню только, что весь пол как бы волновался и я как бы плыл по реке. Я вошел в комнату, она сидела на прежнем месте, шила, наклонив голову, но уже не пела. Бегло и не-любопытно глянула было на меня, но не взгляд это был, а так только жест, обычный и равнодушный, ко-гда в комнату входит кто-нибудь.

Я прямо подошел и сел подле на стул, вплоть, как помешанный. Она быстро на меня посмотрела, как бы испугавшись: я взял ее за руку и не помню, что сказал ей, то есть хотел сказать, потому что я даже и не мог говорить правильно. Голос мой срывался и не слу-шался. Да я и не знал, что сказать, а только задыхался.

— Поговорим... знаешь... скажи что-нибудь! — вдруг пролепетал я что-то глупое, — о, до ума ли было? Она опять вздрогнула и отшатнулась в силь-ном испуге, глядя на мое лицо, но вдруг — стро-гое удивление выразилось в глазах ее. Да, удивление, и строгое. Она смотрела на меня большими глазами. Эта строгость, это строгое удивление разом так и раз-мозжили меня: “Так тебе еще любви? любви?” — как

будто спросилось вдруг в этом удивлении, хоть она и молчала. Но я все прочел, все. Все во мне сотряслось, и я так и рухнул к ногам ее. Да, я свалился ей в ноги. Она быстро вскочила, но я с чрезвычайною силою удержал ее за обе руки.

И я понимал вполне мое отчаяние, о, понимал! Но, верите ли, восторг кипел в моем сердце до того неудержимо, что я думал, что я умру. Я целовал ее ноги в упоении и в счастье. Да, в счастье, безмерном и бесконечном, и это при понимании-то всего безвыходного моего отчаяния! Я плакал, говорил что-то, но не мог говорить. Испуг и удивление сменились в ней вдруг какою-то озабоченною мыслью, чрезвычайным вопросом, и она странно смотрела на меня, дико даже, она хотела что-то поскорее понять и улыбнулась. Ей было страшно стыдно, что я целую ее ноги, и она отнимала их, но я тут же целовал то место на полу, где стояла ее нога. Она видела это и стала вдруг смеяться от стыда (знаете это, когда смеются от стыда). Наступала истерика, я это видел, руки ее вздрагивали, — я об этом не думал и все бормотал ей, что я ее люблю, что я не встану, “дай мне целовать твое платье... так всю жизнь на тебя молиться...” Не знаю, не помню, — и вдруг она зарыдала и затряслась; наступил страшный припадок истерики. Я испугал ее.

Я перенес ее на постель. Когда прошел припадок, то, присев на постели, она с страшно убитым видом схватила мои руки и просила меня успокоиться: “Полноте, не мучьте себя, успокойтесь!” — и опять начинала плакать. Весь этот вечер я не отходил от нее. Я все ей говорил, что повезу ее в Булонь купаться в море, теперь, сейчас, через две недели, что у ней та-

кой надтреснутый голосок, я слышал давеча, что я закрою кассу, продам Добронравову, что начнется все новое, а главное, в Булонь, в Булонь! Она слушала и все боялась. Все больше и больше боялась. Но главное для меня было не в том, а в том, что мне все более и неудержимее хотелось опять лежать у ее ног, и опять целовать, целовать землю, на которой стоят ее ноги, и молиться ей и — “больше я ничего, ничего не спрошу у тебя, — повторял я поминутно, — не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, и только дай из угла смотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачонку...” Она плакала.

— А я думала, что вы меня оставите так, — вдруг вырвалось у ней невольно, так невольно, что, может быть, она совсем и не заметила, как сказала, а между тем — о, это было самое главное, самое роковое ее слово и самое понятное для меня в тот вечер, и как будто меня полоснуло от него ножом по сердцу! Все оно объяснило мне, все, но пока она была подле, перед моими глазами, я неудержимо надеялся и был страшно счастлив. О, я страшно утомил ее в тот вечер и понимал это, но беспрерывно думал, что все сейчас же переделаю. Наконец к ночи она совсем обессилела, я уговорил ее заснуть, и она заснула тотчас, крепко. Я ждал бреда, бред был, но самый легкий. Я вставал ночью почти поминутно, тихонько в туфлях приходил смотреть на нее. Я ломал руки над ней, смотря на это больное существо на этой бедной коечке, железной кровати, которую я ей купил тогда за три рубля. Я становился на колени, но не смел целовать ее ног у спящей (без ее-то воли!). Я становился молиться богу, но вскакивал опять. Лукерья присматривалась

ко мне и все выходила из кухни. Я вышел к ней и сказал, чтобы она ложилась и что завтра начнется “совсем другое”.

И я в это слепо, безумно, ужасно верил. О, восторг, восторг зăливал меня! Я ждал только завтрашнего дня. Главное, я не верил никакой беде, несмотря на симптомы. Смысл еще не возвратился весь, несмотря на упавшую пелену, и долго, долго не возвращался, — о, до сегодня, до самого сегодня!! Да и как, как он мог тогда возвратиться: ведь она тогда была еще жива, ведь она была тут же передо мной, а я перед ней. “Она завтра проснется, и я ей все это скажу, и она все увидит”. Вот мое тогдашнее рассуждение, просто и ясно, потому и восторг! Главное, тут эта поездка в Булонь. Я почему-то все думал, что Булонь — это все, что в Булони что-то заключается окончательное. “В Булонь, в Булонь!..” Я с безумием ждал утра.

III. Слишком понимаю

А ведь это было всего только несколько дней назад, пять дней, всего только пять дней, в прошлый вторник! Нет, нет, еще бы только немного времени, только бы капельку подождала и — и я бы развеял мрак! Да разве она не успокоилась? Она на другой же день слушала меня уже с улыбкою, несмотря на замешательство... Главное, все это время, все пять дней, в ней было замешательство или стыд. Боялась тоже, очень боялась. Я не спорю, я не буду противуречить, подобно безумному: страх был, но ведь как же было ей не бояться? Ведь мы так давно стали друг другу чуж-

ды, так отучились один от другого, и вдруг все это... Но я не смотрел на ее страх, сияло новое!.. Правда, несомненная правда, что я сделал ошибку. И даже было, может быть, много ошибок. Я, и как проснулся на другой день, еще с утра (это в среду было) тотчас вдруг сделал ошибку: я вдруг сделал ее моим другом. Я поспешил, слишком, слишком, но исповедь была нужна, необходима — куда, более чем исповедь! Я не скрыл даже того, что и от себя всю жизнь скрывал. Я прямо высказал, что целую зиму только и делал, что уверен был в ее любви. Я ей разъяснил, что касса ссуд была лишь падением моей воли и ума, личная идея самобичевания и самовосхваления. Я ей объяснил, что я тогда в буфете действительно струсил, от моего характера, от мнительности: поразила обстановка, буфет порастил; поразило то: как это я вдруг выйду, и не выйдет ли глупо? Струсил не дуэли, а того, что выйдет глупо... А потом уж не хотел сознаться, и мучил всех, и ее за то мучил, и на ней затем и женился, чтобы ее за то мучить. Вообще я говорил большею частью как в горячке. Она сама брала меня за руки и просила перестать: “Вы преувеличиваете... вы себя мучаете”, — и опять начинались слезы, опять чуть не припадки! Она все просила, чтобы я ничего этого не говорил и не вспоминал.

Я не смотрел на просьбы или мало смотрел: весна, Булонь! Там солнце, там новое наше солнце, я только это и говорил! Я запер кассу, дела передал Добронравову. Я предложил ей вдруг раздать все бедным, кроме основных трех тысяч, полученных от крестной матери, на которые и съездили бы в Булонь, а потом воротимся и начнем новую трудовую жизнь. Так и поло-

жили, потому что она ничего не сказала... она только улыбнулась. И, кажется, более из деликатности улыбнулась, чтобы меня не огорчить. Я видел ведь, что я ей в тягость, не думайте, что я был так глуп и такой эгоист, что этого не видел. Я все видел, все до последней черты, видел и знал лучше всех; все мое отчаяние стояло на виду!

Я ей все про меня и про нее рассказывал. И про Лукерью. Я говорил, что я плакал... О, я ведь и переменял разговор, я тоже старался отнюдь не напоминать про некоторые вещи. И даже ведь она оживилась, раз или два, ведь я помню, помню! Зачем вы говорите, что я смотрел и ничего не видел? И если бы только это не случилось, то все бы воскресло. Ведь рассказывала же она мне еще третьего дня, когда разговор зашел о чтении и о том, что она в эту зиму прочитала, — ведь рассказывала же она и смеялась, когда припомнила эту сцену Жиль Блаза с архиепископом Гренадским. И каким детским смехом, милым, точно как прежде в невестах (миг! миг!); как я был рад! Меня это ужасно поразило, впрочем, про архиепископа: ведь нашла же она, стало быть, столько спокойствия духа и счастья, чтобы смеяться шедевру, когда сидела зимой. Стало быть, уже вполне начала успокаиваться, вполне начала уже верить, что я оставлю ее так. “Я думала, что вы меня оставите так”, — вот ведь что она произнесла тогда во вторник! О, десятилетней девочки мысль! И ведь верила, верила, что и в самом деле все останется так: она за своим столом, а я за своим, и так мы оба, до шестидесяти лет. И вдруг — я тут подхожу, муж, и мужу надо любви! О недоразумение, о слепота моя!

Ошибка тоже была, что я на нее смотрел с восторгом; надо было скрепиться, а то восторг пугал. Но ведь и скрепился же я, я не целовал уже более ее ног. Я ни разу не показал виду, что... ну, что я муж, — о, и в уме моем этого не было, я только молился! Но ведь нельзя же было совсем молчать, ведь нельзя же было не говорить вовсе! Я ей вдруг высказал, что наслаждаюсь ее разговором и что считаю ее несравненно, несравненно образованнее и развитее меня. Она очень покраснела и конфузясь сказала, что я преувеличиваю. Тут я, сдуру-то, не сдержавшись, рассказал, в каком я был восторге, когда, стоя тогда за дверью, слушал ее поединок, поединок невинности с той тварью, и как наслаждался ее умом, блеском остроумия и при таком детском простодушии. Она как бы вся вздрогнула, пролепетала было опять, что я преувеличиваю, но вдруг все лицо ее омрачилось, она закрылась руками и зарыдала... Тут уж и я не выдержал: опять упал перед нею, опять стал целовать ее ноги, и опять кончилось припадком, так же как во вторник. Это было вчера вечером, а наутро...

Наутро?! Безумец, да ведь это утро было сегодня, еще давеча, только давеча!

Слушайте и вникните: ведь когда мы сошлись давеча у самовара (это после вчерашнего-то припадка), то она даже сама поразила меня своим спокойствием, вот ведь что было! А я-то всю ночь трепетал от страху за вчерашнее. Но вдруг она подходит ко мне, становится сама передо мной и, сложив руки (давеча, давеча!), начала говорить мне, что она преступница, что она это знает, что преступление ее мучило всю зиму, мучает и теперь... что она слишком ценит мое вели-

кодушие... “я буду вашей верной женой, я вас буду уважать...” Тут я вскочил и как безумный обнял ее! Я целовал ее, целовал ее лицо, в губы, как муж, в первый раз после долгой разлуки. И зачем только я давеча ушел, всего только на два часа... наши заграничные паспорта... О боже! Только бы пять минут, пять минут раньше воротиться!.. А тут эта толпа в наших воротах, эти взгляды на меня... о господи!

Лукерья говорит (о, я, теперь Лукерью ни за что не отпущу, она все знает, она всю зиму была, она мне все рассказывать будет), она говорит, что, когда я вышел из дому, и всего-то минут за двадцать каких-нибудь до моего прихода, — она вдруг вошла к барыне в нашу комнату что-то спросить, не помню, и увидела, что образ ее (тот самый образ богородицы) у ней вынут, стоит перед нею на столе, а барыня как будто сейчас только перед ним молилась. “Что вы, барыня?” — “Ничего, Лукерья, ступай... Пстой, Лукерья”, — подошла к ней и поцеловала ее. “Счастливы вы, говорю, барыня?” — “Да, Лукерья” — “Давно, барыня, следовало бы барину к вам прийти прощения попросить... Слава богу, что вы помирились” — “Хорошо, говорит, Лукерья, уйди, Лукерья”, — и улыбнулась этак, да странно так. Так странно, что Лукерья вдруг через десять минут воротилась посмотреть на нее: “Стоит она у стены, у самого окна, руку приложила к стене, а к руке прижала голову, стоит этак и думает. И так глубоко задумавшись стоит, что и не слыхала, как я стою и смотрю на нее из той комнаты. Вижу я, как будто она улыбается, стоит, думает и улыбается. Посмотрела я на нее, повернулась тихонько, вышла, а сама про себя думаю, только вдруг

слышу, отворили окошко. Я тотчас пошла сказать, что “свежо, барыня, не простудились бы вы”, и вдруг вижу, она стала на окно и уж вся стоит, во весь рост, в отворенном окне, ко мне спиной, в руках образ держит. Сердце у меня тут же упало, кричу: “Барыня, барыня!” Она услышала, двинулась было повернуться ко мне, да не повернулась, а шагнула, образ прижала к груди и — и бросилась из окошка!”

Я только помню, что, когда я в ворота вошел, она была еще теплая. Главное, они все глядят на меня. Сначала кричали, а тут вдруг замолчали и все передо мной расступаются и... и она лежит с образом. Я помню, как во мраке, что я подошел молча и долго глядел, и все обступили и что-то говорят мне. Лукерья тут была, а я не видал. Говорит, что говорила со мной. Помню только того мещанина: он все кричал мне, что “с горстку крови изо рта вышло, с горстку, с горстку!”, и указывал мне на кровь тут же на камне. Я, кажется, тронул кровь пальцем, запачкал палец, гляжу на палец (это помню), а он мне все: “С горстку, с горстку!”

— Да что такое “с горстку”? — завопил я, говорят, изо всей силы, поднял руки и бросился на него...

О, дико, дико! Недоразумение! Неправдоподобие! Невозможность!

IV. Всего только пять минут опоздал

А разве нет? Разве это правдоподобно? Разве можно сказать, что это возможно? Для чего, зачем умерла эта женщина?

О, поверьте, понимаю; но для чего она умерла — все-таки вопрос. Испугалась любви моей, спросила себя серьезно: принять или не принять, и не вынесла вопроса, и лучше умерла. Знаю, знаю, нечего голову ломать: обещаний слишком много надавала, испугалась, что сдержать нельзя, — ясно. Тут есть несколько обстоятельств совершенно ужасных.

Потому что для чего она умерла? все-таки вопрос стоит. Вопрос стучит, у меня в мозгу стучит. Я бы и оставил ее только так, если б ей захотелось, чтоб осталось так. Она тому не поверила, вот что! Нет, нет, я вру, вовсе не это. Просто потому, что со мной надо было честно: любить так всецело любить, а не так, как любила бы купца. А так как она была слишком целомудренна, слишком чиста, чтоб согласиться на такую любовь, какой надо купцу, то и не захотела меня обманывать. Не захотела обманывать полулюбовью под видом любви или четвертьлюбовью. Честны уж очень, вот что-с! Широкость сердца-то хотел тогда привить, помните? Странная мысль.

Ужасно любопытно: уважала ли она меня? Я не знаю, презирала ли она меня или нет? Не думаю, чтоб презирала. Странно ужасно: почему мне ни разу не пришло в голову, во всю зиму, что она меня презирает? Я в высшей степени был уверен в противном до самой той минуты, когда она поглядела на меня тогда с строгим удивлением. С строгим именно. Тут-то я сразу и понял, что она презирает меня. Понял безвозвратно, навеки! Ах, пусть, пусть презирала бы, хоть всю жизнь, но — пусть бы она жила, жила! Давеча еще ходила, говорила. Совсем не понимаю, как она бросилась из окошка! И как бы мог я предпо-

ложить даже за пять минут? Я позвал Лукерью. Я теперь Лукерью ни за что не отпущу, ни за что!

О, нам еще можно было сговориться. Мы только страшно отвыкли в зиму друг от друга, но разве нельзя было опять приучиться? Почему, почему мы бы не могли сойтись и начать опять новую жизнь? Я великодушен, она тоже — вот и точка соединения! Еще бы несколько слов, два дня, не больше, и она бы все поняла.

Главное, обидно то, что все это случай — простой, варварский, косный случай. Вот обида! Пять минут, всего, всего только пять минут опоздал! Приди я за пять минут — и мгновение пронеслось бы мимо, как облако, и ей бы никогда потом не пришло в голову. И кончилось бы тем, что она бы все поняла. А теперь опять пустые комнаты, опять я один. Вон маятник стучит, ему дела нет, ему ничего не жаль. Нет никого — вот беда!

Я хожу, я все хожу. Знаю, знаю, не подсказывайте: вам смешно, что я жалуюсь на случай и на пять минут? Но ведь тут очевидность. Рассудите одно: она даже записки не оставила, что вот, дескать, “не вините никого в моей смерти”, как все оставляют. Неужто она не могла рассудить, что могут потревожить даже Лукерью: “Одна, дескать, с ней была, так ты и толкнула ее”. По крайней мере, затаскали бы без вины, если бы только на дворе четверо человек не видали из окошек из флигеля и со двора, как стояла с образом в руках и сама кинулась. Но ведь и это тоже случай, что люди стояли и видели. Нет, все это — мгновение, одно лишь безотчетное мгновение. Внезапность и фантазия! Что ж такое, что перед образом молилась? Это

не значит, что перед смертью. Все мгновение продолжалось, может быть, всего только каких-нибудь десять минут, все решение — именно когда у стены стояла, прислонившись головой к руке, и улыбалась. Влетела в голову мысль, закружилась и — и не могла устоять перед нею.

Тут явное недоразумение, как хотите. Со мной еще можно бы жить. А что если малокровие? Просто от малокровия, от истощения жизненной энергии? Устала она в зиму, вот что...

Опоздал!!!

Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! Ресницы лежат стрелками. И ведь как упала — ничего не размозжила, не сломала! Только одна эта “горстка крови”. Десертная ложка то есть. Внутреннее сотрясение. Странная мысль: если бы можно было не хоронить? Потому что если ее унесут, то... о нет, унести почти невозможно! О, я ведь знаю, что ее должны унести, я не безумный и не брежу вовсе, напротив, никогда еще так ум не сиял, — но как же так опять никого в доме, опять две комнаты, и опять я один с закладами. Бред, бред, вот где бред! Измучил я ее — вот что!

Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут меня в суд, в ваш гласный суд, и я скажу, что я не признаю ничего. Судья крикнет: “Молчите, офицер!” А я закричу ему: “Где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался? Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Зачем же мне теперь ваши законы? Я отделяюсь”. О, мне все равно!

Слепая, слепая! Мертвая, не слышит! Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя! Ну, ты бы меня не любила, — и пусть, ну что же? Все и было бы так, все бы и оставалось так. Рассказывала бы только мне как другу, — вот бы и радовались, и смеялись радостно, глядя друг другу в глаза. Так бы и жили. И если б и другого полюбила, — ну и пусть, пусть! Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой стороны улицы... О, пусть все, только пусть бы она открыла хоть раз глаза! На одно мгновение, только на одно! взглянула бы на меня, вот как давеча, когда стояла передо мной и давала клятву, что будет верной женой! О, в одном бы взгляде все поняла!

Косность! О, природа! Люди на земле одни — вот беда! “Есть ли в поле жив человек?” — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живет вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля! “Люди, любите друг друга” — кто это сказал? чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кровати, точно ждут ее... Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?

Л. Н. Толстой

Смерть Ивана Ильича

В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашел разговор о знаменитом красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность, Иван Егорович стоял на своем, Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участия и просматривал только что поданные “Ведомости”.

— Господа! — сказал он, — Иван Ильич-то умер.

— Неужели?

— Вот, читайте, — сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер.

В черном ободке было напечатано: “Прасковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена Судебной палаты, Ивана Ильича Головина, последовавшей 4-го февраля сего 1882 года. Вынос тела в пятницу, в 1 час пополудни”.

Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел уже несколько недель; говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева — или Винников, или Штабель. Так что, услышав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое значение может иметь эта смерть на перемещения или повышения самих членов или их знакомых.

“Теперь, наверно, получу место Штабеля или Винникова, — подумал Федор Васильевич. — Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня восемьсот рублей прибавки, кроме канцелярии”.

“Надо будет попросить теперь о переводе шурина из Калуги, — подумал Петр Иванович. — Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных”.

— Я так и думал, что ему не подняться, — вслух сказал Петр Иванович. — Жалко.

— Да что у него, собственно, было?

— Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится.

— А я так и не был у него с самых праздников. Все собирался.

— Что, у него было состояние?

— Кажется, что-то очень-небольшое у жены. Но что-то ничтожное.

— Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.

— То есть от вас далеко. От вас все далеко.

— Вот не может мне простить, что я живу за рекой, — улыбаясь на Шебека, сказал Петр Иванович. И заговорили о дальности городских расстояний, и пошли в заседание.

Кроме вызванных этой смертью в каждом соображений о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я.

“Каково, умер; а я вот нет”, — подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования.

Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович.

Петр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Иваном Ильичом.

Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображения о возможности перевода шурина в их округ, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу.

У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней у вешалки прислонена была к стене газетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком галуном. Две дамы в черном снимали шубки. Одна, сестра Ивана Ильича, знакомая, другая — незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича, Шварц, сходил сверху и, с верхней ступени увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: “Глупо распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами”.

Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность, и эта торжественность, всегда противоречащая характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович.

Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович по-

нял зачем: он, очевидно, хотел сговориться, где повинтить нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, с серьезно сложенными, крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца.

Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шепотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключаящим всякое противоречие; буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то сыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович все крестился и слегка кланялся по срединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца.

Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменялся, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное — значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери. Шварц ждал его в проходной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, то есть что ничто не может помешать нынче же вечером шелконуть, распечатывая ее, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; вообще нет ос-

нования предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шепотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, все-таки расширявшаяся от плеч книзу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала:

— Сейчас будет панихида; пройдите.

Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно, не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала:

— Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича... — и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия.

Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: “Поверьте!” И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.

— Пойдемте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами, — сказала вдова. — Дайте мне руку.

Петр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу: “Вот те

и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда отделаетесь”, — сказал его игривый взгляд.

Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещей и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилии за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавший под ним пуф. Но вдова не все отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже шелкнул. Когда все это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. Неловкое это положение перервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище то, которое назначила Прасковья Федоровна, будет стоить двести рублей. Она пе-

рестала плакать и, с видом жертвы взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Петр Иванович сделал молчаливый знак, выражавший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе.

— Курите, пожалуйста, — сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места. Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел.

— Я все сама делаю, — сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе; и, заметив, что пепел угрожал столу, не мешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу и проговорила: — Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня, напротив, если может что не утешить... а развлечь, то это заботы о нем же. — Она опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно:

— Однако у меня дело есть к вам.

Петр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тотчас же зашевелившимся под ним.

— В последние дни он ужасно страдал.

— Очень страдал? — спросил Петр Иванович.

— Ах, ужасно! Последние не минуты, а часы он не переставая кричал. Трое суток сряду он, не переводя голоса, кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это; за тремя дверьми слышно было. Ах! что я вынесла!

— И неужели он был в памяти? — спросил Петр Иванович.

— Да, — прошептала она, — до последней минуты. Он простился с нами за четверть часа до смерти и еще просил увести Володю.

Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала веселым мальчиком, школьником, потом взрослым партнером, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Он увидал опять этот лоб, нажимавший на губу нос, и ему стало страшно за себя.

“Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня”, — подумал он, и ему стало на мгновение страшно. Но тотчас же, он сам не знал как, ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичом, а не с ним и что с ним этого случиться не должно и не может; что, думая так, он поддается мрачному настроению, чего не следует делать, как это очевидно было по лицу Шварца. И, сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему.

После разных разговоров о подробностях действительно ужасных физических страданий, перенесенных Иваном Ильичом (подробности эти узнавал Петр Иванович только по тому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи Федоровны), вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу.

— Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело, — и она опять заплакала.

Петр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал:

— Поверьте.:- — и опять она разговорилаь и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Петра Ивановича совета о пенсии; но он видел, что она уже знает до мельчайших подробностей и то, чего он не знал: все то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти; но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть еще побольше денег. Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия побранив наше правительство за его скарედность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средство избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошел в переднюю.

В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад был, что купил в брикабраке, Петр Иванович встретил священника и еще несколько знакомых, приехавших на панихиду, и увидал знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в черном. Талия ее, очень тонкая, казалась еще тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чем-то виноват. За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу богатый молодой человек, судебный следователь, ее же-

них, как он слышал. Он уныло поклонился им и хотел пройти в комнату мертвеца, когда из-под лестницы показалась фигурка гимназистика-сына, ужасно похожего на Ивана Ильича. Это был маленький Иван Ильич, каким Петр Иванович помнил его в Правоведении. Глаза у него были и заплаканные и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в тринадцать-четырнадцать лет. Мальчик, увидав Петра Ивановича, стал сурово и стыдливо морщиться. Петр Иванович кивнул ему головой и вошел в комнату мертвеца. Началась панихида — свечи, стоны, ладан, слезы, всхлипыванья. Петр Иванович стоял нахмурившись, глядя на ноги перед собой. Он не взглянул ни разу на мертвеца и до конца не поддался расслабляющим влияниям и один из первых вышел. В передней никого не было. Герасим, буфетный мужик, выскочил из комнаты покойника, перешвырял своими сильными руками все шубы, чтобы найти шубу Петра Ивановича, и подал ее.

— Что, брат Герасим? — сказал Петр Иванович, чтобы сказать что-нибудь. — Жалко?

— Божья воля. Все там же будем, — сказал Герасим, оскаливая свои белые, сплошные мужицкие зубы, и, как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, посадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как будто придумывая, что бы ему еще сделать.

Петру Ивановичу особенно приятно былодохнуть чистым воздухом после запаха ладана, трупа и карболовой кислоты.

— Куда прикажете? — спросил кучер.

— Не поздно. Заеду еще к Федору Васильевичу.

И Петр Иванович поехал. И действительно, застал их при конце первого роббера, так что ему удобно было вступить пятым.

II

Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная.

Иван Ильич умер сорока пяти лет, членом Судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они все-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи, от шести до десяти, с которыми они и доживают до глубокой старости.

Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений, Илья Ефимович Головин.

У него было три сына. Иван Ильич был второй сын. Старший делал такую же карьеру, как и отец, только по другому министерству, и уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором получается эта инерция жалованья. Третий сын был неудачник. Он в разных местах везде напортил себе и теперь служил по железным дорогам: и его отец, и братья, и особенно их жены не только не любили встречаться с ним, но без крайней необходимости и не вспоминали о его существовании. Сестра была

за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть. Иван Ильич был *le phénix de la famille*¹, как говорили. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними — умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в Правоведении. Меньшой не кончил и был выгнан из пятого класса, Иван же Ильич хорошо кончил курс. В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело-добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов; он отдавался и чувственности и тщеславию, и — под конец, в высших классах — либеральности, но все в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство.

Были в Правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе в то время, как он совершал их; но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высоко стоящими людьми и не считались ими дурными,

1 Гордость семьи (франц.).

он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчился воспоминаниями о них.

Выйдя из Правоведения десятым классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у Шармера, повесил на брелоки медальку с надписью: "*respice finem*"¹, простился с принцем и воспитателем, пообедал с товарищами у Донона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец.

В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в Правоведении. Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился; изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими и с низшими и с точностью и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников.

В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг; но в общественных он был часто игрив и остроумен и всегда добродушен, приличен и *bon enfant*², как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком.

1 Предвидь конец (лат.).

2 Добрый малый (франц.).

Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведа; была и модистка; были и попойки с приезжими флигель-адъютантами и поездки в дальнюю улицу после ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жене начальника, но все это носило на себе такой высокий тон порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами: все это подходило только под рубрику французского изречения: *il faut que jeunesse se passe*¹. Все происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей.

Так прослужил Иван Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения; нужны были новые люди.

И Иван Ильич стал этим новым человеком.

Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии и ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папирсочницу, и он уехал на новое место.

Судебным следователем Иван Ильич был таким же *comme il faut*'ным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений.

Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлека-

¹ Молодость должна перебеситься (франц.).

тельности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями; и он любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими, зависящими от него, людьми, любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные, самодовольные люди — все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения ее; но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дело это

было новое. И он был один из первых людей, выработавших на практике приложение уставов 1864 года.

Перейдя в новый город на место судебного следователя, Иван Ильич сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судейских и богатых дворян, живших в городе, и принял тон легкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, нисколько неизменив элегантности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробривать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет.

Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно: фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее; жалованья было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро соображая и очень тонко, так что в общем он всегда был в выигрыше.

После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился с своей будущей женой. Прасковья Федоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновений от трудов следователя Иван Ильич установил игровые, легкие отношения с Прасковьей Федоровной.

Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал; судебным же следователем он уже танцевал как исключение. Он танцевал уже в том

смысле, что хоть и по новым учреждениям и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так, он изредка в конце вечера танцевал с Прасковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Федоровну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. “В самом деле, отчего же и не жениться?” — сказал он себе.

Девушка Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, недурна; было маленькое состояньице. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалованье, у ней, он надеялся, будет столько же. Хорошее родство; она — милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и напел в ней сочувствие своим взглядам на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным.

И Иван Ильич женился.

Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем, до беременности жены прошло очень хорошо, так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда

приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут, с первых месяцев беременности жены, явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться.

Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, *de gaieté de cœur*¹, как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни: она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживанья за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены.

Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде, — он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить по-прежнему легко и приятно: приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял ее требований, очевидно, твердо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, то есть не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь — по крайней мере, с его женою — не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что импонировало Пра-

¹ Из каприза (франц.).

сковье Федоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир.

С рождением ребенка, попытками кормления и различными неудачами при этом, с болезнями действительными и воображаемыми ребенка и матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять, потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала еще более настоятельна.

По мере того как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич все более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу. Он стал более любить службу и стал более честолюбив, чем он был прежде.

Очень скоро, не далее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого, для того чтобы исполнять свой долг, то есть вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенное отношение, как и к службе.

И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгороженный им мир службы и в нем находил приятность.

Ивана Ильича ценили как хорошего служаку и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого в острог, публичность речей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич, — все это еще более привлекало его к службе.

Пошли дети. Жена становилась все ворчливее и сердитее, но выработанные Иваном Ильичом отношения к домашней жизни делали его почти непроницаемым для ее ворчливости.

После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже; кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича.

Прасковья Федоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание детей, наводило на вопросы, по которым били воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюбленности, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаенной вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть, но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью своей деятельности в семье. Цель его состояла в том,

чтобы все больше и больше освобождать себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия; и он достигал этого тем, что он все меньше и меньше проводил время с семьею, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах с подчиненными, успех свой перед высшими и подчиненными и, главное, мастерство своего ведения дел, которое он чувствовал, — все это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти: приятно и прилично.

Так прожил он еще семь лет. Старшей дочери было уже шестнадцать лет, еще один ребенок умер, и оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в Правоведение, а Прасковья Федоровна назло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился недурно.

III

Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение семнадцати лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда не ожи-

данно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством; к нему стали холодны и в следующем назначении его опять обошли.

Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжелый в жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалованья не хватает на жизнь; с другой — что все его забыли и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему. Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с 3500 жалованья самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилением жены, и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств, — он один знал, что его положение далеко не нормально.

Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Федоровны.

В деревне, без службы Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую, и решил, что так жить нельзя и необходимо принять какие-нибудь решительные меры.

Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург

хлопотать и, чтобы наказать их, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство.

На другой день, несмотря на все отговоры жены и шурина, он поехал в Петербург.

Он ехал за одним: выпросить место в пять тысяч жалованья. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место, место с пятью тысячами, по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможни, но непременно пять тысяч и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его.

И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в первый класс Ф. С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича.

Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу.

В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места в своем прежнем министерстве юстиции.

Через неделю он телеграфировал жене:

“Захар место Миллера при первом докладе получаю назначение”.

Иван Ильич благодаря этой перемене лиц неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей: пять тысяч жалованья и подъемных три тысячи пятьсот. Вся досада на прежних врагов своих и на все министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив.

Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Прасковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подличали теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге.

Прасковья Федоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому, и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей, характер веселой приятности и приличия.

Иван Ильич приехал на короткое время. 10 сентября ему надо было принимать должность и, кроме того, нужно было время устроиться на новом месте, перевезти все из провинции, прикупить, приказать еще многое; одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме, и почти что точно так же, как это решено было и в душе Прасковьи Федоровны.

И теперь, когда все устроилось так удачно и когда они сходились с женою в цели и, кроме того, мало

жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увезти семью тотчас же, но настояния сестры и зятя, вдруг сделавшимися особенно любезными и родственными к Ивану Ильичу и его семье, сделали то, что Иван Ильич уехал один.

Иван Ильич уехал, и веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, все время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие, в старом стиле приемные комнаты, удобный грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына — все как нарочно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за устройство, выбирал обои, подкупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный комильфотный стиль, обивку, и все росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожидание. Он понял тот комильфотный, изящный и не пошлый характер, который примет все, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какою она будет. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюда и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизаньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял все хуже, чем есть, чтобы поразить

их. Все это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности: он задумывался о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель, и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал, но, как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел. Иван Ильич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. Он писал: чувствую, что с меня соскочило лет пятнадцать. Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно, — не только он говорил, но ему говорили все, кто видели.

В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее, — все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему все это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия, — он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удоволь-

ствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика.

— Я недаром гимнаст. Другой бы убился, а я чуть ударился вот тут; когда тронешь — больно, но уже проходит; просто синяк.

И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только одной комнаты, и с новыми средствами, к которым, как всегда, только немножко — каких-нибудь пятьсот рублей — недоставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не все было устроено и надо было еще устраивать: то купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хотя и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны и так много было дела, что все кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то недоставать, но тут уже сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась.

Иван Ильич, проведши утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. (Всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный снурок гардины раздражали его: он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение.) Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично. Вставал он в девять, пил кофе, читал газету, потом надевал вицмундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хомут,

в котором он работал; он сразу попадал в него. Просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания — публичные и распорядительные. Во всем этом надо было уметь исключать все то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел: надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь. Иван Ильич как человек недолжностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку; но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, — в пределах этих отношений Иван Ильич делает все, все решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое. Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая ее с своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой и талантом выработал его до такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебное отношения. Он позволял это себе потому, что чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно служебное и откинуть человеческое. Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутки он курил, пил чай, беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый,

но с чувством виртуоза, отчетливо отделавшего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой. Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-нибудь; сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, чему учат в гимназии. Все было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечером садился за дела, то есть читал бумаги, справлялся с законами, — сличал показания и подводил под законы. Ему это было ни скучно, ни весело. Скучно было, когда можно было играть в винт; но если не было винта — то это было все-таки лучше, чем сидеть одному или с женой. Удовольствия же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин, и такое времяпровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же как гостиня его была похожа на все гостиные.

Один раз у них был даже вечер, танцевали. И Ивану Ильичу было весело, и все было хорошо, только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет: у Прасковьи Федоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять все у дорогого кондитера, и взял много тортов, и ссора была за то, что торты остались, а счет кондитера был в сорок пять рублей. Ссора была большая и неприятная, так что Прасковья Федоровна сказала ему: “Дурак, кисляй”. А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самый вечер был веселый. Было лучшее общество, и Иван Ильич танцевал с княгиней Труфоновой, сестрою той, которая известна учреждением общества

“Унеси ты мое горе”. Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая, как свеча, горела перед всеми другими, — это сесть с хорошими игроками и некрикунами-партнерами в винт, и непременно вчетвером (впятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю), и вести умную, серьезную игру (когда карты идут), потом поужинать и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше (большой — неприятно), Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа.

Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший, ездили и важные люди, и молодые люди.

Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья-замарашки перестали разлетаться, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизанькой, и Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева и единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой, так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Прасковьей Федоровной: не свести ли их кататься на тройках или устроить спектакль. Так они жили. И все шло так, не изменяясь, и все было очень хорошо.

IV

Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота.

Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку, и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Опять остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва.

И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно ее доброту, чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вы-

зывается в нем принятием пищи, и смирила себя; уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастье ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение.

После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу.

Он поехал. Все было, как он ожидал; все было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукивание, и выслушивание, и вопросы, требующие определенные вперед и, очевидно, ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы все устроим, — у нас известно и несомненно, как все устроить, все одним манером для всякого человека, какого хотите. Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид.

Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т.д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешиванье вероятностей — блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествуя, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора.

Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал:

— Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы, — сказал он. — Вообще, это опасная болезнь или нет?..

Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из залы заседания.

— Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, — сказал доктор. — Дальнейшее покажет исследование. — И доктор поклонился.

Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он не переставая перебирал все, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос: плохо — очень ли плохо мне, или еще ничего? И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо. Все грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны. Боль же эта, глухая, ноющая боль, ни на секунду не перестающая, казалось, в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьезное значение. Иван Ильич с новым тяжелым чувством теперь прислушивался к ней.

Он приехал домой и стал рассказывать жене. Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке: она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала, и мать не дослушала.

— Ну, я очень рада, — сказала жена, — так теперь ты, смотри ж, принимай аккуратно лекарство. Дай рецепт, я пошлю Герасима в аптеку. — И она пошла одеваться.

Он не переводил дыхания, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла.

— Ну что ж, — сказал он. — Может быть, и точно ничего еще...

Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было добраться, а выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-нибудь.

Но Иван Ильич все-таки точно стал исполнять предписания и в исполнении этом нашел утешение на первое время.

Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и принятия лекарств и прислушивание к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нем говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть свое волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни.

Боль не уменьшалась; но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни; бывало, он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, боль-

шого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе: вот только что я стал поправляться и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастье или неприятность... И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его; но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что это озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности; но он делал совершенно обратное рассуждение: он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим, — разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами.

В этот месяц он побывал у другой знаменитости: другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнение и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля — доктор очень хороший — тот еще совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнение. Гомеопат — еще иначе определил болезнь

и дал лекарство, и Иван Ильич, тайно от всех, принимал его с неделю. Но после недели, не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечением и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказывала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. Этот случай испугал его. “Неужели я так умственно ослабел? — сказал он себе. — Пустяки! Все вздор, не надо поддаваться мнительности, а, избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать и до лета строго буду исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям!..” Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку все томила, все как будто усиливалась, становилась постоянной, вкус во рту становился все страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы все слабели. Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние — главное жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, — он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха, но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его

независимо от того, что он говорил и делал. Отношение это было такое:

— Вы знаете, — говорила она знакомым, — Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет; завтра вдруг, если я посмотрю, забудет принять, скушает осетрины (а ему не велено), да и засидится за винтом до часа.

— Ну, когда же? — скажет Иван Ильич с досадою. — Один раз у Петра Ивановича.

— А вчера с Шебеком.

— Все равно я не мог спать от боли...

— Да там уж отчего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас.

Внешнее, высказываемое другим и ему самому, отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич и вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было.

В суде Иван Ильич замечал или думал, что замечает, то же странное к себе отношение: то ему казалось, что к нему приглядываются, как к человеку, имеющему скоро опростать место; то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и комильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его.

Приходили друзья составить партию, садились. Сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их семь. Партнер сказал: без козырей, — и поддержал две бубны. Чего ж еще? Весело, бодро должно. бй быть — шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему.

Он глядит на Михаила Михайловича, партнера, как он бьет по столу сангвинической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. “Что ж он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку”, — думает Иван Ильич, забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без трех, и что ужаснее всего — это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему все равно. И ужасно думать, отчего ему все равно.

Все видят, что ему тяжело, и говорят ему: “Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните”. Отдохнуть? Нет, он нисколько не устал, они доигрывают роббер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность, и не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других и что отравы эта не ослабевает, а все больше и больше проникает все существо его.

И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А наутро надо

было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю гибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его.

V

Так шло месяц и два. Перед Новым годом приехал в их город его шурин и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Прасковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтоб ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все.

— Что, переменился?

— Да... есть перемена.

И сколько Иван Ильич ни наводил после шурина на разговор о его внешнем виде, шурин отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна, шурин пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало — прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на оттоманку и стал чернее ночи.

“Не надо, не надо”, — сказал он себе, вскочил, подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог.

Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать.

— Нет, ты преувеличиваешь, — говорила Прасковья Федоровна.

— Как преувеличиваю? Тебе не видно — он мертвый человек, посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?

— Никто не знает. Николаев (это был другой доктор) сказал что-то, но я не знаю. Лещетицкий (это был знаменитый доктор) сказал напротив...

Иван Ильич отошел, пошел к себе, лег и стал думать: “Почка, блуждающая почка”. Он вспомнил все то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить ее; так мало нужно, казалось ему. “Нет, поеду еще к Петру Ивановичу”. (Это был тот приятель, у которого был приятель доктор.) Он позвонил, велел заложить лошадей и собрался ехать.

— Куда ты, *Jean*? — спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением.

Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее.

— Мне надо к Петру Ивановичу.

Он поехал к приятелю, у которого был приятель доктор. И с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним.

Рассматривая анатомически и физиологически подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нем, он все понял.

Была одна штучка, маленькая штучка в слепой кишке. Все это могло поправиться. Усилить энергию

одного органа, ослабить деятельность другого, произойдет всасывание, и все поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное важное задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им, он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели; был судебный следователь, желанный жених дочери. Иван Ильич провел вечер, по замечанию Прасковьи Федоровны, веселее других, но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В одиннадцать часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. В его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстанавливалась правильная деятельность. “Да, это все так, — сказал он себе. — Только надо помогать природе”. Он вспомнил о лекарстве, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. “Только равномерно принимать и избегать вредных влияний; я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше”. Он стал щупать бок, — на ощупь не больно. “Да, я не чувствую, право, уже гораздо лучше”. Он потушил свечу и лег на бок.. Слепая кишка исправляется, всасывает-

ся. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове. “Боже мой, боже мой! — проговорил он. — Опять, опять, и никогда не перестанет”. И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. “Слепая кишка! Почка, — сказал он себе. — Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней — сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?” Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца.

“Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу”. Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад, на подушку. “Зачем? Все равно, — говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту. — Смерть. Да, смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они играют. (Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ригурнели.) Им все равно, а они также умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после; и им то же будет. А они радуются. Скоты!” Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может, же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся.

“Что-нибудь не так; надо успокоиться, надо обдумать все сначала”. И вот он начал обдумывать. “Да,

начало болезни. Стукнулся боком, и все такой же я был, и нынче и завтра; немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора; а я все шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше. Ближе, ближе. И вот я исчах, у меня света в глазах нет. И смерть, а я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку, а это смерть. Неужели смерть?” Опять на него нашел ужас, он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно, он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти.

Гости уезжали в это время. Прасковья Федоровна провожала их. Она услышала падение и вошла.

— Что ты?

— Ничего. Уронил нечаянно.

Она вышла, принесла свечу. Он лежал, тяжело и быстро-быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на нее.

— Что ты, *Jean*?

— Ниче...го. У... ро... нил. — “Что же говорить. Она не поймет”, — думал он.

Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла: ей надо было проводить гостью.

Когда она вернулась, он так же лежал навзничь, глядя вверх.

— Что тебе, или хуже?

— Да.

Она покачала головой, посидела.

— Знаешь, *Jean*, я думаю, не пригласить ли Леще-тицкого на дом.

Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег. Он ядовито улыбнулся и сказал: “Нет”. Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб.

Он ненавидел ее всеми силами души в то время, как она целовала его, и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее.

— Прощай. Бог даст, заснешь.

— Да.

VI

Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии.

В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, по просто не понимал, никак не мог понять этого.

Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок

платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.

Так чувствовалось ему.

“Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья — мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! — говорил он себе. — Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?”

И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими, правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта, не только мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним.

И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но — странное дело — все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе: “Займусь службой, ведь я жил же ею”. И он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения; вступал в разговоры с то-

варищами и садился, по старой привычке рассеянно, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь, и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала *свое* сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и *она* приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: “Неужели только *она* правда?” И товарищи и подчиненные с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседание и возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть; что судейским делом он не может избавиться от *нее*. И что было хуже всего — это то, что *она* отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился.

И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто *она* проникала через все, и ничто не могло заслонить ее.

Бывало, в это последнее время он войдет в гостиную, убранную им, — в ту гостиную, где он упал, для которой он, — как ему ядовито смешно было думать, — для устройства которой он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба, — он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, и досадовал на неряшливость дочери и ее друзей, — то разорвано, то карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок, загибал опять украшение.

Потом ему приходила мысль весь этот *établissement*¹ с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея: или дочь, или жена приходили на помощь; они не соглашались, противоречили, он спорил, сердился; но все было хорошо, потому что он не помнил о *ней*, *ее* не видно было.

Но вот жена сказала, когда он сам передвигал: “Позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред”, и вдруг *она* мелькнула через ширмы, он увидел *ее*. *Она* мелькнула, он еще надеется, что *она* скроется, но невольно он прислушался к боку, — там сидит все то же, все также ноет, и он уже не может забыть, и *она* явственно глядит на него из-за цветов. К чему все?

“И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо! Это не может быть! Не может быть, но есть”.

¹ Устройство, сооружение (*франц.*).

Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с *нею*. С глазу на глаз с *нею*, а делать с *нею* нечего. Только смотреть на *нее* и холодеть.

VII

Как это сделалось на третьем месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам — знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий.

Он спал меньше и меньше; ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его как что-то новое, но потом она стала так же или еще более мучительна, чем откровенная боль.

Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей; но кушанья эти все были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее.

Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мученье. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек.

Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим.

Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого, всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича.

Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки.

Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, легкой сильной поступью Герасим, в посконном чистом фартуке и чистой ситцевой рубашке, с засученными на голых, сильных, молодых руках рукавами, и, не глядя на Ивана Ильича, — очевидно, сдерживая, чтобы не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице, — подошел к судну.

— Герасим, — слабо сказал Иван Ильич.

Герасим вздрогнул, очевидно, испугавшись, не промахнулся ли он в чем, и быстрым движением повернул к больному свое свежее, доброе, простое, молодое лицо, только что начинавшее обростать бородой.

— Что изволите?

— Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу.

— Помилуйте-с. — И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы. — Отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное.

И он ловкими, сильными руками сделал свое привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся.

Иван Ильич все так же сидел в кресле.

— Герасим, — сказал он, когда тот поставил чистое, обмытое судно, — пожалуйста, помоги мне, поди сюда. — Герасим подошел. — Подними меня. Мне тяжело одному, а Дмитрия я услал.

Герасим подошел; сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал, другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим, без усилия и как будто не нажимая, свел его, почти неся, к дивану и посадил.

— Спасибо. Как ты ловко, хорошо... все делаешь. Герасим опять улыбнулся и хотел уйти. Но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпускать.

— Вот что: подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше. Герасим принес стул, поставил не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул; Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги.

— Мне лучше, когда ноги у меня выше, — сказал Иван Ильич. — Подложи мне вон ту подушку.

Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже.

— Герасим, — сказал он ему, — ты теперь занят?

— Никак нет-с, — сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами.

— Тебе что делать надо еще?

— Да мне что ж делать? Все переделал, только дров наколоть на завтра.

— Так поддержи мне так ноги повыше, можешь?

— Отчего же, можно. — Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли.

— А дрова-то как же?

— Не извольте беспокоиться. Мы успеем.

Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним. И — странное дело — ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги.

С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича; только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича.

Главное мучение Ивана Ильича была ложь, — та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И — странно — он много раз, когда они над ним проделывали

свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: перестаньте врать, и вы знаете и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать. Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания, он видел, всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия (вроде того, как обходятся с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах), тем самым “приличием”, которому он служил всю свою жизнь; он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролет, держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: “Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, выплусь еще”; или когда он вдруг, переходя на “ты”, прибавлял: “Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить?” Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

— Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? — сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд.

Кроме этой лжи, или вследствие ее, мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели: Ива-

ну Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом, — хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтоб его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода и что потому это невозможно; но ему все-таки хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому, и потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтоб его ласкали и плакали над ним, и вот приходит товарищ, член Шебек, и, вместо того чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича.

VIII

Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел и пришел Петр-лакей, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было — все было все равно, все было одно и то же: ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль; сознание безнадежно все уходящей, но все не ушедшей еще жизни; надвигающаяся все та же страшная ненавистная смерть, которая одна была действительность, и все та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня?

— Не прикажете ли чаю?

“Ему нужен порядок, чтоб по утрам господи пили чай”, — подумал он и сказал только:

— Нет.

— Не угодно ли перейти на диван?

“Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю, я — нечистота, беспорядок”, — подумал он и сказал только:

— Нет, оставь меня.

Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо.

— Что прикажете?

— Часы.

Петр достал часы, лежавшие под рукой, и подал.

— Половина девятого. Там не встали?

— Никак нет-с. Василий Иванович (это был сын) ушли в гимназию, а Прасковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?

— Нет, не надо. — “Не попробовать ли чаю?” — подумал он. — Да, чаю... принеси.

Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. “Чем бы задержать его? Да, лекарство”. — Петр, подай мне лекарство. — “Отчего же, может быть, еще поможет и лекарство”. Он взял ложку, выпил. “Нет, не поможет. Все это вздор, обман, — решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус. — Нет, уж не могу верить. Но боль-то, боль-то зачем, хоть на минуту затихла бы”. И он застонал. Петр вернулся. — Нет, иди. Принеси чаю.

Петр ушел. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли, как она ни была ужасна,

сколько от тоски. “Все то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет. Все лучше смерти!”

Когда Петр вошел с чаем на подносе, Иван Ильич долго растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Петр смутился от этого взгляда. И когда Петр смутился, Иван Ильич очнулся.

— Да, — сказал он, — чай... хорошо, поставь. Только помоги мне умыться и рубашку чистую.

И Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причесываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало; особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу.

Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело, и не смотрел на себя. Но вот кончилось все. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освеженным, но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лег, вытянув ноги. Он лег и отпустил Петра.

Все то же. То капля надежды блеснет, то взбушует море отчаяния, и все боль, все боль, все тоска и все одно и то же. Одному ужасно тоскливо, хочется позвать кого-нибудь, но он вперед знает, что при других еще хуже. “Хоть бы опять морфин — забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтоб он придумал что-нибудь еще. Это невозможно, невозможно так”.

Час, два проходит так. Но вот звонок в передней. Авось доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый, с тем выражением — что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам все устро-

им. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять, как человек, с утра надевший фрак и едущий с визитами.

Доктор бодро, утешающе потирает руки.

— Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреюсь, — говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреется, а когда обогреется, то уж все исправит.

— Ну что, как?

Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать: “Как делишки?”, но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: “Как вы провели ночь?”

Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса: “Неужели никогда не станет тебе стыдно врать?” Но доктор не хочет понимать вопрос.

И Иван Ильич говорит:

— Все так же ужасно. Боль не проходит, не сдается. Хоть бы что-нибудь!

— Да, вот вы, больные, всегда так. Ну-с, теперь, кажется, я согрелся, даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну-с, здравствуйте. — И доктор пожимает руку.

И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьезным видом исследовать больного, пульс, температуру, и начинаются постукивания, прослушивания.

Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман, но когда доктор, став на коленки, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич под-

дается этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они все врут и зачем врут.

Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора.

Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор.

Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее. И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней.

Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему — то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, — и не могла уже снять этого отношения к нему.

— Да ведь вот он не слушается! Не принимает вовремя. А главное — ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему, — ноги кверху.

Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги.

Доктор улыбнулся презрительно-ласково: “Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости; но можно простить”.

Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Прасковья Федоровна объявила Ива-

ну Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем (так звали обыкновенного доктора) осмотрят и обсудят.

— Ты уж не протѣвсья, пожалуйста. Это я для себя делаю, — сказала она иронически, давая чувствовать, что она все делает для него и только этим не дает ему права отказать ей. Он молчал и морщился. Он чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь.

Она все над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно.

Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушиванья и значительные разговоры при нем и в другой комнате о почке, о слепой кишке и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке, которые что-то делали не так, как следовало, и на которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович и знаменитость и заставят их исправиться.

Знаменитый доктор простился с серьезным, но не с безнадежным видом. И на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами обратил Иван Ильич, есть ли возможность выздоровления, отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Федоровна даже заплакала, вы-

ходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору.

Подъем духа, произведенный обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, склянки и то же свое болящее, страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать; ему сделали вспрыскивание, и он забылся.

Когда он очнулся, стало смеркаться; ему принесли обедать. Он поел с усилием бульона; и опять то же, и опять наступающая ночь.

После обеда, в семь часов, в комнату его вошла Прасковья Федоровна, одетая как на вечер, с толстыми, подтянутыми грудями и с следами пудры на лице. Она еще утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сарра Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтоб они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтоб они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение.

Прасковья Федоровна вошла довольная собою, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтоб спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было: что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элен и дочь и Петрищев (судебный следователь, жених дочери), и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним. Только бы он делал без нее по предписанию доктора.

— Да, и Федор Петрович (жених) хотел войти. Можно? И Лиза.

— Пускай войдут.

Вошла дочь разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно, влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью.

Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой *à la Carouf*, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.

За ним вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич.

Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный и соболезнающий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел.

Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно.

Федор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сарру Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал:

— Нет; а вы уж видели?

— Да, в "*Adrienne Lecouvreur*".

Прасковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры, — тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же.

В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами перед собою, очевидно, негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчание. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорила.

— Однако, *если ехать*, то пора, — сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чем-то, им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем.

Все встали, простились и уехали.

Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче: лжи не было, — она ушла с ними, но боль осталась. Все та же боль, все тот же страх делали то, что ничто не тяжеле, ничто не легче. Все хуже.

Опять пошли минута за минутой, час за часом, все то же, и все нет конца, и все страшнее неизбежный конец.

— Да, пошлите Герасима, — ответил он на вопрос Петра.

IX

Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услышал ее: открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела уснуть Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал:

— Нет. Иди.

— Ты очень страдаешь?

— Все равно.

— Прими опиума.

Он согласился и выпил. Она ушла.

Часов до трех он был в мучительном забытии. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и все дальше просовывают, и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается с страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Все тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках; свеча та же с абажуром, и та же непрекращающаяся боль.

— Уйди, Герасим, — прошептал он.

— Ничего, посижу-с.

— Нет, уйди.

Он снял ноги, лег боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтоб Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости бога, об отсутствии бога.

“Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?..”

Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: “Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал тебе, за что?”

Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем.

— Чего тебе нужно? — было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. — Что тебе нужно? Чего тебе нужно? — повторил он себе. — Чего? — Не страдать. Жить, — ответил он.

И опять он весь предался вниманию такому напряженному, что даже боль не развлекала его.

— Жить? Как жить? — спросил голос души.

— Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.

— Как ты жил прежде, хорошо и приятно? — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но — странное дело — все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все — кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом.

Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое.

И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с Правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее: там было веселье, там была друж-

ба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты: это были воспоминания о любви к женщине. Потом все это смешалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего, и что дальше, то меньше.

Женитьба... так нечаянно, и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство! И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать — и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... И вот готово, умирай!

Так что ж это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать, и умирать страдая? Что-нибудь не так.

“Может быть, я жил не так, как должно?” — приходило ему вдруг в голову. “Но как же не так, когда я делал все как следует?” — говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное.

“Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: “Суд идет!..” Суд идет, идет суд, — повторил он себе. — Вот он, суд! Да я же не виноват! — вскрикнул он с злобой. — За что?” И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас?

Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит оттого, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль.

Х

Прошло еще две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти все время лицом к стене, он одиноко страдал все те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал все ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни зачем. Дальше и кроме этого ничего не было.

С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположные настроения, сменявшие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться.

Эти два настроения с самого начала болезни сменяли друг друга; но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились сообра-

жения о почке и тем реальнее сознание наступающей смерти.

Стоило ему вспомнить о том, чем он был три месяца тому назад, и то, что он теперь; вспомнить, как равномерно он шел под гору, — чтобы разрушилась всякая возможность надежды.

В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, — одиночества, полное которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле, — в последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. “Не надо об этом... слишком больно”, — говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее. Пуговица на спинке дивана и морщины сафьяна. “Сафьян дорог, непрочен; ссора была из-за него. Но сафьян другой был, и другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, а мама принесла пирожки”. И опять останавливалось на детстве, и опять Ивану Ильичу было больно, и он старался отогнать и думать о другом.

И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминания, у него в душе шел другой ход воспоминаний — о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше назад, то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни. И то и другое сливалось вместе. “Как мучения все идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла все хуже и хуже”, — думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее и все быстрее и быстрее. “Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти”, — подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. “Я лечу...” Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться; но уже он знал, что противиться нельзя, и опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним, глазами глядел на спинку дивана и ждал, — ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. “Противиться нельзя, — говорил он себе. — Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать”, — говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. “Этого-то допустить уж невозможно, — говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею. — Нет объяснения! Мучение, смерть... Зачем?”

XI

Так прошло две недели. В эти недели случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие: Петрищев сделал формальное предложение. Это случилось вечером. На другой день Прасковья Федоровна вошла к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Федора Петровича, но в эту самую ночь с Иваном Ильичом свершилась новая перемена к худшему. Прасковья Федоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом.

Она стала говорить о лекарствах. Он перевел свой взгляд на нее. Она не договорила того, что начала: такая злоба, именно к ней, выражалась в этом взгляде.

— Ради Христа, дай мне умереть спокойно, — сказал он.

Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он так же посмотрел на дочь, как и на жену, и на ее вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли.

— В чем же мы виноваты? — сказала Лиза матери. — Точно мы это сделали! Мне жалко папа, но за что же нас мучать?

В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему: “да, нет”, не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал:

— Ведь вы знаете, что ничего не поможете, так оставьте.

— Облегчить страдания можем, — сказал доктор.

— И того не можете; оставьте.

Доктор вышел в гостиную и сообщил Прасковье Федоровне, что очень плохо и что одно средство — опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны.

Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение.

Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была “не то”.

Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, — что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было.

“А если это так, — сказал он себе, — и я ухожу из жизни с сознанием того, что погубил все, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?” Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать

всю свою жизнь. Когда он увидел утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, — каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть. Это сознание увеличило, удесятирило его физические страдания. Он стонал и метался и обдергивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их.

Ему дали большую дозу опиума, он забылся; но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место.

Жена пришла к нему и сказала:

— *Jean*, голубчик, сделай это для меня (для меня?). Это не может повредить, но часто помогает. Что же, это ничего. И здоровые часто...

Он открыл широко глаза.

— Что? Причаститься? Зачем? Не надо! А впрочем...

Она заплакала.

— Да, мой друг? Я позову нашего, он такой милый.

— Прекрасно, очень хорошо, — проговорил он.

Когда пришел священник и исповедовал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления ее. Он причастился со слезами на глазах.

Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко, и опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую предлагали

ему. “Жить, жить хочу”, — говорил он себе. Жена пришла поздравить; она сказала обычные слова и прибавила:

— Не правда ли, тебе лучше?

Он, не глядя на нее, проговорил: да.

Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса — все сказало ему одно: “Не то. Все то, чем ты жил и живешь, — есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть”. И как только он подумал это, поднялась его ненависть и вместе с ненавистью физические мучительные страдания и с страданиями сознание неизбежной, близкой гибели. Что-то сделалось новое: стало винтить, и стрелять, и сдавливать дыхание.

Выражение лица его, когда он проговорил “да”, было ужасно. Проговорив это “да”, глядя ей прямо в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал:

— Уйдите, уйдите, оставьте меня!

XII

С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остается сомнением.

— У! Уу! У! — кричал он на разные интонации. Он начал кричать: “Не хочу!” — и так продолжал кричать на букву “у”.

Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучало его.

Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.

— Да, все было не то, — сказал он себе, — но это ничего. Можно, можно сделать “то”. Что ж “то”? — спросил он себя и вдруг затих.

Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умиравший все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.

В это самое время Иван Ильич провалился, увидел свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спро-

сил себя: что же “то”, и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.

“Да, я мучаю их, — подумал он. — Им жалко, но им лучше будет, когда я умру”. Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. “Впрочем, зачем же говорить, надо сделать”, — подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:

— Уведи... жалко... и тебя... — Он хотел сказать еще “прости”, но сказал “пропусти”, и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. “Как хорошо и как просто, — подумал он. — А боль? — спросил он себя. — Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?”

Он стал прислушиваться.

“Да, вот она. Ну что ж, пускай боль”.

“А смерть? Где она?”

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страх никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

— Так вот что! — вдруг вслух проговорил он. — Какая радость!

Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.

— Кончено! — сказал кто-то над ним.

Он услышал эти слова и повторил их в своей душе. “Кончена смерть, — сказал он себе. — Ее нет больше”.

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вдоха, потянулся и умер.

В. М. Гаршин

Трус

Война решительно не дает мне покоя. Я ясно вижу, что она затягивается, и когда кончится — предсказать очень трудно. Наш солдат остался тем же необыкновенным солдатом, каким был всегда, но противник оказался вовсе не таким слабым, как думали, и вот уже четыре месяца, как война объявлена, а на нашей стороне еще нет решительного успеха. А между тем каждый лиш- ний день уносит сотни людей. Нервы, что ли, у меня так устроены, только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действие гораздо более сильное, чем на окружающих. Другой спокойно читает: “Потери наши незначитель- ны, ранены такие-то офицеры, нижних чинов убито 50, ранено 100”, и еще радуется, что мало, а у меня при чтении такого известия тотчас появляется перед гла- зами целая кровавая картина. Пятьдесят мертвых, сто изувеченных — это незначительная вещь! Отчего же мы так возмущаемся, когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами являются несколько человек? Отчего вид пронизанных пулями трупов, лежащих на поле битвы, не поражает нас та- ким ужасом, как вид внутренности дома, разграблен- ного убийцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нескольким десяткам чело- век, заставила кричать о себе всю Россию, а на аван- постные дела с “незначительными” потерями тоже в несколько десятков человек никто не обращает вни- мания?

Несколько дней тому назад Львов, знакомый мне студент-медик, с которым я часто спорю о войне, ска- зал мне:

— Ну, посмотрим, миролюбец, как-то вы будете проводить ваши гуманные убеждения, когда вас заберут в солдаты и вам самим придется стрелять в людей.

— Меня, Василий Петрович, не заберут: я зачислен в ополчение.

— Да если война затянется, тронут и ополчение. Не храбритесь, придет и ваш черед.

У меня сжалось сердце. Как эта мысль не пришла мне в голову раньше? В самом деле, тронут и ополчение — тут нет ничего невозможного. “Если война затянется”... да она наверно затянется. Если не протянется долго эта война, все равно, начнется другая. Отчего ж и не воевать? Отчего не совершать великих дел? Мне кажется, что нынешняя война — только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры. И моя очередь придет очень скоро.

Куда ж денется твое “я”? Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, итти умирать и убивать. Да нет, это невозможно! Я, смирный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги, да аудиторию, да семью и еще несколько близких людей, думавший через год-два начать иную работу, труд любви и правды; я, наконец, привыкший смотреть на миробъективно, привыкший ставить его перед собою, думавший, что всюду я понимаю в нем зло и тем самым избегаю этого зла, — я вижу все мое здание спокойствия разрушенным, а самого себя напяливающим на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна которого я сейчас только рассматривал. И никакое развитие, ника-

кое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы — свободы располагать своим телом.

Львов посмеивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущения против войны.

— Относитесь, батюшка, к вещам попроще, легче жить будет, — говорит он. — Вы думаете, что мне приятна эта резня? Кроме того, что она приносит всем бедствие, она и меня лично обижает, она не дает мне доучиться. Устроят ускоренный выпуск, ушлют резать руки и ноги. А все-таки я не занимаюсь бесплодными размышлениями об ужасах войны, потому что, сколько я ни думай, я ничего не сделаю для ее уничтожения. Право, лучше не думать, а заниматься своим делом. А если пошлют раненых лечить, поеду и лечить. Что ж делать, в такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, что Маша едет сестрой милосердия?

— Неужели?

— Третьего дня решила, а сегодня ушла практиковаться в перевязках. Я ее не отговаривал; спросил только, как она думает устроиться со своим ученьем. “После, говорит, доучусь, если жива буду”. Ничего, пусть едет сестренка, доброму научится.

— А что ж Кузьма Фомич?

— Кузьма молчит, только мрачность на себя напустил зверскую и заниматься совсем перестал. Я за него рад, что сестра уезжает, право, а то просто извелся человек; мучится, тенью за ней ходит, ничего не делает. Ну, уж эта любовь! — Василий Петрович покрутил головой. — Вот и теперь побежал привести ее домой, будто она не ходила по улицам всегда одна!

— Мне кажется, Василий Петрович, что нехорошо, что он живет с вами.

— Конечно, нехорошо, да кто же мог предвидеть это? Нам с сестрой эта квартира велика: одна комната. Остается лишняя — отчего ж не пустить в нее хорошего человека? А хороший человек взял да и врезался. Да мне, по правде сказать, и на нее досадно: ну чем Кузьма хуже ее! Добрый, неглупый, славный. А она точно его не замечает. Ну, вы, однако, убирайтесь из моей комнаты; мне некогда. Если хотите видеть сестру с Кузьмой, подождите в столовой, они скоро придут.

— Нет, Василий Петрович, мне тоже некогда, прощайте!

Только что я вышел на улицу, как увидел Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча: Марья Петровна с принужденно-сосредоточенным выражением лица впереди, а Кузьма немного сбоку и сзади, точно не смея идти с нею рядом и иногда бросая искоса взгляд на ее лицо. Они прошли мимо, не заметив меня.

Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок... Двенадцать тысяч... Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составитя дорога в восемь верст... Что же это такое?

Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут

или его у него взяли... я не помню. В этом страшном деле я помню и вижу только одно — гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо; я не берусь судить, да и не могу; я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массою пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее... Он не понимает, чему его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом.

Трус я или нет?

Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты, и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос: не трус ли я в самом деле? Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни в виду великого дела! И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела?"

Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, — правда, немногие, — в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугает меня...

Все новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться: в книге вместо букв — валящиеся ряды людей; перо кажется оружием, наносящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет итти дальше, право, дело дойдет до настоящих галлюцинаций. Впрочем теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня от одной и той же гнетущей мысли.

Вчера вечером я пришел к Львовым и застал их за чаем. Брат и сестра сидели у стола, а Кузьма быстро ходил из угла в угол, держась рукой за распухшее и обвязанное платком лицо.

— Что с тобой? — спросил я его.

Он не ответил, а только махнул рукой и продолжал ходить.

— У него разболелись зубы, сделался флюс и огромный нарыв, — сказала Марья Петровна. — Я просила, его во-время сходить к доктору, да он не послушался, а теперь вот до чего дошло.

— Доктор сейчас приедет; я заходил к нему, — сказал Василий Петрович.

— Очень нужно было, — процедил сквозь зубы Кузьма.

— Да как же не нужно, когда у тебя может сделаться подкожное излияние? И еще ходишь, несмотря на мои просьбы лечь. Ты знаешь, чем это иногда кончается?

— Чем бы ни кончилось, все равно, — пробормотал Кузьма.

— Вовсе не все равно, Кузьма Фомич; не говорите глупостей, — тихо сказала Марья Петровна.

Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. — Марья Петровна налила и протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее рук, его лицо приняло самое восторженное выражение, и это выражение так мало шло к смешной, безобразной опухоли щеки, что я не мог не улыбнуться. Львов тоже усмехнулся; одна Марья Петровна сострадательно и серьезно смотрела на Кузьму.

Приехал свежий, здоровый, как яблоко, доктор, большой весельчак. Когда он осмотрел шею больного, его обычное веселое выражение лица переменилось на озабоченное.

— Пойдемте, пойдемте в вашу комнату; мне нужно хорошенько осмотреть вас.

Я пошел за ним в комнату Кузьмы.

Доктор уложил его в постель и начал осматривать верхнюю часть груди, осторожно трогая ее пальцами.

— Ну-с, вы извольте лежать смирно и не вставать. Есть у вас товарищи, которые пожертвовали бы немного своим временем для вашей пользы? — спросил доктор.

— Есть, я думаю, — ответил Кузьма недоумевающим тоном.

— Я попросил бы их, — сказал доктор, любезно обращаясь ко мне, — с этого дня дежурить при больном и, если покажется что-нибудь новое, приехать за мной.

Он вышел из комнаты; Львов пошел проводить его в переднюю, где они долго разговаривали о чем-то вполголоса, а я пошел к Марье Петровне. Она задумчиво сидела, опершись головою об одну руку и медленно шевеля другою ложечку в чашке с чаем.

— Доктор приказал дежурить около Кузьмы.

— Разве в самом деле есть опасность? — тревожно спросила Марья Петровна.

— Вероятно, есть; иначе зачем были бы эти дежурства? Вы не откажетесь ходить за ним, Марья Петровна?

— Ах, конечно, нет! Вот и на войну не ездила, а уж приходится быть сестрой милосердия. Пойдем к нему; ему ведь очень скучно лежать одному.

Кузьма встретил нас, улыбнувшись, насколько еще позволила опухоль.

— Вот спасибо, — сказал он: — а я думал уж, что вы меня забыли.

— Нет, Кузьма Фомич, теперь мы вас не забудем: нужно дежурить около вас. Вот до чего доводит непослушание, — улыбаясь, сказала Марья Петровна.

— И вы будете? — робко спросил Кузьма.

— Буду, буду, только слушайте меня.

Кузьма закрыл глаза и покраснел от удовольствия.

— Ах, да, — сказал он вдруг, обращаясь ко мне: — дай мне, пожалуйста, зеркало: вон на столе лежит.

Я подал ему маленькое круглое зеркало; Кузьма попросил меня посветить ему и с помощью зеркала осмотрел больное место. После этого осмотра лицо его потемнело, и, несмотря на то, что мы втроем старались занять его разговорами, он весь вечер не вымолвил ни слова.

Сегодня мне наверно сказали, что скоро потребуют ополченцев; я ждал этого и не был особенно поражен.

Я мог бы избежать участи, которой я так боюсь. Мог бы воспользоваться кое-какими влиятельными

знакомствами и остаться в Петербурге, состоя в то же время на службе. Меня “пристроили” бы здесь, ну, хоть для отправления писарской обязанности, что ли. Но, во-первых, мне претит прибегать к подобным средствам, а во-вторых, что-то, не подчиняющееся определению, сидит у меня внутри, обсуждает мое положение и запрещает мне уклониться от войны. “Нехорошо”, — говорит мне внутренний голос.

Случилось то, чего я никак не ожидал.

Я пришел сегодня утром, чтобы занять место Марьи Петровны около Кузьмы. Она встретила меня в дверях бледная, измученная бессонной ночью и с заплаканными глазами.

— Что такое, Марья Петровна, что с вами?

— Тише, тише, пожалуйста, — зашептала она. — Знаете, ведь все кончено.

— Что кончено? Не умер же он?

— Нет, еще не умер... только надежды никакой. Оба доктора... мы ведь другого позвали...

Она не могла говорить от слез.

— Подите, посмотрите... Пойдемте к нему.

— Вытрите сначала слезы и выпейте воды, а то вы его совсем расстроите.

— Все равно... Разве он уже не знает? Он еще вчера знал, когда просил зеркало; ведь сам скоро был бы доктором.

Тяжелый запах анатомического театра наполнял комнату, где лежал больной. Его кровать была выдвинута на середину комнаты. Длинные ноги, большое туловище, руки, вытянутые по бокам тела, резко обо-

значились под одеялом. Глаза были закрыты, дыхание медленно и тяжело. Мне показалось, что он похудел за одну ночь; лицо его приняло скверный земляной оттенок и было липко и влажно.

— Что с ним? — спросил я шепотом.

— Пусть он сам... Оставайтесь с ним, я не могу.

Она ушла, закрыв лицо руками и вздрагивая от сдерживаемых рыданий, а я сел около постели. Я ждал, пока Кузьма проснется. Мертвая тишина была в комнате; только карманные часы, лежавшие на столике около постели, выстукивали свою негромкую песенку да слышалось тяжелое и редкое дыхание больного. Я смотрел на его лицо и не узнавал его; не то чтобы его черты слишком переменялись — нет; но я увидел его в совершенно новом для меня свете. Я знал Кузьму давно и был с ним приятелем (хотя особенной дружбы между нами не существовало), но никогда мне не приходилось так входить в его положение, как теперь. Я припомнил его жизнь, неудачи и радости, как будто бы они были моими. В его любви к Марье Петровне я до сих пор видел больше комическую сторону, а теперь понял, какие муки должен был испытывать этот человек. “Неужели он в самом деле так опасен? — думал я. — Не может быть не может же человек умереть от глупой зубной боли, Марья Петровна плачет о нем, но он выздоровеет, и все будет хорошо”.

Он открыл глаза и увидел меня. Не переменяя выражения лица, он заговорил медленно, делая остановки после каждого слова:

— Здравствуй... Вот видишь, каков я... Конец наступил. Подкрался так неожиданно... глупо...

— Скажи мне наконец, Кузьма, что с тобой? Может быть, вовсе и не так дурно.

— Не дурно, ты говоришь? Нет, брат, очень дурно. На таких пустяках не ошибусь. На, смотри!

Он медленно, методически отвернул одеяло, растегнул рубашку, и на меня пахнуло невыносимым трупным запахом. Начиная от шеи, на правой стороне, на пространстве ладони, грудь Кузьмы была черна, как бархат, слегка покрытый сизым налетом. Это была гангрена.

Вот уже четыре дня, как я не смыкаю глаз у постели больного, то вместе с Марьей Петровной, то с ее братом. Жизнь, кажется, едва держится в нем, а все не хочет оставить его сильного тела. Кусок черного мертвого мяса ему вырезали и выбросили, как тряпку, и доктор велел нам каждые два часа промывать большую рану, оставшуюся после операции. Каждые два часа мы, вдвоем или втроем, приступаем к постели Кузьмы, поворачиваем и приподымаем его огромное тело, обнажаем страшную язву и поливаем ее через гуттаперчевую трубку водою с карболовой кислотой. Она брызжет по ране, и Кузьма иногда находит силы даже улыбаться, “потому что, — объясняет он, — щекотно”. Как всем редко болевшим людям, ему очень нравится, что за ним ухаживают, как за ребенком, а когда Марья Петровна берет в руки, как он говорит, “бразды правления”, то есть гуттаперчевую трубку, и начинает его поливать, он бывает особенно доволен и говорит, что никто не умеет делать этого так искусно, как она, несмотря на то, что трубка ча-

сто дрожит в ее руках от волнения и вся постель бывает облита водою.

Как изменились их отношения! Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чем-то недосягаемым, на что он и смотреть боялся, почти не обращавшая на него внимания, теперь часто тихонько плачет, сидя у его постели, когда он спит, и нежно ухаживает за ним; а он спокойно принимает ее заботливость, как должное, и говорит с нею, точно отец с маленькой дочерью.

Иногда он очень страдает. Рана его горит, лихорадка трясет его... Тогда мне приходят в голову странные мысли. Кузьма кажется мне единицею, одной из тех, из которых составляются десятки тысяч, написанные в реляциях. Его болезнью и страданиями я пробую измерить зло, причиняемое войной. Сколько муки и тоски здесь, в одной комнате, на одной постели, в одной груди — и все это одна лишь капля в море горя и мук, испытываемых огромною массою людей, которых посылают вперед, ворочают назад и кладут на полях грудам мертвых и еще стонущих и копошащихся окровавленных тел.

Я совершенно измучен бессонницей и тяжелыми мыслями. Нужно попросить Львова или Марью Петровну посидеть за меня, а я засну хоть на два часа.

Я спал мертвым сном, прикорнув на маленьком диванчике, и проснулся, разбуженный толчками в плечо.

— Вставайте, вставайте! — говорила Марья Петровна. Я вскочил и в первую минуту ничего не понимал. Марья Петровна что-то быстро и испуганно шептала.

— Пятна, новые пятна! — разобрал я наконец.

— Какие пятна, где пятна?

— Ах боже мой, он ничего не понимает! У Кузьмы Фомича новые пятна показались. Я уже послала за доктором.

— Да, может быть, и пустое, — сказал я с равнодушием только что разбуженного человека.

— Какое пустое, посмотрите сами!

Кузьма спал, раскинувшись, тяжелым и беспокойным сном; он метался головой из стороны в сторону и иногда глухо стонал. Его грудь была раскрыта, и я увидел на ней, на вершок ниже раны, покрытой повязкой, два новых черных пятнышка. Это гангрена проникла дальше под кожу, распространилась под ней и вышла в двух местах наружу. Хотя я и до этого мало надеялся на выздоровление Кузьмы, но эти новые решительные признаки смерти заставили меня побледнеть.

Марья Петровна сидела в углу комнаты, опустив руки на колени, и молча смотрела на меня отчаянными глазами.

— Да вы не приходите в отчаяние, Марья Петровна. Придет доктор, посмотрит; может быть, еще не все кончено. Может быть, еще выручим его.

— Нет, не выручим, умрет, — шептала она.

— Ну, не выручим, умрет, — отвечал я ей так же тихо: — для всех нас, конечно, это большое горе, но нельзя же так убиваться: ведь вы эти дни на мертвеца стали похожи.

— Знаете ли вы, какую муку я испытываю в эти дни! И сама не могу объяснить себе, отчего это. Я ведь не любила его, да и теперь, кажется, не люблю так, как он меня, а умрет он — сердце у меня разорвется. Все

мне будет вспоминаться его пристальный взгляд, его постоянное молчание при мне, несмотря на то, что он умел говорить и любил говорить. Навсегда останется в душе упрек, что не пожалела я его, не оценила его ума, сердца, его привязанности. Может быть, это и смешно вам покажется, но теперь меня постоянно мучает мысль, что люби я его — жили... бы мы совсем иначе, все бы иначе случилось, и этого страшного, нелепого случая могло бы и не быть. Думаешь-думаешь, оправдываешься-оправдываешься, а на дне души все что-то повторяет: виновата, виновата, виновата...

Тут я взглянул на больного, боясь, что он проснется от нашего шепота, и увидел перемену в его лице. Он проснулся и слышал, что говорит Марья Петровна, но не хотел показать этого. Его губы дрожали, щеки разгорелись, все лицо точно осветило солнцем, как освещается мокрый и печальный луг, когда раздвинутся тучи, нависшие над ним, и дадут выглянуть солнышку. Должно быть, он забыл и болезнь и страх смерти; одно чувство наполнило его душу и вылилось двумя слезинками из закрытых дрожащих век. Марья Петровна смотрела на него несколько мгновений как будто испуганно, потом покраснела, нежное выражение мелькнуло на ее лице, и, наклонясь над бедным полутрупом, она поцеловала его.

Тогда он открыл глаза.

— Боже мой, как не хочется умирать! — проговорил он.

И в комнате вдруг раздались странные тихие, хлипающие звуки, совершенно новые для моего уха, потому что раньше я никогда не видел этого человека плачущим.

Я ушел из комнаты. Я сам чуть было не разревелся.

Мне тоже не хочется умирать, и всем этим тысячам тоже не хочется умирать. У Кузьмы хоть утешение нашлось в последние минуты — а там? Кузьма, вместе с страхом смерти и физическими страданиями, испытывает такое чувство, что вряд ли он променял бы свои теперешние минуты на какие-нибудь другие из своей жизни. Нет, это совсем не то! Смерть всегда будет смертью, но умереть среди близких и любящих, или валяясь в грязи и собственной крови, ожидая, что вот-вот приедут и добьют, или наедут пушки и раздавят, как червяка...

— Я вам скажу откровенно, — говорил мне доктор в передней, надевая шубу и калоши, — что в подобных случаях, при госпитальном лечении, умирают девяносто девять из ста. Я надеюсь только на тщательный уход; на прекрасное расположение духа больного и на его горячее желание выздороветь.

— Всякий больной желает выздороветь, доктор.

— Конечно, но у вашего товарища есть некоторые усиливающие обстоятельства, — сказал доктор с улыбочкой. — Итак, сегодня вечером мы сделаем операцию — прорежем ему новое отверстие, вставим дренажи, чтобы лучше действовать водою, и будем надеяться.

Он пожал мне руку, запахнул свою медвежью шубу и поехал по визитам, а вечером явился с инструментами.

— Может быть, угодно вам, мой будущий коллега, для практики сделать операцию? — обратился он к Львову.

Львов кивнул головою, засучил рукава и с серьезно-мрачным выражением лица приступил к делу. Я видел, как он запустил, в рану какой-то удивительный инструмент с трехгранным острием, видел, как острие пронзило тело, как Кузьма вцепился руками в постель и зашелкал зубами от боли.

— Ну, не бабничай, — угрюмо говорил ему Львов, вставляя дренаж в новую ранку.

— Очень больно? — ласково спросила Марья Петровна.

— Не так больно, голубушка, а ослабел я, измучился.

Положили повязки, дали Кузьме вина, и он успокоился. Доктор уехал, Львов ушел в свою комнату заниматься, а мы с Марьей Петровной стали приводить комнату в порядок.

— Поправьте одеяло, — проговорил Кузьма ровным, беззвучным голосом. — Дует.

Я начал поправлять ему подушку и одеяло по его собственным указаниям, которые он делал очень придирчиво, уверяя, что где-то около левого локтя есть маленькая дырочка, в которую дует, и прося лучше подсунуть одеяло. Я старался сделать это как можно, лучше, но, несмотря на все мое усердие, Кузьме все-таки дуло то в бок, то в ноги.

— Неумелый ты какой, — тихо брюзжал он, — опять в спину дует. Пусть она.

Он взглянул на Марью Петровну, и мне стало очень ясно, почему я не сумел угодить ему.

Марья Петровна поставила склянку с лекарством, которую держала в руках, и подошла к постели.

— Поправить?

— Поправьте... Вот хорошо... тепло!..

Он смотрел на нее, пока она управлялась с одеялом, потом закрыл глаза и с детски-счастливым выражением на измученном лице заснул.

— Вы пойдете домой? — спросила Марья Петровна.

— Нет, я выспался отлично и могу сидеть; а впрочем, если я не нужен, то уйду.

— Не ходите, пожалуйста, поговоримте хоть немножко. Брат постоянно сидит за своими книгами, а мне одной быть с больным, когда он спит, и думать о его смерти так горько, так тяжело!

— Будьте тверды, Марья Петровна, сестре милосердия тяжелые мысли и слезы воспрещаются.

— Да я и не буду плакать, когда буду сестрой милосердия. Все-таки не так тяжело будет ходить за ранеными, как за таким близким человеком.

— А вы все-таки едете?

— Еду, конечно. Выздоровеет он или умрет — все равно поеду. Я уже сжилась с этой мыслью и не могу отказаться от нее. Хочется хорошего дела, хочется оставить себе память о хороших, светлых днях.

— Ах, Марья Петровна, боюсь я, что не увидите вы свету на войне.

— Отчего? Работать буду — вот вам и свет. Хоть чем-нибудь принять участие в войне мне хочется.

— Принять участие! Да разве она не возбуждает в вас ужаса? Вы ли говорите мне это!

— Я говорю. Кто вам сказал, что я люблю войну? — Только... как бы это вам рассказать? Война — зло; и вы, и я, и очень многие такого мнения; но ведь она неизбежна; любите вы ее или не любите, все равно, она будет, и если не пойдете драться вы, возьмут другого, и все-таки человек будет изуродован или из-

мучен походом. Я боюсь, что вы не донимаете меня: я плохо выражаюсь. Вот что: по-моему, война есть *общее* горе, *общее* страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится.

Я молчал. Слова Марьи Петровны яснее выразили мое смутное отъвращение к уклонению от войны. Я сам *чувствовал* то, что она чувствует и думает, только *думал* иначе.

— Вот вы, кажется, все думаете, как бы постараться остаться здесь, — продолжала она, — если вас заберут в солдаты. Мне брат говорил об этом. Вы знаете, я вас очень люблю, как хорошего человека, но эта черта мне в вас не нравится.

— Что же делать, Марья Петровна! Разные взгляды. За что я буду тут отвечать? Разве я войну начал?

— Не вы, да и никто из тех, кто теперь умер на ней и умирает. Они тоже не пошли бы, если бы могли, но они не могут, а вы можете. Они идут воевать, а вы останетесь в Петербурге — живой, здоровый; счастливый, только потому, что у вас есть знакомые, которые пожалеют послать знакомого человека на войну. Я не беру на себя решать — может быть, это и извинительно, но мне не нравится, нет.

Она энергически покачала кудрявой головой и замолчала.

Наконец вот оно. Сегодня я оделся в серую шинель и уже вкушал корни учения... ружейным приемам. У меня и теперь раздается в ушах:

— Смирно!.. Ряды вздво-ой! Слушай, на кра-аул! И я стоял смирно, вздваивал ряды и брякал ружьем. И через несколько времени, когда я достаточно постигну премудрость вздваиванья рядов, меня назна-

чат в партию, нас посадят в вагоны, повезут, распределят по полкам, поставят на места, оставшиеся после убитых...

Ну, да это все равно. Все кончено; теперь я не принадлежу себе, я плыву по течению; теперь самое лучшее не думать, не рассуждать, а без критики принимать всякие случайности жизни и разве только выть, когда больно...

Меня поместили в особое отделение казармы для привилегированных, которое отличается тем, что в нем не нары, а кровати, но в котором все-таки достаточно грязно. У непривилегированных новобранцев совсем скверно. Живут они, до распределения по полкам, в огромном сарае, бывшем манеже: его разделили полатами на два этажа, натащили соломы и предоставили временным обитателям устраиваться, как знают. На проходе, идущем посередине манежа, снег и грязь, наносимые со двора ежеминутно входящими людьми, смешались с соломой и образовали какую-то невообразимую слякоть, да и в стороне от него солома не особенно чиста. Несколько сот человек стоят, сидят и лежат на ней группами, состоящими из земляков: настоящая этнографическая выставка. И я разыскал земляков по уезду. Высокие неуклюжие хохлы, в новых свитках и смушковых шапках, лежали тесной кучкой и молчали. Их было человек десять.

— Здравствуйте, братцы.

— Здравствуйте.

— Давно из дому?

— Та вже дві неділи. А вы яки-таки будете? — спросил меня один из них.

Я назвал свое имя, оказавшееся всем им известным. Встретив земляка, они немного оживились и разговорились.

— Скучно? — спросил я.

— Так як же не скучно! Дуже моторно. Коли б ще годували, а то така страва, що и боже мій!

— Куда ж вас теперь?

— А хто его зна! Кажуть, пид турку...

— А хочется на войну?

— Чого я там не бачив?

Я начал расспрашивать о нашем городе, и воспоминания о доме развязали языки. Начались рассказы о недавней свадьбе, для которой была продана пара волов и вскоре после которой молодого забрали в солдаты, о судебном приставе, “сто чортив ему конних у горло”, о том, что мало становится земли, и поэтому из слободы Марковки в этом году поднялось несколько сот человек идти на Амур... Разговор держался только на почве прошедшего; о будущем, о тех трудах, опасностях и страданиях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Никто не интересовался узнать о турках, о болгарах, о деле, за которое шел умирать.

Проходивший мимо пьяненький солдатик местной команды остановился против нашей кучки и, когда я снова заговорил о войне, авторитетно заявил:

— Этого самого турку бить следует.

— Следует? — спросил я, невольно улыбнувшись уверенности решения.

— Так точно, барин, чтоб и звания его не осталось поганого. Потому от его бунту сколько нам всем муки принять нужно! Ежели бы он, например, без бунту, чтобы благородно, смирно... был бы я теперь

дома, при родителях, в лучшем виде. А то он бунтует, а нам огорчение. Это вы будьте спокойны, верно я говорю. Папиросочку пожалуйста, барин! — вдруг оборвал он, вытянувшись передо мной во фронт и приложив руку к козырьку.

Я дал ему папиросу, простился с земляками и пошел домой, так как наступило время, свободное от службы.

“Он бунтует, а нам огорчение”, — звенел у меня в ушах пьяный голос. Коротко и неясно, а между тем дальше этой фразы не пойдешь.

У Львовых тоска, уныние. Кузьма очень плох, хотя рана его и очистилась: страшный жар, бред, стоны. Брат и сестра не отходили от него все дни, пока я был занят поступлением на службу и ученьями. Теперь, когда они знают, что я отправляюсь, сестра стала еще грустнее, а брат еще угрюмее.

— В форме уже! — проворчал он, когда я поздоровался с ним в комнате, закуренной и заваленной книгами. — Эх вы, люди, люди...

— Что же мы за люди, Василий Петрович?

— Заниматься вы мне не даете — вот что! И так времени совсем нет, кончить курса не дадут, пошлют на войну; и так многого узнать не придется; а тут еще вы с Кузьмой.

— Ну, положим, Кузьма умирает, а я-то что?

— Да вы разве не умираете? Не убьют вас — с ума сойдете или пулю в лоб пустите. Разве я не знаю вас, и разве не было примеров?

— Каких примеров? Разве вы знаете что-нибудь подобное? Расскажите, Василий Петрович!

— Отстаньте вы, очень нужно вас еще пуще разогорчать! Вредно вам. И я ничего не знаю, это я так сказал.

Но я пристал к нему, и он рассказал мне свой “пример”.

— Мне один раненый офицер-артиллерист рассказывал. Вышли они только что из Кишинева, в апреле, тотчас после объявления войны. Дожди шли постоянные, дороги исчезли; осталась одна грязь, такая, что орудия и повозки уходили в нее по оси. До того дошло, что лошади не берут; прицепили канаты, поехали на людях. На втором переходе дорога ужасная: на семнадцати верстах двенадцать гор, а между ними все топь. Въехали и стали. Дождь хлещет, на теле ни нитки сухой, проголодались, измучились, а тащить нужно. Ну, конечно, тянет-тянет человек и упадет лицом в грязь без памяти. Наконец добрались до такой трясины, что двинуться вперед было невозможно, а все-таки продолжали надрываться! “Что тут было, — офицер мой говорит, — вспомнить страшно!” Доктор молодой был у них, последнего выпуска, нервный человек. Плачет. “Не могу, говорит, я вынести этого зрелища; уеду вперед”. Уехал. Нарубили солдаты веток, сделали чуть не целую плотину и наконец сдвинулись с места. Вывезли батарею на гору: смотрят, а на дереве доктор висит... Вот вам пример. Не мог человек вида мучений вынести, так где ж вам самые-то муки одолеть?..

— Василий Петрович, да не легче ли самому муки нести, чем казниться, как этот доктор?

— Ну, не знаю, что хорошего, что вас самих в дышло запрягут.

— Совесть мучить не будет, Василий Петрович.

— Ну, это, батюшка, что-то тонко. Вы с сестрой об этом поговорите: она насчет этих тонкостей дока. “Анну Каренину” ли по косточкам разобрать или о Достоевском поговорить, все может; а уж эта штука в каком-нибудь романе, наверно, разобрана. Прощайте, философ!

Он добродушно рассмеялся своей шутке и протянул мне руку.

— Вы куда?

— На Выборгскую, в клинику.

Я вошел в комнату Кузьмы. Он не спал и чувствовал себя лучше обыкновенного, как объяснила мне Марья Петровна, неизменно сидевшая около постели. Он еще не видел меня в форме, и мой вид неприятно поразил его.

— Тебя здесь оставят или ушлют в армию? — спросил он.

— Отправят; разве ты не знаешь?

Он молчал.

— Знал, да забыл. Я, брат, теперь вообще мало помню и соображаю... Что ж, поезжай. Нужно.

— И ты, Кузьма Фомич!

— Что “и я”? Разве не правда? Какие твои заслуги, чтоб тебя простили? Иди, помирай! Нужнее тебя есть люди, работающее тебя, и те идут... Поправь мне подушку... вот так.

Он говорил тихо и раздраженно, как будто мстя кому-то за свою болезнь.

— Все это верно, Кузя, да разве я и не иду? Разве я протестую лично за себя? Если бы это было так, и бы остался здесь без дальних разговоров: устроить это нетрудно. Я не делаю этого; меня требуют, и я иду.

Но пусть, по крайней мере, мне не мешают иметь об этом свое собственное мнение.

Кузьма лежал, неподвижно устремив глаза в потолок, как будто не слушая меня. Наконец он медленно повернул ко мне голову.

— Ты не прими моих слов за что-нибудь настоящее, — проговорил он. — Я измучен и раздражен и, право, не знаю, за что придираюсь к людям. Уж очень я стал сварлив; должно быть, скоро помирать пора.

— Полно, Кузьма, подбодрись. Рана очистилась, подживает, все идет к лучшему. Теперь не о смерти, а о жизни говорить следует.

Марья Петровна взглянула на меня большими печальными глазами, и мне вдруг вспомнилось, как она сказала мне две недели тому назад: “Нет, не выздоровеет, умрет”.

— А что, если бы в самом деле ожить? Хорошо бы было! — слабо улыбнувшись, сказал Кузьма. — Тебя ушлют драться, и мы с Марьей Петровной поедem: она милосердной сестрицей, а я врачом. И буду я около тебя, раненого, возиться, как ты теперь около меня.

— Будет болтать, Кузьма Фомич, — сказала Марья Петровна, — вредно вам много говорить, да и пора начинать ваше мучение.

Он отдался в наше распоряжение; мы раздели его, сняли повязки и принялись за работу над огромной истерзанной грудью. И когда я направлял струю воды на обнаженные кровавые места, на показавшуюся и блестящую, как перламутр, ключицу, на вену, проходившую через всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живом человеке, а анатомический препарат, я думал о других ранах,

гораздо более ужасных и качеством и подавляющим количеством и, сверх того, нанесенных не слепым, бессмысленным случаем, а сознательными действиями людей.

Я не пишу в эту книжку ни слова о том, что делается и что я испытываю дома. Слезы, которыми встречает и провожает меня мать, какое-то тяжелое молчание, сопровождающее мое присутствие за общим столом, предупредительная доброта братьев и сестер — все это тяжело видеть и слышать, а писать об этом еще тяжелее. Когда подумаешь, что через неделю придется лишиться всего самого дорогого в мире, слезы подступают под горло...

Вот наконец и прощанье. Завтра утром, чуть свет, наша партия отправляется по железной дороге. Мне позволили провести последнюю ночь дома; и я сижу своей комнате один, в последний раз! В последний раз! Знает ли кто-нибудь, не испытывавший такого последнего раза, всю горечь этих двух слов? В последний раз разошлась семья, в последний раз я пришел эту маленькую комнату и сел к столу, освещенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Целый месяц я не прикасался к ним. В последний раз я беру в руки и рассматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежит мертвая, недоношенная, бессмысленная. Вместо того чтобы кончать ее, идешь, с тысячами тебе подобных, на край света, потому что истории понадобились твои физические

силы. Об умственных забудь: они никому не нужны.. Что до того, что многие годы ты воспитывал их, готовился куда-то применить их? Огромному неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что можешь сделать против такого желания ты,

... ты, палец от ноги?..

Однако довольно. Пора лечь и постараться заснуть; завтра нужно встать очень рано.

Я просил, чтобы меня никто не провожал на железную дорогу. Дальние проводы — лишние слезы. Но когда я уже сидел в вагоне, набитом людьми, я ощутил такое щемящее душу одиночество, такую тоску, что, кажется, отдал бы все на свете, чтоб хоть несколько минут провести с кем-нибудь из близких. Наконец настал назначенный час, но поезд не тронулся: что-то задержало его. Прошло полчаса, час, полтора, а он все еще стоял. В эти полтора часа я успел бы побывать дома... Может быть, кто-нибудь не утерпит и приедет... Нет, ведь все думают, что поезд уже ушел; никто не станет рассчитывать на опоздание. А все-таки, может быть... И я смотрел в ту сторону, откуда могли ко мне прийти. Никогда время не тянулось так долго.

Резкие звуки рожка, игравшего сбор, заставили меня вздрогнуть. Солдаты, вылезшие из вагонов и толпившиеся на платформе, торопились усаживаться. Сейчас тронется поезд, и я никого не увижу.

Но я увидел. Львовы, брат и сестра, почти бежали к вагону, и я ужасно обрадовался им. Не помню, что я говорил им, не помню, что они мне говорили, кроме одной только фразы: “Кузьма умер”.

На этой фразе кончаются заметки в записной книжке.

Широкое снежное поле. Белые холмы окружают его, на них белые же, заиндевевшие деревья. Небо пасмурно, низко; в воздухе чувствуется оттепель. Трещат ружья, слышатся частые удары пушечных выстрелов; дым покрывает один из холмов и медленно сползает с него на поле. Сквозь него чернеет движущаяся масса. Когда взглянешься в нее пристальнее, то видишь, что она состоит из отдельных черных точек. Многие из этих точек уже неподвижны, но другие все двигаются и двигаются вперед, хотя им еще далеко до цели, видимой только по массе дыма, несущегося с нее, и хотя их число с каждым мгновением становится все меньше и меньше.

Батальон резерва, лежавший в снегу, не составив ружья в козлы, а держа их в руках, следил за движением черной массы всею тысячью своих глаз.

— Пошли, братцы, пошли... Эх, не дойдут!

— И чего это только нас держат? С подмогой живо бы взяли.

— Жизнь тебе надоела, что ли? — угрюмо сказал пожилой солдат из “билетных”: — лежи, коли положили, да благодари бога, что цел.

— Да я, дяденька, цел буду, не сомневайтесь, — отвечал молодой солдат с веселым лицом. — Я в четырех делах был, хоть бы что! Оно спервоначалу только

боязно, а потом — ни боже мой! Вот барину нашему впервой, так он, небось, у бога прощенья просит. Барин, а барин?

— Чего тебе? — отозвался худощавый солдат с черной бородкой, лежащий возле.

— Вы, барин, глядите веселее!

— Да я, голубчик, и так не скучаю.

— Вы меня держитесь, ежели что. Уж я бывал, знаю. Ну, да у нас барин молодец, не побегит. А то был такой до вас вольноопределяющий, так тот, как пошли мы, как зачали пули летать, бросил он и сумки, и ружье; побег, а пуля ему вдогонку, да в спину. Так нельзя, потому — присяга.

— Не бойся, не побегу... — тихо отвечал “барин”. — От пули не убежишь.

— Известно, где от ей убежать! Она шельма... Батюшки светы! Никак наши-то стали!

Черная масса остановилась и задымилась выстрелами.

— Ну, палить стали, сейчас назад... Нет, вперед пошли. Выручай, мать пресвятая богородица! Ну-ка еще, ну, ну... Эка раненых-то валится, господи! И не подбирают.

— Пуля! Пуля! — раздался вокруг говор.

В воздухе действительно что-то зашуршало. Это была залетная, шальная пуля, перелетевшая через резервы. Вслед за ней полетела другая, третья. Батальон оживился.

— Носилки! — закричал кто-то.

Шальная пуля сделала свое дело. Четверо солдат с носилками бросились к раненому. Вдруг на одном из холмов, в стороне от пункта, на который велась ата-

ка, показались маленькие фигурки людей и лошадей, и тотчас же оттуда вылетел круглый и плотный клуб дыма, белого, как снег.

— В нас подлец метит! — закричал веселый солдат.

Завизжала и заскрежетала граната, раздался выстрел. Веселый солдат уткнулся лицом в снег. Когда он поднял голову, то увидел, что “барин” лежит рядом с ним ничком, раскинув руки и неестественно изогнувшею. Другая шальная пуля пробила ему над правым глазом огромное черное отверстие.

А. П. Чехов

Спать хочется

Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет:

Баю-баюшки-баю,
А я песенку спою...

Перед образом горит зеленая лампадка; через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на Варьку... Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и сапожным товаром.

Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но все еще кричит и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булабочная головка.

— Баю-баюшки-баю, — мурлычет она, — тебе каши наварю...

В печке кричит сверчок. В соседней комнате, за дверью, похрапывают хозяин и подмастерье Афанасий... Колыбель жалобно скрипит, сама Варька мурлычет — и все это сливается в ночную, убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту,

а спать нельзя; если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее.

Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и в ее наполовину уснувшем мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкою грязью; по шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие-то тени; по обе стороны сквозь холодный, суровый туман видны леса. Вдруг люди с котомками и тени падают на землю в жидкую грязь. — “Зачем это?” — спрашивает Варька. — “Спать, спать!” — отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их.

— Баю-баюшки-баю, а я песенку спою... — мурлычет Варька и уже видит себя в темной, душной избе.

На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, “разыгралась грыжа”. Боль так сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь:

— Бу-бу-бу-бу...

Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому “бу-бу-бу”. Но вот слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа присла-

ли молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу; его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью.

— Засветите огонь, — говорит он.

— Бу-бу-бу... — отвечает Ефим.

Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку.

— Сейчас, батюшка, сейчас, — говорит Пелагея, бросается вон из избы и немного погодя возвращается с огарком.

Щеки у Ефима розовые, глаза блестят и взгляд как-то особенно остр, точно Ефим видит насквозь и избу и доктора.

— Ну, что? Что ты это вздумал? — говорит доктор, нагибаясь к нему. — Эге! Давно ли это у тебя?

— Чего-с? Помирать, ваше благородие, пришло время... Не быть мне в живых...

— Полно вздор говорить... Вылечим!

— Это как вам угодно, ваше благородие, благодарим покорно, а только мы понимаем... Коли смерть пришла, что уж тут.

Доктор с четверть часа возится с Ефимом; потом поднимается и говорит:

— Я ничего не могу поделать... Тебе нужно в больницу ехать, там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай... Непременно поезжай! Немножко поздно, в больнице все уже спят, но это ничего, я тебе записочку дам. Слышишь?

— Батюшка, да на чем же он поедет? — говорит Пелагея. — У нас нет лошади.

— Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь.

Доктор уходит, свеча тухнет, и опять слышится “бу-бу-бу”... Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Ефим собирается и едет...

Но вот наступæт хорошее, ясное утро. Пелагеи нет дома: она пошла в больницу узнать, что делается с Ефимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто-то ее голосом поет:

— Баю-баюшки-баю, а я песенку спою...

Возвращается Пелагея; она крестится и шепчет:

— Ночью вправили ему, а к утру богу душу отдал... Царство небесное, вечный покой... Сказывают, поздно захватили... Надо бы раньше...

Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стучается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина-сапожника.

— Ты что же это, паршивая? — говорит он. — Дите плачет, а ты спишь?

Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталон и пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять она видит шоссе, покрытое жидкою грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать; она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город заниматься.

— Подайте милостынки Христа ради! — просит мать у встречных. — Явите божескую милость, господа милосердные!

— Подай сюда ребенка! — отвечает ей чей-то знакомый голос. — Подай сюда ребенка! — повторяет тот же голос, но уже сердито и резко. — Спишь, подлая?

Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело: нет ни шоссе, ни Пелагеи, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синееет воздух, тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро.

— Возьми! — говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку. — Плачет. Должно, сглазили.

Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают и уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется! Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон, но глаза все-таки слипаются и голова тяжела.

— Варька, затопи печку! — раздается за дверью голос хозяина.

Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее одеревеневшее лицо и как проясняются мысли.

— Варька, поставь самовар! — кричит хозяйка.

Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар, как слышится новый приказ:

— Варька, почисть хозяину калоши!

Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую калошу и подремать в ней немножко... И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собою всю комнату, Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах.

— Варька, помой снаружи лестницу, а то от заказчиков совестно!

Варька моет лестницу, убирает комнаты, потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной.

Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая, сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на пол и спать.

День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слипающиеся глаза и обещает ей скорый, крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости.

— Варька, ставь самовар! — кричит хозяйка.

Самовар у хозяев маленький, и прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогреть его раз пять. После чаю Варька стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний.

— Варька, сбегай купи три бутылки пива!

Она срывается с места и старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон.

— Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? Варька, почисть селедку!

Но вот наконец гости ушли; огни тушатся, хозяйева ложатся спать.

— Варька, покачай ребенка! — раздается последний приказ.

В печке кричит сверчок; зеленое пятно на потолке и тени от панталон и пеленок опять лезут в полукруг открытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову.

— Баю-баюшки-баю, — мурлычет она, — а я песенку спою...

А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она все понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить.

Этот враг — ребенок.

Она смеется. Ей удивительно: как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются.

Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка,

сковывающего ее по рукам и ногам... Убить ребенка, а потом спать, спать, спать...

Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая...

.

.

Леонид Андреев

В подвале

Он сильно пил, потерял работу и знакомых и поселился в подвале вместе с ворами и проститутками, проживая последние вещи.

У него было больное, бескровное тело, изношенное в работе, изъеденное страданиями и водкой, и смерть уже сторожила его, как хищная серая птица, слепая при солнечном свете и зоркая в черные ночи. Днем она пряталась в темных углах, а ночью бесшумно усаживалась у его изголовья и сидела долго, до самого рассвета, и была спокойна, терпелива и настойчива. Когда при первых проблесках дня он высовывал из-под одеяла бледную голову с глазами травимого зверя, в комнатке было уже пусто, — но он не верил этой обманчивой пустоте, которой верят другие. Он подозрительно оглядывал углы, с хитрой внезапностью бросал взгляд за спину и потом, опершись на локти, внимательно и долго смотрел перед собой в тающую тьму уходящей ночи. И тогда он видел то, чего никогда не видят другие: колыхание серого огромного тела, бесформенного и страшного. Оно было прозрачно, охватывало все, и предметы в нем были как за стеклянной стеной. Но теперь он не боялся его, и, оставляя холодный след, оно уходило — до следующей ночи.

На короткое время он забывался, и сны приходили к нему страшные и необыкновенные. Он видел белую комнату, с белым полом и стенами, освещенную белым ярким светом, и черную змею, которая выползала из-под двери с легким шуршанием, похо-

жим на смех. Прижав к полу острую, плоскую голову и извиваясь, она быстро выскальзывала, куда-то пропадала, и опять в отверстии под дверью показывался ее приплюснутый черный нос, и черной лентой вытягивалось тело, — и опять и опять. Раз он увидел во сне что-то веселое и засмеялся, но звук получился странный, похожий на подавленное рыдание, и было страшно его слушать: где-то в неизвестной глубине смеется, не то плачет душа в то время, когда тело неподвижно, как у мертвого.

Постепенно в его сознание начинали входить звуки рождающегося дня: глухой говор прохожих, отдаленный скрип двери, гроыхание дворницкой метлы, сметающей снег с подоконника, — весь неопределенный гул просыпающегося большого города. И тогда наступало для него самое ужасное: беспощадно светлое сознание, что пришел новый день и скоро ему нужно вставать, чтобы бороться за жизнь без надежды на победу.

Нужно жить.

Он поворачивался спиной к свету, набрасывал на голову одеяло, чтобы ни малейший луч не мог проникнуть в его глаза, сжимался в маленький комок, подтягивая ноги к самому подбородку, и так лежал неподвижно, боясь пошевелиться и протянуть ноги. Целой горой лежала на нем одежда, которою он укрывался от подвальной стужи, но он не чувствовал ее тяжести, и тело его было холодно. И при каждом звуке, говорившем о жизни, он казался себе огромным и открытым, сжимался еще больше и беззвучно стонал — не голосом и не мыслью, так как теперь он боялся собственного голоса и собственных мыслей. Он молился

кому-то, чтобы день не приходил и ему всегда можно было лежать под грудой тряпья, не шевелясь и не мысля, и напрягал всю волю, чтобы удержать идущий день и уверить себя, что ночь еще продолжается. И больше всего в мире ему хотелось, чтобы кто-нибудь сзади приложил револьвер к затылку, к тому месту, где чувствуется углубление, и выстрелил.

А день разворачивался — широкий, неудержимый, властно зовущий к жизнями весь мир начинал двигаться, говорить, работать и думать. В подвале первой просыпалась хозяйка, старуха Матрена, имевшая двадцатипятилетнего любовника, и начинала топтать по кухне, стучать ведрами и возиться над чем-то у самых дверей Хижнякова. Он чувствовал ее приближение и замирал, решаясь не отзываться, если она его позовет. Но она молчала и куда-то уходила, а потом часа через два просыпались двое других жильцов: гуляющая девушка Дуняша и любовник старухи, Абрам Петрович. Так почтительно, несмотря на молодость, звали его все, потому что он был смелый и искусный вор и еще что-то, о чем только подозревали, но не решались говорить. Их пробуждения больше всего страшился Хижняков, так как оба они имели на него право, могли войти, сесть на кровать, трогать его руками и вызывать его на мысли и разговоры. С Дуняшей он как-то сошелся, пьяный, и обещал на ней жениться, и хотя она смеялась и хлопала его по плечу, но искренно считала его влюбленным в себя и покровительствовала, а сама была глупая, грязная, дурно пахнущая и часто ночевала в участке. А с Абрамом Петровичем он только третьего дня вместе пьянствовал, целовался и давал клятвы в вечной дружбе.

Когда раздался свежий и громкий голос Абрама Петровича и его быстрые шаги мимо двери, Хижняков застыл от страха и ожидания, простонал, не сдержавшись, вслух и еще более испугался. В одной яркой картине перед ним пронеслось его пьянство, как они сидели в каком-то темном трактире, освещенном одной лампой, среди темных, шепчущихся почему-то людей, и тоже шептались. Абрам Петрович, бледный и возбужденный, жаловался на трудную жизнь вора, за чем-то обнажал руку и давал щупать неправильно сросшиеся кости, а Хижняков целовал его и говорил:

— Я люблю воров. Они смелые, — и предлагал ему выпить на брудершафт, хотя они давно говорили на ты.

— А я люблю тебя, что ты образованный и понимаешь нашего брата, — отвечал Абрам Петрович. — Гляди-ка, рука-то: она вот!

И опять перед его глазами протягивалась белая рука, казавшаяся жалкой от своей белизны, и в незапном понимании чего-то, чего он теперь не помнил и не понимал, он целовал эту руку, а Абрам Петрович горделиво кричал:

— Верно, брат! Помрем, а не сдадимся!

А потом что-то грязное, кружащееся, вой, свист и прыгающие огни. И тогда это было весело, а теперь, когда в углах пряталась смерть и отовсюду надвигался день с необходимостью жить, и действовать, и за что-то бороться, и о чем-то просить, — было мучительно и непередаваемо ужасно.

— Барин, спишь? — насмешливо спросил за дверью Абрам Петрович и, не получив ответа, добавил: — Ну спи, черт с тобой.

К Абраму Петровичу приходит много знакомых, и в течение целого дня визжит дверь и раздаются басистые голоса. И Хижнякову при каждом стуке кажется, что это пришли к нему и за ним, и он прячется все глубже и долго прислушивается, пока поймет, кому принадлежит голос. Он ждет, ждет мучительно, с содроганием всего тела, хотя нет во всем мире никого, кто пришел бы к нему и за ним.

У него была жена когда-то, давно, и умерла. Еще дальше в прошлом у него были братья и сестры, а еще дальше — нечто смутное и красивое, что он называл матерью. И все они умерли, а может быть, кто-нибудь и жив, но так затерян в бесконечном мире, как будто бы умер. И он скоро умрет, — он это знает. Когда он встанет сегодня с своего ложа, у него будут подламываться и трястись ноги, а руки будут делать неверные, странные движения, — и это смерть. Но, пока она придет, нужно жить, и это такая грозная задача для человека, у которого нет денег, здоровья и воли, что Хижнякова охватывает отчаяние. Он сбрасывает с себя одеяло, заламывает руки и бросает в пространство такие долгие стоны, как будто сквозь тысячи страдающих грудей прошли они и оттого стали такими полными, до краев налитыми нестерпимой мукой.

— Отопри, черт! — кричит за дверью Дуняша и колотит в дверь кулаком. — А то ведь дверь сломаю!

Трясаясь и качаясь, Хижняков подошел к двери, открыл ее и быстро, почти падая, снова улегся в постель. Дуняша, уже завитая и напудренная, села рядом с ним, притиснув его к стене, положила ногу на ногу и важно сказала:

— А я тебе новость принесла. Катя вчера богу душу отдала.

— Какая Катя? — спросил Хижняков. И язык у него ворочался тяжело и неверно, как чужой.

— Ну вот, забыл, — засмеялась Дуняша. — Такая Катя, которая у нас жила. Как же ты забыл, когда она всего неделю ушла.

— Умерла?

— Ну да, умерла, как все помирают.

Дуняша послунявила короткий палец и отерла пудру с редких ресниц.

— От чего?

— От того, от чего все помирают. Кто же ее знает, от чего. Мне вчера в кофейной сказали. Умерла, говорят, Катя.

— А ты ее любила?

— Конечно, любила. О чем спрашивает!

Глупые глаза Дуняши смотрели на Хижнякова с тупым равнодушием, и толстая нога покачивалась. Она не знала, о чем ей больше говорить, и старалась смотреть на лежащего так, чтобы показать ему свою любовь, и для этого слегка прищурила один глаз и опустила углы толстых губ.

День начался..

II

В этот день, в субботу, мороз был такой сильный, что гимназисты не ходили учиться и конские бега были перенесены на другой день, так как представлялась опасность простудить лошадей. Когда Наталья Вла-

димировна вышла из родильного приюта, она в первую минуту была рада, что уже вечер, что на набережной никого нет и никто не встретит ее, девушку, с шестидневным ребенком на руках. Ей казалось, что, как только переступит она порог, ее встретит гамом и свистом целая толпа, в которой будет и отец ее, слюнявый, параличный и как будто совсем безглазый, и знакомые студенты, офицера и барышни. И все они будут показывать на нее пальцами и кричать: вот девушка, которая окончила шесть классов гимназии, имела знакомых студентов, умных и благородных, краснела от неловко сказанного слова и которая шесть дней тому назад родила ребенка в родильном приюте, рядом с другими падшими женщинами.

Но набережная была пустынна. По ней свободно носился ледяной ветер, подымал серую тучу снега, истолченного морозом в едкую пыль, и окутывал ею все живое и мертвое, что встречалось ему на пути. С легким свистом он обвивался вокруг металлических столбиков решетки, и они блестели, как отполированные, и казались такими холодными и одинокими, что на них больно было смотреть. И такой же холодной, оторванной от людей и жизни почувствовала себя девушка. На ней была коротенькая кофточка, та самая, в которой она обыкновенно каталась на коньках и которую второпях надела, уходя из дома и уже начиная страдать предродовыми болями. И когда ветер охватил ее, обвил вокруг ног тонкое платье и застудил голову, ей стало жутко, что она замерзнет, и страх толпы исчез, и мир развернулся безграничной ледяной пустыней, в которой нет ни людей, ни света, ни тепла. Две горячие слезинки навернулись на глазах и захо-

лодали. Наклонив голову, она отерла их бесформенным свертком, которым были заняты ее руки, и пошла быстрее. Теперь она не любила ни себя, ни ребенка, и жизнь обоих казалась ей ненужной, но ее настойчиво толкали вперед слова, которые были как будто не в мозгу у нее, а шли впереди и звали:

“Немчиновская улица, второй дом от угла. Немчиновская улица, второй дом от угла”.

Эти слова она твердила шесть дней, лежа в постели и кормя ребенка. Они значили, что нужно идти на Немчиновскую улицу, где живет ее молочная сестра, проститутка, потому что только у нее одной, и больше ни у кого, может найти она приют для себя и ребенка. Год тому назад, когда все еще было хорошо и она постоянно смеялась и пела, она была у захворавшей Кати и помогла ей деньгами, и теперь это оставался единственный человек, которого ей не было стыдно.

“Немчиновская улица, второй дом от угла. Немчиновская улица, второй дом от угла”.

Она шла, и ветер злобно вился вокруг нее и, когда она взошла на мост, хищно бросился к ней на грудь и железными когтями влился в холодное лицо. Победенный, он с шумом падал с моста, кружился по снежной глади реки и снова взмывал вверх, закрывая дорогу трепещущими холодными крыльями. Наталья Владимировна остановилась и бессильно облокотилась на перила. Глубоко снизу на нее взглянул черный матовый глаз — клочок незамерзшей воды, — и был его взгляд загадочен и страшен. А впереди звучали и настойчиво звали слова:

“Немчиновская улица, второй дом от угла. Немчиновская улица, второй дом от угла”.

Хижняков, уже одетый, снова лежал в постели и до самых глаз кутался теплым пальто, последней оставшейся у него вещью. В комнатке было холодно, в углах намерз лед, но он дышал в барашковый воротник, и от этого ему было тепло и уютно. Весь день он обманывал себя, что завтра пойдет искать работы и чем-то просить людей, а пока он счастливо не думал и только вздрагивал при повышенном звуке голоса за стеной или стуке зябко захлопнутой двери. Так долго и спокойно лежал он, когда во входную дверь послышался неровный стук, робкий, торопливый и острый, как будто стучали задней стороной руки. Комната его была ближайшей к двери, и, повернув голову, насторожившись, он ясно различал, что возле нее происходило. Подошла Матрена, дверь открылась и закрылась за кем-то вошедшим, и наступило выжидательное молчание.

— Вам кого? — хрипло прозвучал недружелюбный вопрос Матрены. И незнакомый голос, тихий и ломающийся, растерянно ответил:

— Мне Катю Нечаеву, Катя Нечаева здесь живет?

— Жила. А вам она на что?

— Мне очень нужно. Ее нет дома? — В голосе прозвучал страх.

— Умерла Катя. Умерла, я говорю. В больнице.

Опять долгое молчание, такое долгое, что Хижняков почувствовал боль в шее, которой он не смел повернуть, пока люди молчали. И потом незнакомый голос произнес тихо, без выражения:

— Прощайте.

Но, видимо, она не уходила, потому что через минуту Матрена спросила:

— Что это у вас? Кате, что ли, принесли?

Что-то упало на пол, стукнув коленами, и незнакомый голос произнес быстро, надрываясь от сдерживаемых рыданий.

— Возьмите! Возьмите, бога ради. Возьмите! А я... я уже пойду.

— Да что это?

Потом опять долгое молчание и тихий плач, прерывистый и безнадежный. Была в нем смертельная усталость и черное, беспросветное отчаяние. Словно чья-то утомленная рука бессильно водила по туго натянутой струне, и струна эта была последней на дорогом инструменте, и когда она разорвется — навсегда угаснет нежный и печальный звук.

— Да ведь вы его чуть не задушили! — грубо и сердито вскрикнула Матрена. — Тоже ведь рожать берутся. Разве так можно. Кто же так ребят завертывает! Пойдемте за мной. Ну, ну, хорошо, пойдем, я говорю. Разве так можно.

Около двери наступила тишина. Хижняков послушал еще немного и лег, обрадованный, что, пришли не к нему и не за ним, и не стараясь разгадать, что было в случившемся для него непонятного. Он уже начинал чувствовать приближение ночи, и ему хотелось, чтобы кто-нибудь посильнее пустил лампу. Покой проходил и, стискивая зубы, он старался, удерживать мысль; в прошлом была грязь, падение и ужас — и тот же ужас был в будущем. Он уж постепенно начинал сжиматься, подпрятывать ноги и руки, когда вошла Дуняша, уже одетая для выхода в красную блузу и слегка пьяная. Она размашисто села на кровать и всплеснула короткими руками:

— Ах ты, господи! — и она повела головой и засмеялась. — Ребеночка принесли. Такой маленький, а орет, как пристав. Ей-богу, как пристав!

Она блаженно выругалась и кокетливо щелкнула Хижнякова по носу.

— Пойдем смотреть. Ей-богу, а то что же? Посмотрим, да все тут. Матрена его купать хочет, самовар поставила. Абрам Петрович сапогом раздувает — потеха! А ребеночек кричит: уау, уау...

Дуняша сделала лицо таким, как, по ее предположению, у ребенка, и еще раз пропищала:

— Уау! Уау! Чисто пристав. Ей-богу! Пойдем. Не хочешь — ну и черт с тобой! Издыхай тут, яблоко мороженое.

И, приплясывая, она вышла. А через полчаса, качаясь на слабых ногах и придерживаясь пальцами за косяки, Хижняков нерешительно приоткрыл дверь в кухню.

— Затворяй, настудишь! — крикнул Абрам Петрович.

Хижняков быстро захлопнул за собой дверь и виновато оглянулся, но никто не обращал на него внимания, и он успокоился. В кухне было жарко от печки, самовара и людей, и пар густыми клубами подымался и ползал по холодным стенам. Матрена, сердитая и строгая, купала в корыте ребенка и корявой рукой плескала на него воду, приговаривая:

— Агунюшки! Агунюшки! Чистенькие будем, беленькие будем.

Оттого ли, что в кухне было светло и весело, или вода была теплая и ласкала, но ребенок молчал и морщил красное личико, точно собираясь чихнуть. Дуня-

ша через плечо Матрены заглядывала в корыто и, уловив минуту, быстро, тремя пальцами плеснула на ребенка.

— Уйди! — грозно крикнула старуха. — Куда лезешь? Без тебя знают, что делать, свои дети были.

— Не мешай. Это точно, — подтвердил Абрам Петрович. — Ребенок дело тонкое, это кто как умеет обращаться.

Он сидел на столе и с снисходительным удовольствием смотрел на маленькое розовое тельце. Ребенок пошевелил пальчиками, и Дуняша в диком восторге замотала головой и захохотала.

— Чисто пристав, ей-богу!

— А ты пристава в корыте видела? — спросил Абрам Петрович.

Все засмеялись, и Хижняков улыбнулся, но тотчас испуганно сорвал с лица улыбку и оглянулся на мать. Она устало сидела на лавке, откинув голову назад, и черные глаза ее, сделавшиеся огромными от болезни и страданий, светились спокойным блеском, а на бледных губах блуждала горделивая улыбка матери. И, увидев это, — Хижняков засмеялся одиноким, запоздалым смехом:

— Хи-хи-хи!

И так же гордо оглянулся по сторонам. Матрена вынула ребенка из корыта и обернула простыней. Он залился звонким плачем, но скоро смолк, и Матрена, отворачивая простыню, конфузливо улыбнулась и сказала:

— Тельце-то какое, чисто бархат.

— Дай попробовать, — попросила Дуняша.

— Еще что?

Дуняша внезапно затряслась всем телом и, топая ногами, задыхаясь от жадности, безумная от охватившего ее желания, закричала высоким голосом, которого у нее не слышал никто:

— Дай!.. Дай!.. Дай!..

— Дайте же ей! — испуганно попросила Наталья Владимировна. Так же внезапно успокоившись и перейдя на улыбку, Дуняша осторожно двумя пальцами прикоснулась к плечу ребенка, а за ней, снисходительно щурясь, потянулся к этому алевшему плечу и Абрам Петрович.

— Это точно. Ребенок дело тонкое, — сказал он, оправдываясь.

После всех попробовал Хижняков. Пальцы его на миг ощутили прикосновение чего-то живого, пушистого, как бархат, и такого нежного и слабого, что пальцы сделались как будто чужими и тоже нежными. И так, вытянув шеи, бессознательно озаряясь улыбкой странного счастья, стояли они, вор, проститутка и одинокий, погибший человек, и эта маленькая жизнь, слабая, как огонек в степи, смутно звала их куда-то и что-то обещала, красивое, светлое и бессмертное. И гордо глядела на них счастливая мать, а вверху, от низкого потолка, тяжелой каменной громадой подымался дом, и в высоких комнатах его бродили богатые, скучающие люди.

Пришла ночь. Пришла она черная, злая, как все ночи, и тьмой раскинулась по далеким снежным полям, и в страхе застыли одинокие ветви деревьев, те, что первые приветствуют восходящее солнце. Слабым огнем светильников боролись с ней люди, но, сильная и злая, она опоясывала одинокие огни безысход-

ным кругом и мраком наполняла человеческие сердца. И во многих сердцах потушила она слабые тлеющие искры.

Хижняков не спал. Сложившись в крохотный комок, он прятался от холода и ночи под мягкой грудой тряпья и плакал — без усилия, без боли и содроганий, как плачут те, у кого сердце чисто и безгрешно, как у детей. Он жалел себя, сжавшегося в комок, и ему чудилось, что он жалеет всех людей и всю человеческую жизнь, и в этом чувстве была таинственная и глубокая радость. Он видел ребенка, который родился, и ему казалось, что это родился он сам для новой жизни, и жить будет долго и жизнь его будет прекрасна. Он любил и жалел эту новую жизнь, и это было так радостно, что он засмеялся, встряхнул груды тряпья и спросил:

— О чем я плачу?

И не нашел, и ответил:

— Так.

И такой глубокий смысл был в этом коротком слове, что новой волной горячих слез всколыхнулась разбитая грудь человека, жизнь которого была так печальна и одинока.

А у изголовья уже усаживалась бесшумно хищная смерть и ждала — спокойно, терпеливо, настойчиво.

Федор Сологуб

В толпе

Древний и славный город Мстиславль справлял семисотлетие со дня своего основания. Это был город богатый, — промышленный и торговый. В нем самом и в его окрестностях понастроено было много фабрик и заводов, из которых иные славились на всю Россию. Население быстро возрастало, особенно в последние годы, и достигло внушительной цифры. Стояло много войска. Много жило рабочих, торговцев и чиновников, студентов и литераторов.

Думцы решили праздновать на славу день основания города. Пригласили властей, позвали Париж и Лондон, а также Чухлому и Медынь, и еще некоторые города, но с очень строгим выбором.

— Знаете, чтобы не лезли всякие, — объяснял городской голова, молодой человек купеческого происхождения и европейского образования, известный тонкой галантностью своего обхождения.

Потом как-то вспомнили, что надо же позвать также Москву и Вену. И этим двум городам послали приглашения, но когда уже оставалось до праздника всего только две недели.

Литераторы и студенты упрекали голову в такой неуместной забывчивости. Голова смущенно оправдывался:

— Захлопотался. Совсем из ума вон. Так много дела, — вы не поверите. Редко и дома ночью: все комиссия за комиссией.

Москва не обиделась, — свои, мол, люди, сочтемся, — и поспешила прислать депутацию с адресом.

Веселая же Вена ограничилась открыткой с поздравлением. Открытка была художественно разрисована: голый мальчик в цилиндре сидел верхом на бочке и держал в поднятой руке бокал с пивом. Пиво пышно пенилось, мальчик весело и плутовато улыбался. Он был круглолицый и румяный, и члены городской управы нашли, что улыбка его вполне прилична торжеству, — веселая, добронемецкая. И весь рисунок нашли очень сильным. Только не совсем согласны были в определении его стиля; одни говорили: “модерн”, другие “рококо”.

В городе немощем, пыльном, грязном и темном — в городе, где было много уличных скверных мальчишек и мало школ, — в городе, где бедные женщины, случалось, рожали на улицах, — в городе, где ломали старые стены знаменитой в истории крепости, чтобы добыть кирпича на постройку новых домов, — в городе, где по ночам на людных улицах бушевали хулиганы, а на окраинах беспрепятственно обворовывались жилища обывателей под громкие звуки трещоток в руках дремотных ночных сторожей, — в этом полудиком городе для съехавшихся отовсюду почетных гостей и властей устраивались торжества и пиршества, никому не нужные, и щедро тратили на эту пустую и глупую затею деньги, которых не хватало на школы и больницы.

И для простого народа, — нельзя же и без него обойтись, — готовились увеселения на городском выгоне, в местности, именуемой почему-то Опалихой. Строились балаганы, — один для народной драмы, другой для феерии, третий для цирка, — ставились американские горы, качели, мачты для лазания

на приз. Скоморошьему деду купили новую бороду, кудельную, и обошлась она городу дороже шелковой, — уж очень художественно сделана.

Для раздачи народу изготовили подарки. Предполагали давать каждому кружку с городским гербом и узелок: платок с видом Мстиславля, и в нем пряники да орехи. И таких кружек да платков с пряниками и орехами наготовили много тысяч. Заготавливали заблаговременно, — а потому пряники стали ко дню праздника черствые, а орехи — гнилые.

За неделю до дня, назначенного для народного праздника, на Опалихе поставили столы, и пивные буфеты, и две эстрады, — платную для публики и другую для почетных приглашенных.

Между буфетами оставили узкие проходы, чтобы за подарками к столам подходили по очереди и по одному человеку. Так придумал голова, для вящего порядка. Он был умный и рассудительный молодой человек.

Накануне праздника привезли подарки, сложили их в сарай и заперли.

Народ, слышав про увеселения и про подарки, толпами шел со всех сторон к древнему и славному городу Мстиславлю, крестясь издали на золотые маковки его многочисленных церквей. Говорили, что подарки-то подарками, а что, кроме того, будут еще на Опалихе бить фонтаны из водки и пить водки можно будет сколько хочешь.

— Хоть опейся.

Многие приходили издалеча. И заранее. Уже накануне праздника на городских улицах шлялось много дальних пришельцев. Больше всего было кре-

стьян, много было и фабричных рабочих. Были и мещане из соседних городов. Приходили, а кто и приезжал.

И вот уже несколько дней продолжалось празднование в городе. Вѣяли флаги на домах, висели гирлянды из зелени. Служились молебствия. Сделали парад войскам. Потом смотр пожарной команде. На торговой площади был базар, веселый и шумный.

Наехало много знатных посетителей, своих и заграничных, лиц чиновных и сановных, и много любопытных туристов. Местные жители толпами выходили на улицы и глазели на приезжих гостей. Знатные иностранцы были предметом особого внимания, не очень, впрочем, дружелюбного. Старались и нажиться: квартиры, пища, товары — все вздорожало.

Настал канун народного праздника. Город, как и все эти дни, горел праздничными огнями. В городском театре был назначен парадный спектакль, а после него — большой бал в губернаторском доме. А толпа валила на Опалиху. И надзора за ней не было. Раздача подарков назначена была с десяти часов утра, и городское начальство было уверено, что раньше раннего утра никто не пойдет на Опалиху. Но раньше раннего утра была ночь, и еще раньше был вечер. И с вечера стала толпа собираться па Опалиху, так что к полуночи перед сараями, отделявшими площадь народного гулянья от городского выгона, стало тесно, шумно и тревожно.

Говорили, что собралось несколько сот тысяч. Даже полмиллиона.

II

На Никольской площади у самого обрыва стоял домик Удоевых. Над обрывом разбит был сад, и из него открывался великолепный вид на нижние части города, Заречье и Торговый конец, и на окрестности.

С высоты все очищалось и казалось маленьким, красивым и нарядным. Мелкая, грязная Сафат-река отсюда являлась узкой лентой переменчивой окраски. Дома и торговые ряды стояли игрушечные, экипажи и люди двигались мирно, тихо, бесшумно и бесцельно, пыль вздымалась легкая, еле видная, и тяжкие ломовые грохоты доносились наверх едва слышной музыкой подземелья.

Против дома Удоевых, через площадь — казначейство, окрашенное охрой, унылое двухэтажное здание. Там служил глава семьи, статский советник Матвей Федорович Удоев.

Забор около дома Удоевых был серенький и прочный, беседка в саду стояла такая милая и уютная, сирень благоухала, плодовые деревья и ягодные кусты обещали что-то радостное и сладостное, — хозяйственно, основательно устроилась семья старого и почтенного чиновника.

Дети Удоева, пятнадцатилетний гимназист Леша и его две сестры, Надя и Катя, девицы двадцати и восемнадцати лет, тоже собрались идти на Опалиху, на праздник. Оттого они были так веселы и так радостно волновались.

Леша был белый, смешливый и прилежный мальчик. Особых, ярких примет он не имел: учителя в гимназии часто смешивали его с другим, тоже белолицым

и скромным гимназистом. Девицы тоже были скромные, веселые и добрые. Старшая, Надя, была поживее, непоседлива и порой даже шаловлива. Младшая, Катя, была совсем тихоня, любила помолиться, особенно в монастыре, и очень легко переходила от смеха к слезам и от плача к смеху, — и обидеть ее было легко, и утешить, и насмешить — нетрудно.

И мальчику, и девицам очень хотелось достать по кружке. Они еще заранее выпросились у родителей — идти на Опалиху.

Отпускали их на Опалиху неохотно. Мать ворчала. Отец молчал. Ему было все равно. Впрочем, тоже не нравилось.

Матвей Федорович Удоев был молчаливый, высокий, рябой и равнодушный человек. Пил водку, но в умеренном количестве, и почти никогда не спорил с домашними. Домашняя жизнь шла мимо него. Как и вся жизнь...

Проходила мимо, как облака, пролетающие и тающие на пронизанном солнечными светами небе... Мимо, как неумоимо шагающий странник, мимо ненужных ему зданий... Как ветер, веющий из страны далекой... Мимо, мимо, все мимо...

III

Леша и обе сестры стояли у ворот и смотрели на прохожих. Было шумно илюдно. Шли люди, нарядившиеся, и видно, что чужие. Шли больше в одну сторону — к Опалихе. Гул среди толпы наводил на детей смутную тревогу.

Подошли соседи, Шуткины: молодой человек, мальчик и две девушки. Перебросились несколькими незначительными словами, как часто встречающиеся и привыкшие друг к другу люди.

— Идете? — спросил старший Шуткин.

— Идем, утром! — ответил ему Леша. Надя и Катя улыбнулись, радостно и слегка смущенно. Шуткины чему-то засмеялись. Переглянулись. Пошли к себе домой.

— Они хотят раньше нас идти, — догадалась Надя.

— Ну и пусть, — сказала Катя и опечалилась.

Дом Шуткиных стоял рядом с усадьбой Удоевых. Выделялся своим неряшливым и ветхим видом.

Молодые Шуткины были все порядочные сорванцы и шалопаи. Пускались на дерзкие шалости. Подбивали порой и детей Удоевых на шалости, и нередко довольно крупные.

Шуткины были смуглые, черноволосые, как цыганы. Старший брат служил письмоводителем у мирового судьи. Лихо играл на балалайке. Сестры, Елена и Наталья, любили петь и плясать. Делали это с большим одушевлением. Младший брат Костя был отчаянный озорник. Учился в городском училище. Не раз грозили выгнать его оттуда. Пока еще держался кое-как.

Удоевы вернулись домой. Было неловкое и тревожное настроение. Не сиделось на месте.

Уже решили идти рано утром. Но сборы начались с раннего вечера. И чем ниже клонилось усталое солнце, тем сильнее нарастало беспокойство и нетерпение детей. Все выбегали к воротам, посмотреть, послушать, поболтать с соседями, с прохожими.

Больше всех беспокоилась Надя. Она очень боялась, что опоздают. Досадливо говорила брату и сестре: — Вы проспите, непременно проспите, уж я это предчувствую. И нервно поламывала тонкие, хрупкие пальцы, что у нее всегда служило признаком сильной взволнованности.

В ответ ей Катя спокойно улыбалась и уверенно говорила:

— Ничего, не опоздаем.

— Надо же и спать, — лениво сказал Леша.

И вдруг ему стало лень, и он подумал, что неприятно и ни к чему рано вставать, и не захотелось идти. Надя быстро и горячо возражала:

— Вот еще! Спать. Ничего не надо спать. Я совсем сегодня не буду спать.

— И ужинать не будешь? — поддразнивающим голосом спрашивал Леша.

И вдруг всем им стало казаться, что нарочно долго не дают ужина, и забеспокоились. Часто смотрели на часы. Приставали к отцу.

Надя ворчала:

— Что это, сегодня, как нарочно, часы у нас отстают. Ужинать давно пора. Этак немудрено и проспять завтра, если за полночь ужинать не дают.

Отец угрюмо говорил:

— Ну, чего пристаєте? То один, то другой.

И смотрел на детей не различающим взором, словно он видел в них только то, что их трое. Равнодушно вынимал часы и показывал. Было еще совсем рано. Никогда так рано не собирались ужинать.

Между тем в дом к Удоевым с разных сторон приходили вести о том, что на Опалиху уже собирают-

ся, — идут толпами, — что там уже толпа, — целый лагерь, с ночлегами и чуть ли даже не с палатками. И уже начали догадываться дети, что утром поздно будет идти на Опалиху, — уже тогда не добраться будет. И от этого настроение в доме Удоевых делалось тревожным не в меру.

Мимо дома Удоевых шли. Все больше и больше народа проходило. В толпе были и плохо одетые. Было много мальчишек. Было шумно, весело и празднично.

IV

У ворот дома Удоевых остановилось несколько человек. Слышался оживленный говор, спор, смех.

Леша и сестры опять выбежали за ворота.

Стояли кучкой несколько мужиков и баб. С ними несколько мещан из здешних. Разговаривали громко, недружелюбным тоном, словно переругивались.

Пожилая бойкая мещанка с остреньким и хитрым лицом, одетая в ситцевое платье, яркое от праздничной нарядности и шумящее от накрахмаленной новизны, с розовым платочком на масляно причесанной голове, говорила высокому, степенному крестьянину:

— Да вы бы на постоялом остановились.

Старик крестьянин отвечал неторопливо и вдумчиво, словно подыскивая точные слова для выражения значительной и глубокой мысли:

— Дерут больно ваши дворники. Дерут, слышь. Никак, значит, ты с ними не сообразишься. Обрадова-

лись. Креста на вороту нет у людей. Дорвались, слышь, до добычи. Дерут больно. Разбогатеть, знатко, охота.

Добродушный паренек, белолицый и светлоголовый, с вечной улыбкой на пухлых губах и с кроткими ясно-голубыми глазами, сказал:

— Есть добрые люди, что и даром пускают.

На него все посмотрели насмешливо. Заговорили:

— Есть, да не здесь.

— Поищи-ка таких, да и нам скажи.

Смеялись, почему-то злорадно, хотя, по-видимому, для злорадства не было никакого основания. Паренек ухмылялся, поглядывал вокруг невинными глазами и уверял:

— А меня пустили. Правда. Одна тут пустила.

— Гладок ты больно, — сказал рыжий и корявый мужик.

Подошли две сестры Шуткины, Елена и Наталья, во всем похожие очень одна на другую, так что странно было смотреть, что одна из них рыжая, а другая черноволосая, и их старший брат. Слушали и лукаво улыбались, и почему-то казалось сегодня, что улыбки у них скверные и сами они нечистые.

Подмаргивая сестрам Удоевым, старший Шуткин сказал:

— Рано вставать будете завтра?

— Да, — живо заговорил Леша, — встанем пораньше, до восхода, раньше всех придем.

И вдруг вспомнил, что никак невозможно прийти раньше всех, и стало досадно.

— Ну да, встанете, где вам! — сказал Шуткин. Сестры его смеялись нагло и лукаво. И непонятно было, зачем и чему они смеются. Старший Шуткин сказал:

— Что рано ходить! Это выйдет, как мы в прошлом году в монастырь ходили к заутрене.

— Вот то была потеха! — с хохотом крикнула Елена. И видно было, что и ей, и ее рыжей сестре все равно было, над чем смеяться, и вовсе не казалось странным и непристойным издеваться над собой же. Шуткин рассказывал:

— Это еще в прошлом году было. Легли мы рано, без огня. Выспались, встали. Часов у нас в те времена не было, они в ученье залежались по той простой причине, что у нас тогда было превышение расходов над доходами, и была необходимость прибегнуть к выпуску облигаций внешнего двенадцатипроцентного займа. Ну вот, мы и пошли. Пошли, пошли да и пришли. Видим, еще заперто все. Думаем, еще рано пришли. Сели мы на скамейку у врат обители святой. Сторож к нам подошел, спрашивает этак с довольно натуральным удивлением: — Вы что тут расселись? Ай дома, говорит, скучно стало? — А мы говорим ему очень даже непринужденно, — к заутрени, говорим, пришли; монахи-то ваши, говорим, разоспались сегодня. А он нам: эк вас, говорит, принесло ни свет ни заря! — да ведь еще только одиннадцать часов недавно било. Неужели, говорит, дожидаться будете? Пошли бы, говорит, домой. Ну, мы послушались разумного совета, пошли себе к дому. Было смеху.

И Шуткины, и Удоевы смеялись.

В это время прибежал, запыхавшийся и потный, младший Шуткин, Костя. Радостно кричал:

— Я уже слетал на Опалиху.

— Ну что? Как? — спрашивали его и свои и Удоевы. Костя с радостным хохотом говорил:

— Мужичья привалило видимо-невидимо. Все поле чисто запрудили.

— Вот чудаки-то! — с досадливым смехом сказал Леша. — Ведь в десять часов раздача начнется, а они с вечера пошли.

Старший Шуткин засмеялся, подмигнул сестрам.

— Кто вам это сказал? — крикнул он. — Начало в два часа будет, чтобы заморские гости успели посмотреть. Они рано не привыкли ложиться. И встают поздно.

— Нет, это неправда, в десять начало, — горячо возражал Леша.

— Нет, в два, в два, — в голос закричали все Шуткины. И по их наглому смеху и переглядыванию сразу было видно, что они лгут.

— Ну, я сейчас верно узнаю, — сказал Леша. Сбегал к секретарю городской управы, — его дом был недалеко. Вернулся ликующий. Кричал издали:

— В десять.

Шуткины посмеивались и уже не спорили.

— Да это вы нарочно придумали, — сказал Леша, — чтобы уйти пораньше, без нас. Ишь вы какие!

Оживленно пробежал гимназист Пахомов, тонкий и вертлявый мальчик. Наскоро поздоровался с Удоевыми. Шуткины смотрели на него недружелюбно.

— Ну что, идете? — спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал: — Мы с вечера. Многие с вечера идут.

Торопливо простился. Глянул на Шуткиных, хотел было поклониться, но передумал и убежал. Шуткины злобно смотрели за ним. Смеялись. Удоевым неприятно странен казался их смех, — к чему он?

— Чистоплюйчик! — презрительно сказал Костя. Елена злобно и громко сказала:

— Хвастунишка. Где ему! Врет.

Вечер был такой тихий и прекрасный, что ненужно грубые слова Шуткиных звучали особенно режущим разладом.

Солнце только что зашло. На облаках еще отражался пламенный отблеск его прощальных, его багряно-мертвых лучей.

Такой прекрасный, такой мирный был вечер... А жгучий яд мертвого Змия еще струился над землей.

V

Удоевы вернулись домой. Было жутко и неловко, и не знали, что с собой делать. Из-за всякого пустяка вспыхивали ссоры и споры. Непоседливость обуяла всех.

И Леша сделался вдруг беспокойным и тревожным, как Надя.

— Придем к шапочному разбору, — громко и досадливо сказал он.

Как часто бывает, эти незначительные слова решили дело. Надя сказала:

— Так пойдемте лучше с вечера.

И с ней все согласились и вдруг зарадовались.

Весь вдруг покраснев, Леша кричал:

— Конечно, уж если идти, так теперь. Побежали все трое к отцу, спрашивать.

— Мы передумали, пойдем с вечера! — кричала Надя, вертясь перед отцом.

Отец угрюмо молчал.

— Ночь-то одну не поспать, — не беда, — говорил Леша, словно стараясь убедить в чем-то отца.

Но отец продолжал молчать, и лицо его было по-прежнему неподвижно-угрюмо.

Дети оставили его. Побежали к матери. Мать заворчала.

— Папа позволил, — кричал Леша. И сестры смеялись, и болтали весело, звонко. С радостным визгом бегали все трое по дому, по саду. Торопили ужин.

Вспомнили о Шуткиных. Почему-то досадно было воспоминание о них. Леша сказал сестрам:

— Только Шуткиным ни гугу.

Сестры согласились.

— Само собой, — сказала Надя, — ну их!

Катя нахмурилась, протянула:

— Такие противные!

И сейчас опять радостно засмеялась.

За ужином дети ели торопливо, и не хотелось есть, и досадно было, что старики так копаются, как будто и нет ничего особенного.

Когда уже кончали ужин, отец вдруг уставился на детей и долго смотрел на них, так долго, что они присмирели под его угрюмо-равнодушным взглядом, и наконец сказал:

— С пьяными толкаться, — большое удовольствие. Надя быстро покраснела и принялась уверять:

— Да нет пьяных. Никаких нигде нет пьяных. Прав, даже странно, а только около нашего дома сегодня весь день совсем не видно было пьяных. Так что даже удивительно.

Катя весело засмеялась и сказала:

— Только о подарках и думают, и пить не хотят. Не до того.

Наконец кончился ужин.

Побежали — одеваться. Девушки хотели было принарядиться по-праздничному. Но мать решительно восстала.

— Куда? Зачем? С мужиками толкаться? — сердито говорила она.

И видно было по всей ее внезапно насторожившейся фигуре и по ее серому, незначительному лицу, что она ни за что не допустит порчи праздничного платья.

Пришлось девушкам надеть наряд попроще.

Наконец выбрались из дому. Побежали по крутому съезду к реке. И вдруг, едва спустились, увидели Шуткиных.

Пришлось идти вместе. Было досадно.

Досадно было и Шуткиным. Ни те, ни другие не придут раньше. Потерян случай похвастаться, подразнить.

Шуткины придумывали разные насмешки над Удоевыми. Несколько раз по дороге чуть не поссорились.

Вечер был как день, оживленный и шумный.

Над городом тихо мерцали звезды, как всегда, такие далекие, такие незаметные для рассеянного взгляда, и такие близкие, когда взглядишься в их голубые околицы.

Ясное бледное небо быстро темнело, и радостно было смотреть на неизменно совершающееся в нем таинство открывающей далекие миры ночи.

В монастыре звонили, — отходила всенощная. Светлые и печальные звуки медленно разливались по земле. Слушая их, хотелось петь, и плакать, и идти куда-то.

И небо заслушалось, заслушалось медного светлого плача, — нежное умиленное небо. Заслушались, тая, и тихие тучки, заслушались медного гулко-го плача, — тихие, легкие тучки.

И воздух струи́лся разнеженно-тепел, как от множества радостных дыханий. Приникла и к детям уми-ленная нежность высокого неба и тихо тающих туч-чек. И вдруг все окрест, и колокольный плач, и небо, и люди, — на миг все затлелось и стало музыкой.

Все стало музыкой на миг, — но отгорел миг, и стали снова предметы и обманы предметного мира.

Дети торопились из города, туда, на долину Опали-хи.

А в городе людно было и шумно, и казалось, что весело. Над домами веяли флаги. На улицах горели праздничные огни, — и от этого кое-где пахло про-тивным салом.

Толпы ходили по улицам, по съездам, по набе-режной реки Сафат. Шныряли и смеялись в толпе дети. И все было звонко и весело, как в сказке и как не бывает в жизни, обычной и серой. И от этого, вся насквозь закутанная общим гулом, людская молвь ка-залась звучащей и вдруг сбыточной.

Проезжали экипажи с почетными гостями, и улы-бались толпе любезные лица важных господ и госпож.

Слышался из экипажей тихий, невнятный, чуж-дый говор и легкий смех.

Враждебными глазами глядели на проезжающих богатых господ Шуткины. И злые и глупые у них ро-ждались мысли.

И уже когда выходили из города, старший Шут-кин, глупо скаля зубы, сказал:

— Ловко бы теперь подпалить город. Иметь свою приятность, я вам доложу.

Его сестры и Костя захохотали. Катя дрогнула, передернула плечиками, воскликнула тревожно:

— Что вы, как можно? Какие вы страхи говорите!

— То-то была бы суматоха, — восхищался Костя, прыгая и визжа.

— Да ведь и вы погорели бы, — с удивлением сказала Надя, — что ж вам радоваться!

— Ну вот, — возразила Наталья, — чему у нас гореть-то! Не жалко.

Надя посмотрела на нее. В слабом отблеске дымных праздничных плошек ее веснушчатое лицо и рыжие волосы являлись пламенеющими, и оттого что ее ноздри трепетали, казалось, что по лицу бежит огонь.

VI

До Опалихи добежали быстро, подгоняемые лихорадочно-радостным волнением.

Еще издали доносился смутный и грозный гул людского множества. Наводил жуткий и сладкий страх. В набегающей с порывами ночного ветра тьме они бежали. С ними, то перегоняя, то отставая, шли, торопились люди. Большие и малые. Мужчины, женщины, дети и старики. Больше молодежь. И все были так же взволнованы, и голоса звучали неровно, и смех поднимался и вдруг затихал.

За поворотом дороги вся долина Опалихи открылась разом темная, жутко-шумная, тревожная.

Кое-где горели костры, на окраине Опалихи, — и от этого поле казалось еще более темным.

Видны были огни костров и дальше. Но видно было, как они один за другим дымно гаснут вдали дымно-шумного поля. Должно быть, толпа гасила их ногами, топтала грубыми сапогами их внезапные, пламенно-стремящиеся души.

И еще более жуткий, и еще более сладкий страх охватил Удоевых, затрепетал за их дрогнувшими плечами. Но они храбрились.

Шуткиных радовало, что будет давка, беспорядок, смятение и потом можно будет долго рассказывать любопытные и значительные подробности разных происшествий.

Старший Шуткин смотрел на шумное темное поле, глупо ухмылялся и говорил с непонятной радостью:

— Беспременно кого-нибудь из слабеньких раздавят. Вот уж вы увидите.

Но не смели Удоевы поверить в близость несчастья и смерти. Это поле, где шумное множество, — и смерть. Не может быть.

— Да уж не без того, что раздавят, — странно-незнакомым голосом сказала одна из сестер Шуткиных.

И кто-то засмеялся грубо и невесело темным в темноте смехом.

— Ну да! — равнодушно сказала Катя.

Стало на минуту скучно. Оттого что темно. От мгновенных и неверных озарений костров. И стали смотреть, и слушать, и пошли вперед, куда-нибудь.

По озаренным кострами лицам, — по большей части очень молодым, — по беззаботным голосам и смеху казалось, что всем очень весело.

По всему полю ходили, стояли, сидели шумные множества людей.

Втягиваясь все более в это смутное многолюдство, Удоевы заразились опять веселостью и бодростью толпы, оставившей привычные людские кровы и стены.

Стало весело. Слишком весело.

Шуткины отошли куда-то и уже не встречались больше. Но зато Удоевы встречали других знакомых. Многих видели. Перекидывались веселыми разговорами. Сходились и опять расходились в толпе.

Шли вперед, а может быть, в сторону, и поле казалось бесконечным. И казалось так занимательно, что попадаются все иные лица.

— Да тут превесело. И не заметишь, как ночь пройдет, — говорила Надя, нервно позевывая и поеживаясь тоненькими плечиками.

И долго шли, останавливаясь, опять шли, путались среди костров, заслушивались чужих разговоров, сами разговаривали совсем с чужими людьми.

Сначала казалось, что идут к какой-то цели, — все ближе к ней, и все было определено и связно, хотя и тонуло в сладкой жуткости многолюдства.

Потом вдруг все стало отрывочным, потеряло связность, и какие-то клочки ненужных и странных впечатлений зароились вокруг...

VII

Все стало отрывочно и несвязно, и казалось, что предметы, нелепые и ненужные, возникали из ничего.

Из глупой и враждебной тьмы возникало неожиданно нелепое.

Посреди поля была когда-то для чего-то вырыта канава. Оставалась она и теперь, ненужная, безопасная, поросшая черной в темноте, колючей травой, — и казалась почему-то страшной и странно-значительной.

Дети подошли к ее краю. Два телеграфиста сидели, свесив ноги в канаву, и разговаривали. Вспоминали знакомых барышень и почему-то произносили, с большим удовольствием, непечатные слова.

Удоевы пошли по краю канавы. Увидели мост через нее, дощатый, с корявыми перилами. Пошли по мосту. Перила казались непрочными, неверными.

Леша сказал опасливо:

— Сюда толкнут, ноги поломаешь.

— А мы подальше уйдем, — сказала Надя.

В темноте голос ее звучал неуверенно и робко. Странно было, что нельзя видеть, как движутся говорящие губы.

И опять шли дальше, среди гулкого множества, переходя из озаренных кострами кругов в кромешную тьму, — и опять поле казалось бесконечным.

— Ну и куда ты идешь? — говорил убеждающим голосом один пьяненький оборвыш другому. — Задавят тебя, как клопа постельного.

— Пусть давят, — отвечал его товарищ, — жизни мне разве жалко? Задавят, плакать обо мне будет некому.

Увидели колодец. Он был прикрыт полусгнившими досками. Слабо удивились почему-то.

Пьяненький мужичок, мотая взъерошенной длинной головой, заглядывал в колодец и тянул:

— И-их.

Отбегал от колодца, вскрикивал:

— Маланья!

И опять возвращался к ветхому срубу мелкими падающими шагами пьяного человека.

Поглядели. Посмеялись. Прошли. Долго еще слышали его пьяные вскрики.

— Я нож припас, — хриплым голосом сказал длинный и тощий оборванец.

Его товарищ, такой же оборванный и почти такой же длинный, ответил сладким тенорком:

— И я.

— На всяк случай, — опять послышался хриплый голос первого.

И слышно было, как хихикает другой.

В зыбкой темноте, в нервно-трепетном озарении костров, вдыхая сладковатый дым сырого дерева, шли дети куда-то, Леша вперед, за ним обе сестры.

Притворялись, что не страшно. Опять поле казалось бесконечным, опять путали костры, а по усталости в ногах думали, что идут уже давно.

— Колесим вокруг да около, — сказал Леша. И этими словами сказалась общая мысль. Кате стало грустно, а Надя притворно весело сказала:

— Ничего, дойдем, куда надо.

Вдруг Леша упал. Ноги мелькнули вверх, головы не видно. Сестры бросились к нему. Помогли выбраться, — оказалось, что он попал руками и головой в какую-то неожиданную яму.

— Надо подальше от этого места, здесь опасно, — сказала Надя. Но и потом не раз спотыкались на неровностях почвы.

VIII

— И баре туда же, — слышался возле Удоевых гнусный тенорок.

Не видно было, кто говорит и кто смеется, сочувствуя злым словам.

И поняли дети, что здесь вся толпа насквозь была враждебная, чужая, непонятная и непонимающая. И там, где горели костры, были видны липа, которые сердито хмурились, глядя на гимназиста и его сестер.

Эти враждебные взоры смущали детей. Непонятно было, за что вражда? Откуда она выросла?

Какие-то чужие люди хмуро, неприветливо смотрели на проходящих мимо детей.

Порой слышались циничные шутки. И так как это было среди громадной толпы и никто не думал заступиться, то детям становилось страшно.

Пьяный мастеровой встал от костра, подошел к детям.

— Мамзель! — воскликнул он. — Со свиданием имею честь поздравить. Очень приятно. И всякое можем удовольствие доставить вам. Желаем поцеловаться.

Он покачнулся. Снял картуз. Облапил Катю. Поцеловал прямо в губы. Грохочущий хохот раздался в толпе. Катя заплакала.

Леша крикнул что-то, бросился на пьяного и оттолкнул его.

Пьяный свирепо заворчал:

— По какому праву? Толкаться? А ежели я желаю поцеловать? Какое в этом есть неудовольствие?

Сестры схватили Лешу за руки. Быстро увлекли в темноту. Были очень испуганы. Обида жгла томительно.

Захотелось уйти из этого темного и нечистого места. Но не могли найти дорогу. Опять огни костров путали, ослепляли глаза, являли мрак чернее мрака и делали все непонятным и разорванным.

Скоро костры стали гаснуть. И стало равно темно в воздухе, — и черная ночь приникла к гулкому полю, и отяжелела над его шумами и голосами. Оттого что не спали и были в толпе, казалось, что эта ночь — значительная, единственная и последняя.

IX

Еще не долго побыли, и уже стало противно, тошно, страшно. В темноте творилась для чего-то ненужная, неуместная и потому поганая жизнь. Беспокровные люди, далекие от своих уютов, опьянялись диким воздухом кромешной ночи.

Они принесли с собой скверную водку и тяжелое пиво, и пили всю ночь, и горланили хрипло-пьяными голосами. Ели вонючие снеди. Пели непристойные песни. Плясали бесстыдно. Хохотали. То там, то здесь слышалась нелепая мышинная возня. Гармоника гнусно визжала.

Пахло везде скверно, и все было противно, темно и страшно. И ухе повсюду голоса раздавались хмельные и хриплые. Кое-где обнимались мужчины с женщинами. Под одним кустом торчали две пары ног, и слышался из-под куста прерывистый, противный визг удовлетворяемой страсти.

Кое-где, на немногих свободных местах собирались кружки. Внутри что-то делалось.

Какие-то противные, грязные мальчишки откалывали “казачка”. В другом кружке пьяная безноса баба неистово плясала и бесстыдно махала юбкой, грязной и рваной. Потом запела отвратительным, гнусным голосом. Слова ее песни были так же бесстыдны, как и ее страшное лицо, как и ее ужасная пляска.

— Зачем у тебя нож? — строго спрашивал кого-то городской.

— Человек я рабочий, — слышался наглый голос, — инструмент захватил по нечаянности. Могу и пырнуть.

Хохот раздался.

И вот, в этой противной толпе, брошенные в гнусный разгул не в пору разбуженной жизни, шли дети и терялись в многолюдстве. Поле оказалось бесконечным, потому что они кружили на небольшом пространстве.

Проходить становилось все труднее, — все теснее делалось вокруг.

Казалось, что встают и встают окрест неведомо откуда взявшиеся люди.

И вдруг вокруг Удоевых сдвинулась толпа. Стало тесно. И сразу показалось, что по земле стелется и ползет к лицу тяжкая духота.

А с темного неба темная и странная струилась прохлада. Хотелось глядеть вверх, на бездонное небо, на прохладные звезды.

Леша привалился к Надиному плечу. Мгновенный сон охватил его...

... Летит в синем небе, легкий, как вольная птица...

Толкнул кто-то. Леша проснулся. Сонным голосом сказал:

— А я чуть не заснул. Что-то даже видел во сне.

— Уж ты не спи, — озабоченно сказала Надя, — еще растеряемся в толпе.

— А я бы заснула, — тихо и жалобно сказала Катя.

— Право, как бы не растеряться, — говорила Надя. Старалась подбодриться. Заговорила живо:

— Лешу поставим в середине.

— Ну да, — сказал Леша вяло.

Он был бледен и странно скучен.

Но сестры поставили его между собой. Развлекались тем, что оберегали его от толчков. Пока толпа не нарушила их порядка, смятенно толкая их во все стороны.

— Мы пришли, теперь бы и раздавать, — слышался странно веселый и равнодушный голос. И кто-то отвечал:

— Погоди, — уже утром господа припожалуют, которые к раздаче приставлены.

Х

Было тесно и душно, хотелось выбраться из толпы, на простор, вздохнуть всей грудью.

Но не могли выбраться. Запутались в толпе, темной и безликой, — как челнок запутался в тростнике.

Уже нельзя было выбирать дорогу, повернуть по воле туда или сюда. Приходилось влечься вместе с толпой, — и тяжки, и медленны были движения толпы.

Удоевы медленно двигались куда-то. Думали, что идут вперед, потому что все шли туда же. Но потом вдруг толпа тяжело и медленно пятилась. Или медленно влеклась в сторону. И тогда уже совсем непонятно стало, куда надо идти, где цель и где выход.

Завидели близко, немного в стороне, темные стены. К ним почему-то захотелось выбраться. Что-то знакомое, домашнее почудилось в них.

Ничего не сказали друг другу, но стали протискиваться к этим темным стенам.

И скоро стояли около одного из народных театров.

Казалось, что около стены есть что-то знакомое, защитное, — уют какой-то, — и потому не так было страшно.

Темный верх стены подымался, закрывал половину неба, и от этого терялось жуткое впечатление стихийно-безбрежной толпы.

Дети стояли, прижавшись к стене. Робко смотрели на серые, тусклые облики людей, которые колыхались так близко. И жарко было от дыханий близкого множества.

А с неба холодная проникала порывами прохлада, и казалось, что душный земной воздух борется с небесной прохладой.

— Идти бы лучше домой, — жалобно сказала Катя. — Все равно не протолкаться.

— Ничего, подождем, — ответил Леша, стараясь казаться бодрым и веселым.

В это время тяжелое по толпе прошло движение, — точно протискивался кто-то к стене, прямо на детей. Их прижали к стене, — и совсем стало душно и тяжело дышать.

Потом толпа с усилием раздалась, и казалось, что стена дрожит и колеблется, — и из толпы словно вынырнули два очень бледные студента с ношей.

Несли девочку, и она казалась неживой. Бледные руки ее свешивались, как мертвые, и на лице с тесно сжатыми губами и с закрытыми глазами лежала тусклая синева.

В толпе слышался ропщущий говор:

— Слабенькая, а лезет.

— Чего родители смотрят, — пустили какую!

В смущенном переговаривании толпы слышалось желание оправдать что-то недолжное, — и казалось, что эти люди на миг поняли, что не надо им быть здесь и теснить друг друга.

XI

Опять грубо и тяжело задвигалась толпа. Тяжелые толчки мучительно отдавались в теле. Грубые сапоги наступали на легко обутые детские ноги.

Не устоять было у стены. Оттолкали, оттерли. Сдавили тесным кольцом. Опять стало страшно в душном многолюдстве.

Головы детей с усилием подымались вверх, и уста их жадно ловили перемежающиеся струи небесной прохлады, меж тем как груди их задыхались в глухой и непонятной давке.

Не то двигались куда-то, не то стояли. И уже стало непонятно, много ли прошло времени.

Мучительная жажда простора томила детей.

И жажда.

Она медленно, уже давно, подкрадывалась. Вдруг сказала жалкими словами.

— Пить хочется, — сказал Леша.

И говоря это, он почувствовал, что уже губы его давно сухи и во рту неловко и томительно от сухости.

— Да и мне тоже, — сказала Катя, с усилием двигая запекшимися и побледневшими губами.

Надя молчала. Но по ее побледневшему и вдруг осунувшемуся лицу и по ее сухо горящим глазам было видно, что и ее мучит жажда.

Пить. Хоть глоточек бы воды. Вода, святая, милая, прохладная, свежая.

Но негде было взять воды.

И прохлада с далекого неба становилась все мгновенное, зыбкая, неверная, — пахнет в жадно раскрытые рты и сгорает.

Надя икнула. Легонько дрогнула. Опять икнула, и опять, и опять.

Не удержаться. Такая мучительная в тесноте и духоте икота!

Леша испуганно посмотрел на Надю. Какая она бледная!

— Господи, — сказала Надя, икая. — Какая мука! Охота была идти.

Катя заплакала тихонько. Быстрые мелкие слезинки бегут одна за другой, — и не унять слез, и не отереть, — рук не поднять, так сдавили.

— Что вы толкаетесь! — пищал где-то близко тоненький голосок. — Вы меня давите.

Хриплый, пьяный бас отвечал злобно:

— Что? Я тебя давлю? А тебе такая церемония не нравится? Ну, ты меня дави. Тут все равны, черт тебя дери.

— Ай, ай, давят, — завизжал опять тот же тоненький голосок.

— Не визжи, сопляк, — хрипел свирепый бас. — Уже придешь домой, аль приволокут. А и быть тебе, щенок, без кишок.

Через короткое мгновение тонкий и резкий пронесся визг, без слов, жалобный и жалкий. И в ответ ему свирепый скрип:

— Не визжи.

Потом задавленный тонкий вопль.

Кто-то вскрикнул:

— Младенца задавили! Косточки хрустят. Царица небесная!

— Косточки, косточки хрустнули! — завизжала баба.

Голос ее слышался близко, но ее за толпой не было видно.

И потом показалось, что она кричит где-то очень далеко. Оттолкали ее от этого места? Или она задохнулась?

Дети были так сдавлены толпой, что трудно было дышать. Переговаривались хриплым шепотом. Не повернуться. С трудом могут посмотреть друг на друга.

И страшно смотреть друг на друга, на милые лица, омраченные свинцовым в тусклом предрассветном сумраке страхом.

Надя продолжала икать, икнула и Катя.

Чувствовалось окрест, во всей этой, так страшно и так нелепо сжатой толпе, одно желание мучительное, и потому еще не осознанное, и потому еще более мучительное: освободиться от этих страшных тисков.

Но не было выхода, — и бешенство закипало в безумной толпе, нелепо сдавленной по своей воле в этом широком поле, под этим широким небом.

Люди зверели и со звериной злобой смотрели на детей.

Слышались хриплые, страшные речи. Говорил кто-то близкий и равнодушный, — так странно спокойный, — что уже есть задавленные до смерти.

— Упокойничек-то стоит, так его и сжало, — слышался где-то близко жалобный шепот, — сам весь синий, страшный такой, а голова-то мотается.

— Слышишь, Надя? — спросила шепотом Катя. — Вон, говорят, мертвый стоит, задавленный.

— Врут, должно быть, — шепнула Надя, — просто в обмороке.

— А может быть, и правда? — сказал Леша. И страх слышался в его хриплом голосе.

— Не может быть, — спорила Надя, — мертвый упал бы.

— Да некуда, — отвечал Леша. Надя замолчала. Опять икота начала мучить ее. Седая косматая старуха, махая над головой руками, словно плывя, вылезла из толпы прямо на Удоевых. Вопя неистово, она протолкалась мимо них, и было так тесно и тяжело, что казалось, что она проходит насквозь, как гвоздь.

Ее неистовый вопль, ее мучительное появление в бледно-мутной предрассветной мгле были, как призрак тяжелого сна. И с этого времени уже все в сознании задыхающихся детей было истомой и бредом.

XII

Наконец, после ночи томительной и страшной, стало быстро светать.

Быстрая, радостная, детски веселая, запылала, засмеялась смехами розовых тучек заря. Золотые в мгlistой дали вспыхнули блески. И пока еще земля была темна и сурова, уже небо все подыхало радостью, всемирной радостью вечного торжества. И люди, — что же люди! Все еще только люди!..

Между темной, такой грешной, такой обремененной землей и озаренным вновь блаженным небом простерся густой пар от дыханий великого множества людей.

Ночная прохлада, свиваясь в золотые небесные сны, сгорала в легких тучах, в заревых лучах.

А толпа, так странно, так неожиданно озаренная сверху безмятежным заревым смехом, — эта громадная земная толпа насквозь пронизана была злобой и страхом.

Тяжко двигалась, стремясь вперед, — и вновь проходящие из города тупо и злобно теснили стоявших впереди вперед, к сараям с подарками.

Под вечным золотом зари тусклое олово бедных кружек влекло людей в смятение и тесноту.

В истоме и бреду тяжкие, медленные мысли теснились в сознании детей, в темное сознание задыхающихся, и каждая мысль была страхом и тоской. Жестокая надвигалась гибель. Своя гибель. Гибель милых. И чья больнее?

Словно просыпаясь порой, принимались кричать, и жаловаться, и просить.

Хриплые голоса их слабо взлетали, — раненой птицей с поломанным крылом, — и жалко падали и тонули в глухом гуле тупой толпы.

Тускло-суровые взоры угрюмых людей были им ответом.

Тоска теснила дыхание, нашептывала злые, безнадежные слова.

И уже не было надежды уйти. Люди были злы. И злы и слабы. Не могли спасти, не могли спастись.

Мольбы слышались повсюду, вопли, стоны — напрасные мольбы.

И кого можно было умолить здесь, в этой толпе?

Уже как будто не люди, — казалось задыхающимся детям, что свирепые демоны угрюмо смотрят и беззвучно хохочут из-за людских сползающих, истлевающих личин.

И дьявольский мучительно длился маскарад. И казалось, — не будет ему конца, — не будет конца кипению этого сатанинского котла.

XIII

Стремительно встало солнце, радостно возбужденный, злой Дракон. Пахнуло жарким дыханием Змия. Сжигая последние струи прохлады, возносился злой Дракон.

Толпа всколыхнулась.

Гул голосов пронесся над толпой.

Так отчетливо все стало кругом. Как будто, сдержанные невидимой рукой, упали ветхие личины.

Демонская злоба кипела окрест, в истоме и бреду. Свирепые сатанинские хари виднелись повсюду.

Темные рты на тусклых лицах изрыгали грубые слова. Леша застонал. Рыжий черт, сверкая сухими глазами, зарычал на него:

— Попал сюда, так и терпи. Мы тебя не звали. Помнись, сволочь сахарная. Начисто кишки выдавим.

Ярый Змий ярил людей.

Казалось, что солнце поднялось стремительно, и уже вдруг стало высокое и беспощадное.

И стало так жарко и душно, и такая жажда томила всех.

Кто-то рыдал.

Кто-то молил жалобно:

— Хоть бы водиночку с неба!

Катя икала.

Иногда показывались чьи-то странно и страшно знакомые лица. Как все лица в этой озверелой толпе, и они застыли в своем ужасном преображении.

На них было еще страшнее смотреть, чем на незнакомых, потому что озверение знакомого лица чувствовалось еще большее.

Леша почувствовал, что кто-то давит на его плечи. Так тяжело вдавливал в землю. В темную, жестокую землю.

Кто-то старался влезть.

Было несколько остро мучительных минут. Потом на краткий миг облегчение. Потом взлезший наверх наступил сапогом на Лешину голову. Леша услышал тихий Надин вскрик.

Кто-то темный и грузный пошел поверху в сторону, по плечам и головам, и странно колебался в воздухе.

Леша поднял голову вздохнуть воздухом высокого простора. Но было жарко в высоте.

Небо сияло ясное, торжественное, недостижимо высокое, нежно усеянное перламутрами перистых облаков на западной половине.

Море торжественного света изливалось от только что поднявшегося солнца. И солнце было новое, яркое, величественное и свирепо-равнодушное. Равнодушное навсегда. И все его великолепие сверкало над гулом томления и бреда.

Кто-то тяжело топтался на Лешиных ногах.

Катя икала тяжело и мучительно.

— Да перестань! — хрипло крикнул Леша.

Катя захохотала. Смех с икотой был странен и жалок. И уже над всей шириной поля носился тяжелый, непрерывный гул криков, стонов, визгов.

И тогда настали минуты взаимной бессмысленной злобы. Люди били друг друга, сколько позволяла теснота. Пинали друг друга ногами. Кусались. Хватали друг друга за горло, душили. Более слабых затискивали на землю и становились на них. Крики и стоны, мольбы, проклятия, все, что слышал Леша, он повторял безжизненным, задушенным голосом, и, как еще две куклы, за ним лепетали то же обе сестры.

XIV

Мольбы и стоны вдруг стали тихи и дремотны.

Настали краткие и странные полчаса затишья, томления, усталости без конца, тихого, жуткого бреда.

Гул бреда носился над толпой, тихий гул, такой придавленный, такой жуткий.

И уже бред был разлит во всем, и у всех трех сквозь дым бреда едва теплилось страшное сознание гибели.

Обе сестры тяжело икали.

— Ангелочек божий! — взвизгнул кто-то близко.

Утренняя дремота полузадавленных в толпе людей прерывалась изредка дикими воплями отчаяния.

И опять становилось тихо, и жуткий гул носился над толпой, не подымаясь в ликующие просторы, к неподвижному злему Змию высот.

Кто-то икал мучительно. Казалось, что это мучительно умирает кто-то.

Леша вслушался и понял, что это икает Надя.

Леша с усилием повернул к ней голову.

Надины посинелые губы открывались и закрывались странным, механическим движением. Глаза не глядели, и лицо приняло тусклый, мертвенный оттенок.

XV

Промчался томный срок затишья. И вдруг буря нелепых гулов и воплей завывала над смятенной толпой. Дикие восклицания бичевали воздух.

По искаженным злобой лицам видно было, что здесь уже не было людей. Дьяволы сорвали свои мгновенные маски и мучительно ликовали.

Несколько человек в толпе в эти минуты вдруг сошли с ума. Они выли, и ревели, и кричали что-то нелепое и ужасное.

Из-под ног людей часто вырывались предсмертные дикие вопли, — там, на земле, повергнутые, сбитые с ног уже не могли подняться.

И эти вопли потрясли души немногих, еще оставшихся людьми в страшной толпе человекообразных дьяволов.

Стояли рядом оборванный хулиган и его подружка, развратная и пьяная. Они смотрели друг на друга и говорили злобные слова. Хулиган странно двигал плечом.

Усилием бешеной злобы освободил руку. В руке сверкнул нож. В ярких лучах солнца таким острым смехом задрожала быстрая сталь.

Нож вонзился в тело блудницы. Завизжала:

— Проклятый!

Захлебнулась своим визгом. Умерла.

Хулиган завопил. Нагнулся к ней. Грыз ее красную, толстую щеку.

— Нас задавили совсем, мы сейчас умрем, — хриплым голосом сказала Катя.

Леша углом глаза глянул на нее, как-то бессмысленно засмеялся и сказал громко и отчетливо:

— Надю задавили. Она холодная.

И крупные по его лицу катились слезы, а бледные губы бессмысленно улыбались.

Катя молчала. Лицо ее стало синеть и глаза потухли.

Леша задышался.

Его ноги ступили на что-то мягкое. Резкая вонь поднималась с земли. Что-то, тяжело хрипя, ворочалось внизу.

— Воняет! — говорил сзади Леша странно равнодушный голос. — Бабу свалили, живот ей выдавили.

Посинелое Катино лицо странно, безжизненно поникло. Леше стало вдруг холодно.

XVI

— Шесть часов, — сказал кто-то.

По голосу было слышно, что говорит дюжий, спокойный человек, которому не страшно в толпе.

— Четыре часа еще жить, — ответил ему робкий, задышающийся шепот.

— Чего ждать? — злобно рявкнул кто-то гулким голосом.

— Помрем все начисто, — спокойно и тихо ответил женский глубокий голос.

Кто-то отчаянно завопил срывающимся полудетским криком:

— Братцы, да неужто нам еще столько времени давиться!

Взбудораженный гул метнулся по полю, как шумная стая пугливых, чернокрылых птиц. Метнулся, завыл, колыхнул. И навстречу ему метнулась толпа.

— Пора, братцы! — орал чей-то визгливый голос. — Не зевай, черти лешие все себе заберут.

— Иди, иди! — гудело кругом.

Стремительно и тяжело двигалась уже вся толпа.

А на Лешу неподвижные смотрели склоненные лица сестер, холодных и тяжелых на его плечах.

Разбившиеся волосы милых щекотали Лешины бледные щеки. Ноги не переступали. Толпа несла всех трех: и Лешу, и сестер.

— Раздают! — закричал кто-то.

Видно было, и, казалось, недалеко, как летели в воздухе какие-то пестрые узелки.

— На шарап! — угрюмо хрипел измученный, тощий мужик.

— Чего стали, идите! — неистово кричали задние передним.

— Наших не пускают, анафемы вперед лезут, а мы стой, годи! — свирепо орал кто-то.

И со всех сторон неслись бешеные крики:

— Братцы, вали напролом!

— Да что на него, лешего, смотреть, — за горло его хватай, да под ноги!

— Вали вперед, чего смотреть!

— Не дадут, сами возьмём!

— О-ой, раздавили!

— Батюшки, кишки вон лезут!

— Подавись своими кишками, сволочь треклятая!

— Режь ее, стерву астраханскую!

— Давай, не задерживай! — ревел впереди свирепый голос.

XVII

Везде вокруг свирепые грозили, отчаянные лица.

Тяжелый поток. И все та же злоба...

Нож разрезал платье. И тело.

Завыла. Умерла.

Так страшно.

Безжизненно смотрят на него странно посиневшие лица милых...

Кто-то хохочет. О чем?..

Близок конец. Вот уже стены сараев...

В поднятой высоко руке дюжего парня тускло светилась в золотом солнечном свете кружка. И рука

была странно и ненатурально воздвигнута к небу, как живой шест.

Кто-то метнулся вверх головой. Выбил кружку, — так слабо держала ее посинелая от натуги рука.

Кружка падала медленно, грузно, описывая дугу. Скользнула по чьей-то спине.

Дюжий парень скверно выругался.

Он был красный, потный, и белки его глаз, вытращенных от натуги, казались крупными.

Нагнулся за кружкой с большим усилием. Видно было, как двигаются его локти.

Вдруг он поник, глухо крикнул.

Кто-то повалился на его нагнутую спину. Повалился и зарычал. Барахтаясь, пополз вперед по спине упавшего. Еще кто-то сзади навалился на обоих животом. Все трое осели. Послышались глухие вопли. Верхний поднялся и казался очень высоким. Толпа слилась над поверженными, и по ее грузному оседанию можно было заметить, как приникли к земле двое задавленных.

Дюжий мужик с покрасневшим до багровой синевы лицом, двигая локтями и плечами, высвободил правую руку и протянул ее вперед. Его сдавили. Рука странно моталась на чужом плече, красная возле красного платка.

Баба в красном платке повернулась, вцепилась зубами в руку дюжего мужика. Непонятна была ее злость.

Свирепо вопя, мужик вырвал руку. Отчаянно заработал локтями. Казалось, что он растет.

Его выперли вверх. Упал на чьи-то головы, и злобные под ним загудели голоса. Встал коленями на чьи-то плечи. Опять упал.

Падая, вставая, опять падая, становясь на четвереньки, он пробирался вперед, и толпа была под ним сплошной, неровной мостовой, тяжело движущимся глетчером.

И уже многие выталкивались локтями вверх.

Видно было несколько человек, неловко бегущих по плечам и головам к крышам буфетов.

И уже многие взбирались на крыши.

XVIII

Две бабы сцепились. Молча, угрюмо. Одна залезла пальцами в рот другой и рвала ей рот. Видна была кровь. Послышался отчаянный визг.

Резались ножами, чтобы проложить дорогу, и убитых толкали под ноги. Иногда убийца падал на убитого, и оба никли под ногами множества свирепых дьяволов.

Многие упали в овраг. На них валились другие. В короткое время овраг был завален тяжело вопящими, мучительно умирающими людьми. И дьяволы топтали их ногами, обутыми в тяжелые сапоги.

Рыжий парень перед Лешей давно уже лез вверх, отчаянно работая локтями, напирая на плечи соседей. Он кричал что-то невнятное и хрипло хохотал.

Сначала непонятно было, чего он хочет и что с ним делается. Вдруг он начал быстро подниматься и на короткое время закрыл перед Лешиными глазами все, что было впереди.

Нелепые крики его падали в тупую толпу сверху острыми, свистящими бичами, и странно было слушать нисходящий, казалось, с неба гнусный голос. И тогда слова его стали ясными.

И слова его были — кощунство, и хула, и скверная брань.

Потом он вдруг обрушился куда-то и ударил каблуком Лешу в лоб.

Но сейчас же начал подниматься. Стал на четвереньки. Вцепился в русую косу полу задавленной девушки. Встал на чьи-то плечи.

Он был красный, рыжий, хохотал, неровно шел вперед, по плечам и головам ступая без разбора тяжелыми сапогами.

Похожий на дьявола, медленно шел он над сжатой, тяжко ревущей толпой и скрывался вдали.

И опять казалось Леше, сквозь страшное томление, и тошноту, и багровый туман в глазах, что кто-то громадный, головой до неба, — и еще выше, человек или дьявол или человек-дьявол, идет по головам умирающих в задыхающейся толпе людей и вержет на них страшные богохульства.

Толпа впереди продавливалась в узкие проходы между деревянными шалашами. Оттуда слышались вопли, визги, стоны. Мелькали шапки и клочки одежды, почему-то взлетающие вверх.

Чья-то русая голова несколько раз стукнулась об острый угол балагана, поникла, пронеслась порывом вперед и вдруг исчезла.

Казалось, что между балаганами теснятся все более и более высокие люди. Странно было видеть головы наравне с крышей балагана. Шли по телам поверженных.

Из-за балаганов доносился торжествующий рев победителей. Мелькали какие-то пестрые лохмотья, — что-то перекидывалось по воздуху.

И вот Лешу и сестер втолкали в один из проходов между балаганами.

Здесь было нестерпимо тесно, — Леше казалось, что все его кости сломаны. И страшно отяготели на его плечах изломанные тела сестер.

Но кончился узкий проход.

За балаганом стало просторно, светло, радостно.

“Сейчас умру”, — подумал Леша и счастливо засмеялся.

На мгновение Леша увидел чье-то красное, радостное лицо и человека, потрясавшего узелком над головой.

И упал.

Обе сестры свалились на него. Наполовину прикрыли его своими измятыми телами.

Леша еще слышал, как по нем бежали, дробно переступая по спине. Тяжко во всем теле отдавались свирепые удары дьявольских ног.

Чей-то каблук ступил на затылок.

Мгновенное было ощущение тошноты.

Смерть.

Максим Горький

Васька Красный

Недавно в публичном доме одного из поволжских городов служил человек лет сорока, по имени Васька, по прозвищу Красный. Прозвище было дано ему за его ярко-рыжие волосы и толстое лицо цвета сырого мяса.

Толстогубый, с большими ушами, которые торчали на его черепе, как ручки на рукомоynике, он поражал жестоким выражением своих маленьких бесцветных глаз; они заплыли у него жиром, блестели, как льдины, и, несмотря на его сытую, мясистую фигуру, всегда взгляд его имел такое выражение, как будто этот человек был смертельно голоден. Невысокий и коренастый, он носил синий казакин, широкие суконные шаровары и ярко вычищенные сапоги с мелким набором. Рыжие волосы его вились кудрями, и, когда он надевал на голову свой щегольской картуз, они, выбиваясь из-под картуза кверху, ложились на околыш картуза, — тогда казалось, что на голове у Васьки надет красный венок.

Красным его звали товарищи, а девицы прозвали его Палачом, потому что он любил истязать их.

В городе было несколько высших учебных заведений, много молодежи, поэтому дома терпимости составляли в нем целый квартал: длинную улицу и несколько переулков. Васька был известен во всех домах этого квартала, его имя наводило страх на девиц, и, когда они почему-нибудь ссорились и вздорили с хозяйкой, — хозяйка грозила им:

— Смотрите вы!.. Не выводите меня из терпения, — а то как позову я Ваську Красного!..

Иногда достаточно было одной этой угрозы, чтоб девицы усмирились и отказались от своих требований, порой вполне законных и справедливых,

как, например, требование улучшения пищи или права уходить из дома на прогулку. А если одной угрозы оказывалось недостаточно для усмирения девиц, — хозяйка звала Ваську.

Он приходил медленной походкой человека, которому некуда было торопиться, запирался с хозяйкой в ее комнате, и там хозяйка указывала ему подлежащих наказанию девиц.

Молча выслушав ее жалобу, он кратко говорил ей: — Ладно...

И шел к девицам. Они бледнели и дрожали при нем, он это видел и наслаждался их страхом. Если сцена разыгрывалась в кухне, где девицы обедали и пили чай, — он долго стоял у дверей, глядя на них, молчаливый и неподвижный, как статуя, и моменты его неподвижности были не менее мучительны для девиц, как и те истязания, которым он подвергал их.

Посмотрев на них, он говорил равнодушным и сильным голосом:

— Машка! Иди сюда...

— Василий Мироныч! — умоляюще говорила девушка. — Ты меня не тронь! Не тронь... тронешь — удавлюсь я...

— Иди, дура, веревку дам! — равнодушно, без усмешки говорил Васька.

Он всегда добивался, чтоб виновные сами шли к нему.

— Караул кричать буду... Стекла выбью!.. — задыхаясь от страха, перечисляла девица все, что она может сделать.

— Бей стекла, — а я тебя заставлю жрать их! — говорит Васька.

И упрямая девица сдавалась, подходила к Палачу; если же она не хотела сделать этого, Васька сам шел к ней, брал ее за волосы и бросал на пол. Ее же подружки, — а зачастую и единомышленницы, — связывали ей руки и ноги, завязывали рот, и тут же, на полу кухни и на глазах у них, виновную пороли. Если это была бойкая девица, которая могла и пожаловаться, ее пороли толстым ремнем, чтобы не рассечь ее кожу, и сквозь простыню, смоченную водой, чтоб на теле не оставалось кровоподтеков. Употребляли также длинные и тонкие мешочки, набитые песком и дресвой, — удар таким мешком по ягодицам причинял человеку тупую боль, и боль эта не проходила долго...

Впрочем, жестокость наказания зависела не столько от характера виновной, сколько от степени ее вины и симпатии Васьки. Иногда он и смелых девиц порол без всяких предосторожностей и пощады; у него в кармане шаровар всегда лежала плетка о трех концах на короткой дубовой рукоятке, отполированной частым употреблением. В ремни этой плетки была искусно вделана проволока, из которой на концах ремней образовывалась кисть. Первый же удар плетки просекал кожу до костей, и часто, для того, чтобы усилить боль, на иссеченную спину приклеивали горчичник или же клали тряпки, смоченные круто соленой водой.

Наказывая девиц, Васька никогда не злился, он был всегда одинаково молчалив, равнодушен, и глаза его не теряли выражения ненасытного голода, лишь порой он прищуривал их, отчего они становились острее...

Приемы наказаний не ограничивались только этими, нет — Васька был неисчерпаемо разнообразен,

и его изощренность в деле истязания девиц возвышалась до творчества.

Например, в одном из заведений девица Вера Коптева была заподозрена гостем в краже у него пяти тысяч рублей. Гость этот, сибирский купец, заявил полиции, что он был в комнате Веры с нею и ее подружкой Сарой Шерман; последняя, посидев с ним около часа, ушла, а с Верой он оставался всю ночь и ушел от нее пьяный.

Делу дан был законный ход; долго тянулось следствие: обе обвиняемые были подвергнуты предварительному заключению, судились и, по недостатку улик, были оправданы.

Возвратясь после суда к своей хозяйке, подружки снова попали под следствие; хозяйка была уверена, что кража — дело их рук, и желала получить свою долю.

Саре удалось доказать, что она не участвовала в этой краже; тогда хозяйка ревностно принялась за Веру Коптеву. Она заперла ее в баню и там кормила соленой икрой, но, несмотря на это и многое другое, девица не сознавалась, где спрятала деньги. Пришлось прибегнуть к помощи Васьки.

Ему было обещано сто рублей, если он допытается, где деньги.

И вот однажды ночью в баню, где сидела Вера, мучимая жаждой, страхом и тьмой, явился дьявол.

Он был в черной лохматой шерсти, а от шерсти его исходил запах фосфора и голубоватый светящийся дым. Две огненные искры сверкали у него вместо глаз. Он встал перед девушкой и страшным голосом спросил ее:

— Где деньги?..

Она сошла с ума от ужаса.

Это было зимой. Поутру другого дня ее, босую и в одной рубашке, вели из бани в дом по глубокому снегу, она же тихонько смеялась и говорила счастливым голосом:

— Завтра я с мамой опять пойду к обедне... опять пойду... опять пойду к обедне...

Когда Сара Шерман увидала ее такой, она тихо и растерянно объявила при всех:

— А ведь деньги-то украла я...

Трудно сказать, чего больше было у девиц в отношении к Ваське: страха перед ним или ненависти к нему.

Все они заигрывали с ним и заискивали у него, каждая из них усердно добивалась чести быть его любовницей, и в то же время все они подговаривали своих “кредитных” друзей сердца, гостей и знакомых “вышибал” избить Ваську. Но он обладал страшной силой и допьяна никогда не напивался — трудно было сладить с ним. Не раз ему подсыпали мышьяк в пищу, чай и пиво, и однажды довольно удачно, но он выздоровел. Он как-то узнавал обо всем, что предпринималось против него; но незаметно было, чтоб знание того, чем он рискует, живя среди бесчисленных врагов, понижало или повышало его холодную жестокость к девицам. Равнодушно, как всегда, он говорил:

— Знаю я, что вы меня зубами бы загрызли, кабы случай вышел вам... Ну, только напрасно вы яритесь... ничего со мной не будет.

И, оттопырив свои толстые губы, он фыркал в лица им, — должно быть, смеялся над ними.

Он водил компанию с полицейскими, с такими же, как сам он, “вышибалами” и с сыщиками, которых всегда много бывает в публичных домах. Но среди них у него не было друзей, ни одного из своих знакомых он не жёлал видеть чаще других, ко всем относился одинаково ровно и совершенно безучастно.

С ними он пил пиво и говорил о скандалах, каждую ночь случавшихся в околоте. Сам он никуда не ходил из своего дома, если его не звали “по делу”, то есть за тем, чтоб выпороть или — как там говорилось — “постращать” чью-нибудь девицу.

Дом, в котором он служил, принадлежал к числу заведений средней руки, за вход в него с гостей брали по три рубля, за ночь — по пяти. Хозяйка дома, Фекла Ермолаевна, сырая, дородная женщина лет под пятьдесят, была глупа, зла, побаивалась Васьки, очень ценила его и платила ему по пятнадцати рублей в месяц при ее столе и квартире — маленькой, гробообразной комнате на чердаке. В ее заведении, благодаря Ваське, среди девиц царил самый образцовый порядок; их было одиннадцать, и все они были смиренные, как овцы.

Находясь в добродушном настроении и разговаривая со знакомым гостем, Фекла Ермолаевна часто хвасталась своими девицами, как хвастаются свиньями или коровами.

— У меня товарец первый сорт, — говорила она, улыбаясь довольно и гордо. — Девочки все свежие, ядреные — самая старшая имеет двадцать шесть лет. Она, положим, девица в разговоре неинтересная, так зато в каком теле! Вы посмотрите, батюшка, — дивное диво, а не девица. Ксюшка! Поди сюда...

Ксюшка подходила, уточкой переваливаясь с боку на бок, гость “смотрел” ее более или менее тщательно и всегда оставался доволен ее телом.

Это была девушка среднего роста, толстая и такая плотная — точно ее молотками выковали. Грудь у нее могучая, высокая, лицо круглое, рот маленький с толстыми, ярко-красными губами. Безответные и ничего не выражавшие глаза напоминали о двух бусах на лице куклы, а курносый нос и кудерьки над бровями, довершая ее сходство с куклой, даже у самых невзыскательных гостей отбивали всякую охоту говорить с нею о чем-либо. Обыкновенно ей просто говорили:

— Пойдем!..

И она шла своей тяжелой, качающейся походкой, бессмысленно улыбаясь и поводя глазами справа налево, чему ее научила хозяйка и что называлось “завлекать гостя”. Ее глаза так привыкли к этому движению, что она начинала “завлекать гостя” прямо с того момента, когда, пышно разодетая, выходила вечером в зал, еще пустой, и так ее глаза двигались из стороны в сторону все время, пока она была в зале: одна, с подругами или гостем — все равно.

У нее была еще одна странность: обвив свою длинную косу цвета нового мочала вокруг шеи, она опускала конец ее на грудь и все время держалась за нее левой рукой, — точно петлю носила на шее своей...

Она могла сообщить о себе, что зовут ее Аксинья Калугина, а родом она из Рязанской губернии, что она девица, “согрешила” однажды с “Федькой”, родила и приехала в этот город с семейством “акцизного”, была у него кормилицей, а потом, когда ребенок умер,

ей отказали от места и “наняли” сюда. Вот уже четыре года она живет здесь...

— Нравится? — спрашивали ее.

— Ничего. Сыта, обута, одета... Только беспокойно вот... И Васька тоже... дерется все, черт...

— Зато весело?!~

— Где? — спрашивала она, “завлекая гостя”.

— Здесь-то... разве не весело?

— Ничего!.. — отвечала она и, поворачивая головой, осматривала зал, точно желая увидеть, где оно тут, это веселье?

Вокруг нее все было пьяно и шумно и все — от хозяйки и подруг до формы трещин на потолке — было знакомо ей.

Говорила она густым, басовым голосом, а смеялась лишь тогда, когда ее щекотали, смеялась громко, как здоровый мужик, и вся тряслась от смеха. Самая глупая и здоровая среди своих подруг, она была менее несчастна, чем они, ибо ближе их стояла к животному.

Разумеется, больше всего скопилось страха пред Васькой и ненависти к нему у девиц того дома, где он был “вышибалой”. В пьяном виде девицы не скрывали этих чувств и громко жаловались гостям на Ваську; но, так как гости приходили к ним не затем, чтоб защищать их, жалобы не имели последствий. В тех же случаях, когда они возвышались до истерического крика и рыданий и Васька слышал их, — его огненная голова показывалась в дверях зала, и равнодушный, деревянный голос говорил:

— Эй ты, не дури...

— Палач! Изверг! — кричала девица. — Как ты смеешь уродовать меня? Посмотрите, господин, как он

меня расписал плетью... — И девица делала попытку сорвать с себя лиф...

Тогда Васька подходил к ней, брал ее за руку и, не изменяя голоса, — что было особенно страшно, — уговаривал ее:

— Не шуми... угомонись. Что орешь без толку? Пьяная ты... смотри!

Почти всегда этого было достаточно, и очень редко Ваське приходилось уводить девицу из зала.

Никогда никто из девиц не слышал от Васьки ни одного ласкового слова, хотя многие из них были его наложницами. Он брал их себе просто: нравилась ему почему-либо та или эта, и он говорил ей:

— Я к тебе сегодня ночевать приду...

Затем он ходил к ней некоторое время и переставал ходить, не говоря ей ни слова.

— Ну и черт! — отзывались о нем девицы. — Со всем деревянный какой-то...

В своем заведении он жил по очереди почти со всеми девицами, жил и с Аксиньей. И именно во время своей связи с ней он ее однажды жестоко выпорол.

Здоровая и ленивая, она очень любила спать и часто засыпала в зале, несмотря на шум, наполнявший его. Сидя где-нибудь в углу, она вдруг переставала “завлекать гостя” своими глупыми глазами, они неподвижно останавливались на каком-нибудь предмете, потом веки медленно опускались и закрывали их и нижняя губа ее отвисала, обнажая крупные, белые зубы. Раздавался сладкий храп, вызывая громкий смех подруг и гостей, но смех не будил Аксинью.

С ней часто случалось это; хозяйка крепко ругала ее, била по щекам, но побои не спугивали сна: поплачет после них Акси́нья и снова спит.

И вот за дело взялся Васька.

Однажды, ко́гда девица заснула, сидя на диване рядом с пьяным гостем, тоже дремавшим, Васька подошел к ней и, молча взяв за руку, повел ее за собой.

— Неужто бить будешь? — спросила его Акси́нья.

— Надо... — сказал Васька.

Когда они пришли в кúхню, он велел ей раздеться.

— Ты хоть не больно уж... — попросила его Акси́нья.

— Ну, ну...

Она осталась в одной рубашке.

— Снимай! — скомандовал Васька.

— Экой ты озорник! — вздохнула девушка и спустила с себя рубашку.

Васька хлестнул ее ремнем по плечам.

— Иди на двор!

— Что ты? Чай, теперь зима... холодно мне будет...

— Ладно! Разве ты можешь чувствовать?..

Он вытолкнул ее в дверь кухни, провел, подхлестывая ремнем, по сеням и на дворе приказал ей лечь на бугор снега.

— Вася... что ты?

— Ну, ну!

И, толкнув ее лицом в снег, он втиснул в него ее голову для того, чтобы не было слышно ее криков, и долго хлестал ее ремнем, приговаривая:

— Не дрыхни, не дрыхни, не дрыхни...

Когда же он отпустил ее, она, дрожащая от холода и боли, сквозь слезы и рыдания сказала ему:

— Погоди, Васька! Придет твое время... и ты заплачешь! Есть бог, Васька!

— Поговори! — спокойно сказал он. — Засни-ка в зале еще раз! Я тебя тогда выведу на двор, выпорю и водой обливать буду...

У жизни есть своя мудрость, ей имя — случай; она иногда награждает нас, но чаще мстит, и как солнце каждому предмету дает тень, так мудрость жизни каждому поступку людей готовит возмездие. Это верно, это неизбежно, и всем нам надо знать и помнить это...

Наступил и для Васьки день возмездия.

Однажды вечером, когда полуодетые девицы ужинали перед тем, как идти в зал, одна из них, Лида Черногорова, бойкая и злая шатенка, взглянув в окно, объявила:

— Васька приехал.

Раздалось несколько тоскливых ругательств.

— Смотрите-ка! — вскричала Лида. — Он — пьяный! С полицейским... Смотрите-ка!

Все бросились к окну.

— Снимают его... Девушки! — радостно вскричала Лида. — Да ведь он разбился, видно!

В кухне раздался гул ругательств и злого смеха — радостного смеха отомщенных. Девицы, толкая друг друга, бросились в сени навстречу немощному врагу.

Там они увидали, что полицейский и извозчик ведут Ваську под руки, а лицо у Васьки серое, на лбу у него выступил крупными каплями пот и левая нога его волочится за ним.

— Василий Мироныч! Что это? — вскричала хозяйка. Васька бессильно мотнул головой и хрипло ответил:

— Упал...

— С конки упал... — объяснил полицейский. — Упал, и — значит, нога у него под колесо! Хрясть... ну и готово!

Девицы молчали, но глаза у них горели, как угли.

Ваську внесли наверх в его комнату, положили на постель и послали за доктором. Девицы, стоя перед постелью, переглядывались друг с другом, но не говорили ни слова.

— Пошли вон! — сказал им Васька.

Ни одна из них не тронулась с места.

— А! Радуетесь!..

— Не заплачем... — ответила Лида, усмехаясь.

— Хозяйка! Гони их прочь... Что они... пришли!

— Боишься? — спросила Лида, наклоняясь к нему.

— Идите, девки, идите вниз... — приказывала хозяйка.

Они пошли. Но, уходя, каждая из них зловеще взглядывала на него, — а Лида тихо сказала:

— Мы придем!

Аксинья же, погрозив ему кулаком, закричала:

— У, дьявол! Что — изломался? Так тебе и надо...

Очень изумила девиц ее храбрость.

А внизу их охватил восторг злорадства, мстительный восторг, острую сладость которого они не испытывали еще. Беснуясь от радости, они издевались над Васькой, пугая хозяйку своим буйным настроением и немножко заражая ее им.

И она тоже рада была видеть Ваську наказанным судьбой; он и ей солон был, обращаясь с нею не как служащий, а скорее как начальник с подчиненной. Но она знала, что без него не удержать ей девиц в повиновении, и проявляла свои чувства к Ваське осторожно.

Приехал доктор, наложил повязки, прописал рецепты и уехал, сказав хозяйке, что лучше бы отправить Ваську в больницу.

— Девицы! Что же, навестим, что ли, больно-го-то душеньку нашего?! — ухарски вскричала Лида.

И все они бросились наверх со смехом и криками.

Васька лежал, закрыв глаза, и, не открывая их, сказал:

— Опять вы пришли...

— Чай, нам жалко тебя, Василь Мироныч...

— Разве мы тебя не любим?

— Вспомни, как ты меня...

Они говорили негромко, но внушительно и, окружив его постель, смотрели в его серое лицо злыми и радостными глазами. Он тоже смотрел на них, и никогда раньше в его глазах не выражалось так много неудовлетворенного, ненасытного голода, — того непонятного голода, который всегда блестел в них.

— Девки... смотрите! Встану я...

— А может, бог даст, не встанешь!.. — перебила его Лида.

Васька плотно сжал губы и замолчал.

— Которая ножка-то болит? — ласково спросила одна из девиц, наклоняясь к нему, — лицо у ней было бледно и зубы оскалены. — Эта, что ли?

И, схватив Ваську за больную ногу, она с силой дернула ее к себе.

Васька щелкнул зубами и зарычал. Левая рука у него тоже была разбита, он взмахнул правой и, желая ударить девицу, ударил себя по животу.

Взрыв смеха раздался вокруг него.

— Девки! — ревел он, страшно вращая глазами. — Берегись!.. Убивать буду!..

Но они прыгали вокруг его кровати и щипали, рвали его за волосы, плевали в лицо ему, дергали за больную ногу. Их глаза горели, они смеялись, ругались, рычали, как собаки; их издевательства над ним принимали невыразимо гадкий и циничный характер. Они впали в упоение мстью, дошли в ней до бешенства. Все в белом, полуодетые, разгоряченные толкотней, они были чудовищно страшны.

Васька рычал, размахивая правой рукой; хозяйка, стоя у двери, выла диким голосом:

— Будет! Бросьте... полицию позову! Убьете вы... батюшки! ба-атюшки!

Но они не слушали ее. Он истязал их года, — они возмещали ему минутами и торопились...

Вдруг среди шума и воя этой оргии раздался густой, умоляющий голос:

— Девушки! Будет уж... Девушки, пожалейте... Ведь он тоже... тоже ведь... больно ему! Милые! Христа ради... Милые...

На девиц этот голос подействовал, как струя холодной воды: они испуганно и быстро отошли от Васьки.

Говорила Аксинья; она стояла у окна и вся дрожала и в пояс кланялась им, то прижимая руки к животу, то нелепо простирая их вперед.

Васька лежал неподвижно; рубашка на его груди была разорвана, и эта широкая грудь, поросшая густой рыжей шерстью, вся трепетала, точно в ней билось что-то, билось, бешено стремясь вырваться из нее. Он хрипел, и глаза его были закрыты.

Столпившись в кучу, как бы слепленные в одно большое тело, девицы стояли у дверей и молчали, слушая, как Аксинья глухо бормочет что-то и как хрипит Васька. Лида, стоя впереди всех, быстро очищала свою правую руку от рыжих волос, запутавшихся между ее пальцами.

— А — как умрет? — раздался чей-то шепот. И снова стало тихо...

Одна за другой, стараясь не шуметь, девицы осторожно выходили из Васькиной комнаты, и, когда они все ушли, на полу комнаты оказалось много каких-то клочьев, лоскутков...

В комнате осталась Аксинья.

Тяжело вздыхая, она подошла к Ваське и обычным своим басовым голосом спросила его:

— Что тебе сделать теперь?

Он открыл глаза, посмотрел на нее и не ответил ничего.

— Ну, говори уж... Выпить... прибрать... так вот я прибрала бы... А то, может, воды выпить хочешь? И воды дам...

Васька молча тряхнул головой, и губы у него зашевелились. Но он не сказал ни слова.

— Вон как — и говорить-то не можешь! — молвила Аксинья, обертывая косу вокруг шеи. — До чего замучили мы тебя... Больно, Вася? а?.. Ну, уж потерпи... ведь это пройдет... это сперва только больно... я знаю!

На лице Васьки что-то дрогнуло, он хрипло сказал:

— Дай... водицы...

И выражение неудовлетворенного голода исчезло из его глаз.

Аксинья так и осталась наверху у Васьки, спускаясь вниз лишь затем, чтоб поестъ, попить чаю и взять чего-нибудь для больного. Подруги не разговаривали с ней, ни о чем не спрашивали ее, хозяйка тоже не мешала ей ухаживать за больным и вечерами не вызывала ее к гостям. Обыкновенно Аксинья сидела в Васькиной комнате у окна и смотрела в него на крыши, покрытые снегом, на деревья, белые от инея, на дым, опаловыми облаками поднимавшийся к небу. Когда ей надоедало смотреть, она засыпала тут же на стуле, облокотясь о стол. Ночью она спала на полу около Васькиной кровати.

Они почти не разговаривали; попросит Васька воды или еще чего-нибудь, — Аксинья принесет ему, посмотрит на него, вздохнет и отойдет к окну.

Так прошло дня четыре. Хозяйка усердно хлопотала о помещении Васьки в больницу, но места там пока не было.

И вот однажды вечером, когда Васькина комната уже наполнилась сумраком, он, приподняв голову, спросил:

— Аксинья, ты тут, что ли?

Она дремала, но его вопрос разбудил ее.

— А где же? — отозвалась она.

— Поди-ка сюда...

Она подошла к кровати и остановилась у нее, по обыкновению обвив косу вокруг шеи и держась рукой за конец ее.

— Чего тебе?

— Возьми стул, сядь сюда...

Вздыхнув, она пошла к окну за стулом, принесла его к постели и села.

— Ну?

— Ничего... посиди тут...

На стене, над постелью Васьки, висели его большие серебряные часы и торопливо тикали. По улице быстро пролетел извозчик, слышно было, как взвизгнули полозья. Внизу смеялись девицы, а одна из них высоким голосом пела:

Па-алюбила студента га-алодна-ва...

— Акси́нья! — сказал Васька.

— А?

— Ты вот что... давай со мной жить!

— Живем ведь, — лениво ответила девушка.

— Нет, ты погоди... Давай как следует!..

— Давай... — согласилась она.

Он замолчал и долго лежал с закрытыми глазами.

— Вот... Уйдем отсюда и заживем.

— Куда уйдем? — спросила Акси́нья.

— Куда-нибудь... Я буду с конки за увечье искать... Заплатят, по закону должны заплатить. Потом, у меня свои деньги есть, рублей шестьсот.

— Сколько? — спросила Акси́нья.

— Рублей шестьсот.

— Ишь ты! — сказала девушка и зевнула.

— Да... на одни эти деньги можно свое заведение открыть... да ежели еще с конки сорвать... Поедем в Симбирск, а то в Самару... и там откроем... Первый дом в городе будет... Девочек наберем самых лучших... По пяти рублей за вход брать будем.

— Говори! — усмехнулась Акси́нья.

— Чего там? Так и будет...

— Как же!..

— Так, говорю, и будет... Ежели ты хочешь — обвенчаемся.

— Чего-о?! — воскликнула Аксинья, глупо хлопая глазами.

— Обвенчаемся, — с каким-то беспокойством повторил Васька.

— Мы с тобой?

— Ну да...

Аксинья громко засмеялась. Качаясь на стуле, она взялась за бока и то смеялась густо, басовыми нотами, то взвизгивала, что было совершенно неестественно для нее.

— Чего ты? — спросил Васька, и опять что-то голодное явилось в его глазах. А она все хохотала. — Чего ты? — спрашивал он ее.

Наконец, кое-как сквозь смех и визг, она высказалась:

— Насчет венчанья... Разве это можно? Да я и в церкви-то три года не была... Чудак! Ишь, нашел жену! Детей не ждешь ли от меня?

Мысль о детях вызвала у нее новый взрыв искреннего хохота. Васька смотрел на нее и молчал...

— Да и разве я поеду с тобой куда-нибудь? Ишь ты... тоже. Ты завезешь меня да и убьешь где-нибудь... Ведь ты мучитель известный.

— Ну, молчи уж! — тихо сказал Васька.

Но она стала говорить ему о его жестокости, вспоминая разные случаи.

— Молчи! — просил он ее, а когда она не послушалась, он хрипло крикнул: — Молчи, говорю!

В этот вечер они не говорили больше. Ночью у Васьки был бред; из широкой груди его вырывался хрип, вой. Васька скрежетал зубами и размахивал в воздухе правой рукой, иногда ударяя ею себя в грудь.

Аксинья проснулась, встала на ноги у постели и долго со страхом смотрела в его лицо. Потом разбудила его.

— Что ты это? Домовой тебя душил, что ли?

— Так, привиделось!.. — слабо сказал Васька. — Дай-ка водицы.

Выпив воды, он помотал головою и объявил:

— Нет, не открою я заведения... лучше торговлей займусь... А заведения не надо...

— Торговля... — задумчиво сказала Аксинья.. — Н-да... лавочку открыть — это хорошо.

— Пойдешь со мной, что ли? — убедительно и тихо спросил Васька.

— Да ты никак всерьез спрашиваешь? — воскликнула Аксинья, отодвигаясь от кровати.

— Аксинья Семеновна! — звенящим голосом сказал Васька, приподняв голову с подушки. — Вот тебе...

И замолчал, взмахнув рукой в воздухе.

— Никуда я с тобой не пойду... — решительно мотая головой, заговорила Аксинья, не дождавшись от него слов. — Никуда!

— Захочу — пойдешь... — тихо сказал Васька.

— Ни-икуда не пойду!

— Только — не хочу я так... А ежели захотел бы — пойдешь!..

— Нет уж...

— Да, черт! — раздраженно крикнул Васька. — Ведь вот ты со мной канителишься... шевыряешься тут... чего же?

— Это другое дело... — резонно сказала Аксинья. — А чтобы с тобой жить — нет! боюсь я тебя... очень уж ты злодей!

— Эхма! Что ты понимаешь?! — зло воскликнул Васька. — Злодей! Дура ты... Думаешь — злодей, так и все тут? Думаешь — легко, если злодей?

Голос у него оборвался, и Васька помолчал немного, растирая грудь здоровой рукой. Потом тихо, с тоской в голосе и страхом в глазах, снова заговорил:

— Что уж вы... очень? Ну, злодей... так разве весь человек в этом? Чего у меня спрашивали?.. Пойдем, Аксинья Семеновна!

— И не говори про это! Не пойду... — упорно стояла на своем Аксинья и подозрительно отодвигалась от него.

Опять оборвался их разговор. В комнату смотрела луна, и от ее света Васькино лицо казалось серым. Он долго лежал молча, то открывая, то закрывая глаза. Внизу — танцевали, пели, хохотали.

Раздался сочный храп Аксиньи; Васька глубоко вздохнул.

Прошло еще дня два, и хозяйка устроила Ваське место в больнице.

Приехал за ним больничный фургон с фельдшером и служащим. Ваську осторожно свели сверху в кухню, и там он увидел всех девиц, столпившихся у двери в комнату.

Лицо его перекосилось, однако он ничего не сказал им. Они смотрели на него сурово и серьезно, но по их глазам нельзя было бы определить, что они думают при виде Васьки. Аксинья с хозяйкой надевали на него пальто, и все в кухне тяжело и хмуро молчали.

— Прощайте! — вдруг сказал Васька, наклонив голову и не глядя на девиц. — Про... прощайте!

Некоторые из них молча поклонились ему, но он не видел этого; а Лида спокойно сказала:

— Прощай, Василий Мироныч...

— Прощайте... да...

Фельдшер и больничный служитель взяли его подмышки и, подняв с лавки, повели к двери. Но он опять поворотился к девицам:

— Прощайте... был я... точно что...

Еще два или три голоса сказали ему:

— Прощай, Василий...

— Ничего не поделаешь! — потрянул он головой, и на лице его явилось что-то удивительно не подходившее к нему. — Прощайте! Христа ради... которые... которым...

— Увозят! Уве-езут его, маво милого... — вдруг дико завyla Акси́нья, грохнувшись на лавку.

Васька дрогнул и поднял голову кверху. Глаза у него страшно заблестели; он стоял, внимательно вслушиваясь в этот вой, и дрожащими губами тихо говорил:

— Вот... дура! Вот так ду-ура!

— Идите, идите! — торопился фельдшер, хмурия брови.

— Прощай, Акси́нья! Приходи в больницу-то... — громко сказал Васька.

А Акси́нья все выла...

— И на-кого и-ты-это-меня по-оки-инул?..

Девицы окружили ее и смотрели на ее лицо и на слезы, лившиеся из глаз ее.

А Лида, наклонясь над ней, сурово утешала ее:

— Ну, чего ты, Ксюшка, реवेशь-то! Ведь не умер он... Ну, пойдешь к нему... ну, вот завтра и пойди!..

И. А. Бунин

Захар Воробьев

На днях умер Захар Воробьев из Осиновых Дворов.

Он был рыжевато-рус, бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к какой-то иной породе, чем прочие люди, и отчасти так, как взрослый среди детей, держаться с которыми приходится, однако, на равной ноге. Всю жизнь, — ему было сорок лет, — не покидало его и другое чувство — смутное чувство одиночества; в старину, сказывают, было много таких, как он, да переводится эта порода. “Есть еще один вроде меня, — говорил он порою, — да тот далеко, под Задонском”.

Впрочем, настроен он был неизменно превосходно. Здоров на редкость. Сложен отлично. Он был бы даже красив, если бы не бурый загар, не слегка вывороченные нижние веки и не постоянные слезы, стеклом стоявшие в них под большими голубыми глазами. Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, так и хотелось потрогать ее. Он часто, с ласковостью гиганта, удивленно улыбался и откидывал голову, слегка открывая красную, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И приятный запах шел от него: ржаной запах степняка, смешанный с запахом дегтярных, крепко кованных сапог, с кисловатой вонью дубленого полушубка и мятным ароматом нюхательного табаку, он не курил, а нюхал.

Он вообще был склонен к старине. Ворот его суровой замашной рубахи, всегда чистой, не застегивался, а завязывался маленькой красной ленточкой. На пояске висели медный гребень и медная копауш-

ка. Лет до тридцати пяти носил он лапти. Но подросли сыновья, двор справился, и Захар стал ходить в сапогах. Зимой и лето не снимал он полушубка и шапки. И полушубок остался после него хороший, совсем новый, зелено-голубые разводы и мелкие нашивки из разноцветного сафьяна на красиво простроченной груди еще не слиняли. Бурый котик, — опушка борта и воротника, — был еще остист и жесток. Любил Захар чистоту и порядок, любил все новое, прочное.

Умер он совсем неожиданно.

Было начало августа. Он только что отмахал порядочный крюк. Из Осиновых Дворов прошел в Красную Пальну, на суд с соседом. Из Пальны сделал верст пятнадцать до города: нужно было побывать у барыни, у которой снимал он землю. Из города приехал по железной дороге в село Шипово и пошел в Осиновые Дворы через Жилое: это еще верст десять. Да не то свалило его.

— Что? — удивленно и царственно-строго сказал бы он своим бархатным басом. — Сорок верст?

И добродушно добавил бы:

— Что ты, малый! Да я их тыщу могу исделать.

Был первый Спас. “Хорошо бы таперь для праздника выпить маленько”, — шутя сказал он в Шилове знакомому, петрищевскому кучеру, проходя по залитому мелом вокзалу, который, как всегда летом, ремонтировали. “Что ж не пьешь? Кстати бы и мне поднес”, — ответил кучер. “Не на что, потратился, и так в грузовом вагоне ехал”, — сказал Захар, хотя деньги у него были. Кучер подмигнул приятелю, уряднику Голицыну. Пристрял шиповский мужик, пьяница Алешка. И все четверо вышли из вокзала. За-

хар и Алешка пошли пешком, кучер сел в тележку, запряженную парой, — он выезжал за Петрищевым, да тот не приехал, — урядник на дрожки-бегунки. И Алешка тотчас затеял спор: может ли Захар выпить в час четверть?

— А с закуской? — спросил Захар, широко шагая по сухой земле, изрезанной колеями, возле высокой кобылы урядника и порой осаживая вниз оглоблю, поправляя косившую упряжь.

— Можешь требовать чего угодно на полтинник, — сказал кучер, человек недалекий, сумрачный.

— А проспоришь, — прибавил Алешка, оборванный мужик с переломленным носом, — а проспоришь, за все втрое отдашь.

— Нехай будя по-вашему, — снисходительно отозвался Захар, думая о том, чего спросить на закуску.

Он не только не устал от путешествия в Пальну, — где дело кончилось превосходно, миром, — не только не истомился, промучившись в городской жаре двое суток, но даже чувствовал подъем, прилив силы. Ему всем существом своим хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Да что? Выпить четверть — это не бог весть какая штука, это не ново... Удивить, оставить в дураках кучера — невелик интерес... Но все-таки на спор пошел он охотно. И, принявшись за еду и питье, сперва наслаждался едой, — есть очень хотелось, каждый кусок был сладок, — потом своим рассказом о суде.

Был жаркий день. Но вокруг села, в просторе желтых полей, покрытых копнами, было уже что-то предосеннее, легкое, ясное. Густая пыль лежала на шиповской площади. Площадь отделяют от села дровяные

склады, булочная, винная лавка, почтовое отделение, голубой дом купца Яковлева с палисадником при нем и две лавки его в особом срубе на углу. Возле черной лавки ступеньками навален сосновый тес. Сидя на нем, Захар пил, ел, говорил и смотрел на площадь, на блестящие под солнцем рельсы, на шлагбаум горбатого переезда и на желтое поле за рельсами. Алешка сидел рядом с ним и тоже закусывал — подрукавным хлебом. Урядник — скучный, запыленный человек с подстриженными усами, в обтрепанной шинели с оранжевыми погонами, — урядник и кучер курили, один на дрожках, другой в тележке. Лошади дремали, терпеливо ждали, когда прикажут им трогаться. А Захар рассказывал.

— Чем дело-то кончилось? — говорил он. — Да ничем. Помирились. Я этих судов, пропади они пропадом, с отроду не знавал, ни с кем не судился. Мне сам батюшка-покойник заказывал эти свары. А тут и свара-то вышла пустая. Бабы повздорили, а мы сдуру ввязались...

Он уже выпил бутылки три — из деревянного корца, который достал на дворе Яковлева Алешка; он делал свое дело столь легко, будучи столь уверенным в себе, что даже не замечал того, что делал. Кучер, урядник и Алешка из всех сил прикидывались спокойными, хотя душа каждого из них горячо молила бога, чтобы Захар упал замертво. А он только растегнул полушубок, чуть сдвинул шапку со лба, покраснелся. Он съел две таранки, громадный пук зеленого луку и пять французских хлебов, съел с таким вкусом и толком, что даже противники его дивились ему, и оживленно, чуть насмешливо говорил:

— А на судах этих чудно! Я и итить-то туда не хотел. Слышу — подал прошение. Ну, подал и подал, не замай, а я, мол, не пойду. Только вдруг приезжает в Пальну начальство, присылает за мной сам заседатель. Ах, пропасти на тебе нету! Ничего не поделаешь — надо итить. Взял хлебушка, попер. Жара ужасная, пыль по дороге как пыс, альни итить горячо. Ну, однако, прихожу. Шел дюже поспешно, являюсь...

Держа пустеющую бутыль под мышкой, он цедил в темный корец светлую влагу, наполнял его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнувшей остро и сытно, влажными губами; тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день, а допив до дна, крякал и, перевернув корец, вытряхивал из него последние капельки. Потом осторожно ставил бутыль возле себя. Кучер не спускал с нее своих угрюмых глаз; урядник, уже передвинувший тайком стрелку часов на целую четверть вперед, тревожно переглядывался с Алешкой. А Захар, поставив бутыль, брал две-три стрелки лука, ломая, забивал их в большую деревянную солонку, в крупную серую соль, и пожирал с аппетитным, сочным хрустом. Глаза его налились кровью и слезами, казались страшными. Но он улыбался, грудной бас его был звучен, ласков, приятно-насмешлив.

— Ну, являюсь, — говорил он, прожевывая и раздувая ноздри. — Вижу, на улице везде народ, под лозинкой в холодке сидит заседатель в майском пинжаку, с русой бородкой, на столике книги усякие, бумаги, а рядом, — Захар повел рукой налево, — урядник чтой-то записывает красным осьмигранным карандашиком. Вызывают хрестьянина Семена Галкина, обу-

ховского. “Семен Галкин!” — “Здесь”. — “Поди сюда”. Подходит; начинают допрашивать. А он на урядника и не глядит, достает грушу из кармана, стоит, ест. Урядник приказывает: “Кинь грушу!” Он не слушается, доедает...

— По морде бы его этой грушой, — сказал кучер.

— Верно! — подтвердил Захар, разламывая седьмую, последнюю булку. — Стоит и лопает! Обращается заседатель к уряднику. “Вот, говорит, господин урядник, этот самый хрестьянин Семен Галкин, когда я прошлый раз с описью приезжал, отказался платить по исполнительному листу сорок восемь рублей восемь гривен, а когда я хотел описать какой есть его лешишко и анбар, то, говорит, этот самый Галкин со своими дружьями, двумя братьями Иваном и Богданом, сели на дерева, на бревна эти возле избе, и не дозволили мне совершить опись. А когда я взошел к нему в избу, то он будто невзначай спросил у своей жане, где тут у нас безмен, что было сказано про меня, и я это принял на свой счет, а Богдан тем временем подошел к окну и с косой на плече, когда косить ему нечего было, все давно скошено. А как я был один, то принужден был удалиться. Вот извольте спросить его жану Катерину и мать Феклу и показания от ней занести в протокол. А еще в опросный лист занесите показанье церковного старости, хрестьянина Федота Леонова. А еще, что сельский староста Герасим Савельев в энтот день пропал без вести и на мои требования не явился, а когда я уходил от Галкина к Митрию Овчинникову, иде был мой мерин, и проходил мимо его избе, то он притравил меня кобелем, а сам спрятался за ворота, что я заметил очень хоро-

шо, и посвистывал, да, слава богу, так случилось, что кобель меня не поранил, хоть кидался прямо на грудь, сигал как бешеный, все благодаря Митрию, который выскочил с кнутом и тем меня оградил...”

Захар, увлекаясь ладностью своего рассказа, точно прочитал последние слова. Без передышки, звучно и твердо передав заявление заседателя, он хотел было продолжать, но Алешка не вытерпел и крикнул:

— Потом доскажешь! Пей! Урядник, глянь-ка на часы-то.

— Успеется, успеется, — ответил урядник и подмигнул Алешке.

Но не заметил этого Захар.

— Да не гамазись ты, черт курносый! — гаркнул он добродушно. — Дай доказать-то! Я свою время знаю, — выпью, не бойся!

Ноги его твердо стояли на краюшках кованых каблуков, — он с гордостью выставил сапоги и порою без нужды подтягивал голенища, — лицо было красно, но еще не пьяно. Преувеличенно-низко раскланявшись с мужиком, проехавшим мимо в пустой телеге и внимательно оглядевшим его, он шумно, через ноздридохнул, взял обеими руками борты жаркого полушубка, двинул ворот назад и продолжал, наслаждаясь яркостью картины, занявшей его воображение, игрой своего ума.

— “Катерина Галкина! — громко, грудью говорил он, изображая всех в лицах. — К допросу. Подойди поближе!” Подходит. “Слышала, что господин заседатель сказали?” “Слышала...” А сама плачет, заикается, ничего толком рассказать не может. “Правда ли, что твой муж безмен про господина заседателя упо-

мянул?” — “Я, говорит, этого ничего знать не могу. Хотел муж беты вешать”. — “Значит, ты от этого отказываешься?” — “Ничего про эти дела не знаю. Федька всему первый полководец. Его опросите — и дело к развязке, и греха меньше...” Кличут сейчас старуху Феклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвечает — ноздри рвет. “Имушество, говорит, моя, за сына я не плательщица, по правам покойного мужа всем владаю, а у сына ничего нету, одни портки”. — “А сын-то чей же?” — “Мой”. — “А раз сын твой, и толковать нечего, за неплатеж имушество отвечает. Ступай, не разговаривай, а за дерзкий ответ посажу тебя в арестанку на двое суток на хлеб, на воду...” Угомонил, значит, старуху. Вспрашивает, где церковный титор Федот Леонов? Подходит дочь его Винадорка. — “Иде отец?” — “В клетки, после обеда отдыхает.” — “Беги, зови его суда. Скажи, начальство требует...” А он через двор живет...

— Близко, значит? — перебил урядник и быстро переглянулся с Алешкой и кучером. — Так, так... Ну, доказывай, доказывай. Ты, брат, на удивление горазд рассказывать!

Он говорил что попало, лишь бы отвлечь внимание Захара, он, вынув часы и спрятав их между коленями, передвигал стрелку еще на десять минут вперед. И Захар, с просиявшим от похвалы лицом, еще шумнее выдохнул воздух, мотнул головой, отсаживая горячий густой мех полушубка от лопаток, и загудел еще выразительнее:

— Верно! Слухай же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лезет из низкой клетки приземистый старик... Идет через дорогу в избу — без шапки, в розовой но-

вой рубахе распяской, и ворот от жары расстегнул. А из избе выходит в новой теплой поддевке, подпоясан зеленой подпояской, шапку в руках несет. Подходит. Волосы густые, седые, разложены вроде как рожки у барана, на обе стороны. С урядником, с заседателем — за ручку. (Богатый, видать, старик.) Пошущукался чтой-то с ними, показывает на Сеньку. Потом вынимает большой гаман кожаный, стал отсчитывать трехрублевки обмороженными култышками... Потом Винадорку кличет. Приказывает самовар ставить, зовет к себе урядника и заседателя чай пить. “Приходите мою охоту посмотреть, пчел моих, и какую я себе посуду завел. А еще кобылку мою гляньте. Ну, ясна, светла, — вся писаная, в яблоках!” — Смеется, морщится, гнилые корешки в красном роте показывает... “Не посмотреть, говорит, нельзя, того лошадиный закон требует. А может, и сторгуемся, про что говорили- то...” И опять смеется, сипит, как змей. Пошел к избе, заскребаёт пыль сапогом по дороге, хворсит...

— Форсит-то форсит, — опять перебил урядник, вынимая часы, — а ведь пять минут всего осталось. Тебе теперь одним духом надо допивать.

Лицо Захара сразу изменилось.

— Как? — строго крикнул он. — Да ты брешешь! Ужли цельный час прошел?

— Прошел, брат, прошел! — подхватили кучер и Алешка. Допивай, допивай!

Захардохнул, как кузнечный мех, и закрыл глаза.

— Стойте! — сказал он. — Это не ладно. Вы меня смошенничали. Дайте еще сроку полчаса. Главная вещь, я сопрел весь. Жара! Август. Черт с вами, я вам

лучше сам бутылку поставлю. А вы мне сроку накиньте... Ну, хоть доказать только дайте про этот самый суд! — попросил он сумрачно.

— Ага! Покаялся! — крикнул кучер насмешливо. — Жидок на расправу!

Захар остановил на нем кровавый, тяжелый взгляд. Потом, ни слова не говоря, взял бутылку за горло, до дна опорожнил ее, с краями наполнив корец, и до дна высосал его. И, слегка задохнувшись, грубо сказал:

— Ну? Сыт ты ай нет?.. А теперь — буду доказывать! — с упрямством хмелеющего человека сказал он. — Вот ты и глянешь, напоил ты мене, али у тебе и потрохов не хватит на это...

И вдруг опять повеселели страшные глаза его, лицо опять стало важным и добродушным.

— Таперь вы обязаны слухать! — всей грудью сказал он и продолжал, но уже не так складно и хорошо. — Опосля этого вызывают знахаря, Василь Иванова. Этот совсем худой, в поддевке серой, виски вроде пеньки и борода клинушком. И еще пуще старика морщится, — не то от солнца, не то от хитрости... шат его знает. Этот, выходит, старуху опол. Давал ей лекарству какую-то — бывает, велел пить по маленькому стаканчику, а она и возмись глушить его большими стаканами... Вызывают его. “Как тебя зовут?” — “Был Василий”. — “Кто тебе дал праву лечить, мерзавец?” А у них уж раньше, конечно, был сговор: Васька небось уж сунул им. Ну, а при народе, известно, надо же для близиру поорать. Вспрашивал, спрашивал, потом опять как закричит на него: “Скройся из глаз моих в осинник!” Тот будто и испу-

жался: шапку поскорее на голову — и шмыг, шмыг в осинник.. Так, значит, дело и затерли. Погляделся урядник в зеркальцо, поправил саблю, сложил свои бумаги... “Ну, говорит, идем, что ль, к старику-то? Очень мне хочется, чтоб мерин еще отдохнул”. — “А сколько сейчас время?” Вынул урядник новые часы, селебренные, глянул: “Тридцать восемь первого”. “Ну, пойдемте, надо его охоту посмотреть, старик добре гордится”. Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, расселись, как вороны, на срубленных деревьях возле избе, подняли гам. Иные говорят, что не надо до продажи допускать, иные — что нельзя начальство обижать. Пуще всех какой-то худой мужик орет, срезался со стариком одним. Мужик кричит, что плохо у нас жить, по чужим странам лучше, киргизу и то способней, — у того по крайности степя аграматные... А старик кричит — у нас лучше...

Ему казалось, что он мог бы говорить без конца и все занятнее, все лучше, но, послушав его, убедившись, что дело пропало, свелось только на то, что Захар опил, объел их да еще без умолку рассказывает чепуху, кучер и урядник тронули лошадей и уехали, оборвав его на полуслове. Алешка посидел немного, поподдакивал, выпросил четыре копейки на табак и ушел на станцию. И Захар, совершенно неудовлетворенный ни количеством выпитого, ни собеседниками, остался один. Повздыхал, помотал головой, отодвигая ворот полушубка, и, чувствуя еще больший, чем прежде, прилив сил и неопределенных желаний, поднялся, зашел в винную лавку, купил бутылку и зашагал по переулку вон из села, пошел по пыльной дороге в открытом поле, в необозримом пространстве

неба и желтых полей. Солнце опускалось, но еще пекло. Полушубок Захара блестел. Направо от него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тень с сиянием вокруг головы. Сдвинув горячую шапку на затылок, заложив руки назад, под полушубок, Захар твердо ступал по твердой под слоем пыли земле, не мигая, как орел, смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор, похожий на простор песчаной пустыни, на раскинутые по нем несметные копны, похожие вдали на гусениц, — и по горизонтам, по копнам мелькали перед его кровавыми, слезящимися глазами несметные круги — малиновые, фиолетовые и малахитовые. “А все-таки я пьян!” — думал он, чувствуя, как замирает и бьет в голову сердце. Но это ничуть не мешало ему надеяться, что еще будет нынче что-то необыкновенное. Он останавливался, пил и закрывал глаза. Ах, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивительное! И опять широко озира́л горизонты. Он смотрел на небо — и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига. Человек он особенный, он твердо знал это, но что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем! Старуху пронес однажды на руках верст пять... Да об этом даже и толковать смешно: он бы мог десяток таких старух донести куда угодно.

Воображение его, жадное во хмелю до картин, требовало работы. Он шагал все шире, твердо решив не дать солнцу обогнать себя, — дойти до Жилова раньше, чем оно сядет, — и думал, думал... Бутылка подходила к концу. И он чувствовал, что необходи-

мо выпить еще маленько — у хромого мещанина, сидельца в Жильской винной лавке, на большой дороге. Солнце опускалось; на смену ему поднимался с востока полный месяц, бледный, как облачко, на ровной сухой синеве небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок тянул откуда-то в остывающем воздухе; оранжево краснели лучи, сыпавшиеся слева по колкому сквозному жнивью, краснела пыль, поднимаемая сапогами Захара, от каждой копны, от каждой татарки, от каждой былинки тянулась тень. “Да нет, шалишь, не обгонишь, — думал Захар, поглядывая на солнце, вытирая пот со лба и вспоминая то битюга-жеребца, которого за передние ноги поднял он однажды на ярмарке, заспорив о силе с мещанами, то литой чугунный привод, который выволок он прошлым летом из риги на гумне барины Хомутова, то эту нищую старуху, которую тащил он на руках, не обращая внимания на ее страх и мольбы отпустить душу на покаяние. Остановясь, раздвинув ноги, от которых столбами пала тень на жнивье, Захар вынул из глубокого кармана полушубка бутылку, глянул на нее против солнца и весело ухмыльнулся, увидав, что и бутылка и водка в ней зарозовели. Закинув голову, он вылил водку в разинутый рот, не касаясь бутылки губами, и хотел было запустить ее выше самого высокого, самого легкого дымчатого облачка в глубине неба. Но, подумав, удержался: и так израсходовался! — сунул бутылку в карман и опять зашагал, с удовольствием вспоминая старуху.

“Ах, расчудесная была старуха!” — думал он, глядя то на солнце, то на сереющие за дальними копнами избы. Шел он недавно по паровому полю. Глядь,

лежит на сухой навозной куче старуха-побирушка и стонет. Был он порядочно выпивши, и, как всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига — все равно, доброго или злого... даже, пожалуй, скорее доброго, чем злого. “Ба́бка! — крикнул он, быстро подходя к старухе. — Ай помираешь? Ай убил кто? Чем перед кем провинилась?” Старуха, — она была вся в лохмотьях, бледное лицо ее было в запекшейся крови, глаза закрыты, — зашевелилась и застонала. “Да что ж ты молчишь? — гаркнул Захар грозно. — Раз тебе испрашивают, можешь ты мне не отвечать? Значит, так и будешь лежать? Скотину скоро погонят — баран завалает, замучает... Вставай сию минуту!” Старуха вдруг заголосила, взглянув на него, огромного и страшного. “Батюшка, не трожь меня! Меня и так бык закатал. Пожалей меня, несчастную!” “Не могу я тебя пожалеть! — еще грознее заорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность к старухе. — Вставай, говорят тебе!” Старуха приподнялась и тотчас же опять упала и заголосила еще пуще. Тогда, не помня себя от жалости, Захар сгреб ее в охапку и почти бегом помчал к селу. Старуха, обхватив обеими руками его воловью шею, задыхаясь от запаха водки, исходившего от него, тряслась на бегу, а он, боясь заплакать, быстро бормотал, стараясь, сколь возможно, смягчить свой бас: “Да что ты? Ай очумела? Чего боишься? Молчи, — говорю тебе, молчи, ни об ком не думай! Обо всем забудь!” — “Не могу, батюшка! — отвечала старуха. — Никакого счастья не вижу себе, одна во всем свете, ни напитков, ни наедков сладких отроду не видала...” — “А я тебе говорю, не голоси! — говорил Захар. — Всякий свою стежку топча! У всякого

своя печаль! Копти! — гаркнул он на все поле, ощутив внезапный прилив бурной радости. — Ешь соломому, а хворсу не теряй! Сейчас за мое почтение доставлю тебя на хватеру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачем к стаду лезла? Тебе надо округ баб находиться. С ними ты можешь разговор поддержать. А бык, он, брат, не помилует!” — “Ох, постой, — застонала старуха, уже смеясь сквозь слезы... Всю душу потряс...” И Захар заорал еще грозней: “Бабка, молчи! А то вот шарахну тебя в ров — костей не соберешь!” И захохотал, раскрывая пасть, раскачивая старуху и делая вид, что хочет со всего размаху пустить ее с косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо от прилива крови и потно, сердце молотами било в голову, когда, гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро вошел он в Жилое. Было мертвенно тихо. Нигде ни единой души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекий лесок, темнеющий в конце лощины. Над ним полный, уже испускающий сияние месяц. Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркальных пруда, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветлами — толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие — две зеркальных бездны, в которых точно влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.

— Фу, пропасти на вас нету! — шумно вздохнул Захар, приостанавливаясь. — Как подошли все!

Ему захотелось рывкнуть так, чтобы в ужасе высыпал на выгоны весь этот мелкий народишко, спрятанный по избам. “Да нет, нет, — подумал он, мотая головой, — ошалел я, пьян... Непристойно думаю, неладно... Домой надо поскорей... Домой...”

И вдруг почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску, смешанную со злобой, что даже закрыл глаза. Лицо его стало котельного цвета, отделилось от русой бороды, уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых и багряных кругов, а сердце замерло, оборвалось — и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть. Ах, домой бы теперь, да в ригу, да в солому! Но, постояв, Захар открыл глаза и, вместо того, чтобы свернуть влево, на Осиновые Дворы, упорно зашагал, перейдя плотину, на большую дорогу, к винной лавке.

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этих бледных равнинах за нею, в этот молчаливый степной вечер! Но Захар всеми силами противился тоске, говорил без умолку, пил все жаднее, чтобы переломить ее и наказать этого курчаво-рыжего, со стоячими белыми глазами, хромого мещанина, подло и радостно засуетившегося, когда Захар предложил ему поспорить: может он, Захар, выпить еще две бутылки или нет? Винная лавка, вымазанная мелом, странно белела против блеклой синевы восточного небосклона, на котором все прозрачнее и светосное делался круг месяца. Возле лавки стоял столик и скамейка. Мещанин в ситцевой рубахе и обтертых докрасна опойковых сапогах торчал возле стола, осев на одну ногу и касаясь земли носком другой, безо-

бразной, с высоким подъемом, с большим каблуком, выставив кострец, и, как обезьяна, с необыкновенной ловкостью и быстротой грыз подсолнухи, не спуская своих белым с Захара. А Захар, поднимая грудь, сжимая зубы, стискивая, точно железными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнувшие губы, обрывая каждое слово бурным вздохом, плохо соображая, что он говорит, поминутно проваливаясь в какую-то черную пропасть, спешил, спешил досказать, как он нес старуху...

И вдруг, размахнувшись всем туловищем, быстро встал, далеко отшвырнул ногой стол вместе с зазвеневшей бутылкой и граненым стаканом и хрипло сказал:

— Слухай! Ты!

И мещанин, уже разинувший было рот, чтобы крикнуть на Захара за бесчинство, взглянув на его бело-сизое лицо, онемел. А Захар, собрав последние силы, не дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо договорил:

— Слухай. Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя под беду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка. Отовсюду бесшумно бежали бабы и ребятишки к кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свет прозрачным дымом стоял над сухими жнивьями. А среди большой дороги белело и блестело что-то огромное, страшное: кто-то покрыл коленкором мертвое тело. И босые бабы, быстро и бесшумно подходя, крестились и робко клали медяки в его возглавии.

Семен Подъячев

Семейный разлад

С улицы через двойные рамы слышно было, как в семье у Воробьевых шла обычная “поножовщина”.

Затеял свару сам хозяин дома, немолодой уже мужик, высокий и худой Анисим Мосеич, с сыном Иваном, только что возвратившимся со службы из местного волостного исполкома, членом которого он состоял, заведывая самым важным в волости отделом — земельным.

Сын пришел из исполкома перед вечером усталый и голодный. День для него выдался тяжелый. В исполкоме было собрание председателей сельских советов по земельному делу. Много было крику, спору, ругани. Под конец у него разболелась голова и от непрерывного табачного дыма, и от напряжения. Он до того измаялся за день, что с трудом добрался до дому и, как пришел, сейчас же сел за стол и попросил мать собрать ему поесть.

Придя домой, он застал мать вместе с молодой бабенкой, женой старшего ее сына, а его брата, проживавшего по зимам где-то в Москве, на каком-то месте, сидевшими впереди на скамейке под окнами и занимавшимися таким делом, от которого его тошнило.

Молодая, с растрепанными волосами, ткнулась головой матери в коленки, а та, тихонько разбирая у ней на голове пальцами волосы, искала вшей.

Сам Анисим Мосеич лежал в это время на печке, кверху брюхом, и слушал, о чем говорят бабы.

Говорила, собственно, одна только его жена, Марья, тоже, как и он, худая, высокая, с тонкими губами, сильно состарившаяся баба. Накануне она только что возвратилась с богомолья из женского монасты-

ря, куда каждый год ходила “по обещанию” великим постом говеть, и рассказывала теперь о новоявленной иконе, “объявившейся” в монастыре, где-то под колокольней.

— Народу, — говорила она, тщательно разбирая волосы на голове молодой, — ягодка ты моя, идут к ней, к матушке, к новоявленной — тучами! Три священника с дьяконами не успевают молебны служить. Один отойдет молебен, сейчас за ним другой. Так безостановочно и служат, и служат. Страсть!

— А деньгами-то как, кладут, а? — спросил с печки Анисим Мосеич.

— Деньгами-то? А то как же! Знамо. Страсть этих бумажек наложено! Не успевают попы обирать. Кто на блюде кладет, кто попу в руку, а он, не глядя, скомкает да в карман.

— Доходная статья, — опять подал с печки свой голос Анисим Мосеич. — Спикуляция своего рода. Наживут, кому надо. Вгонят товар в цену. Еканамическая политика и здесь, у святого-то дела. Н-да!

— А как она, владычица, объявилась-то, — спросила молодая, — кому первому-то?

— Объявилась-то как? — переспросила старуха. — Монахине одной, старице, блаженной жизни старице, допрежь всех объявилась. Три ночи подряд снилась и все в одном виде, и все просила, владычица, монашину об одном: “Возьми ты меня отседа, снеси в храм”. Монашина пошла, игуменше сказала. Пошли на указанное место, глядь, а она, матушка, царица небесная, заступница, стоит на приступке на стенке и сиянье круг личика! Никто, ишь, туды, в это место, не ходил никогда. Вроде, ишь, какая-то пеще-

ра или чулан заброшенный, темный. Вот где пожела-
ла обозначиться! Взяли ее оттеда в церковь. Молеб-
ны зачали служить. Чудеса были. Слепой младенец
прозрел. Мужик один, — сказывали из какой дерев-
ни, да забыла я, лупя, память-то у меня плоха стала, —
от грыжи исцелился. Я, грешница, удостоилась —
приложилась.

— А какая она из себя, икона-то, — спросила моло-
дая, — большая?

— Какая? Нет, небольшая. С нашу вон, с казанскую.
Лик темный-пястемный! Ста-а-арая!

— Да как же старая-то, коли она только явилась? —
опять с печи задал вопрос Анисим Мосеич. — Не долж-
на быть старая. Ты это не разглядела сослепу-то. Чудно!

— Чудно! — передразнила его жена. — Вот ду-
рак-то — возьми его! Что ж ее, матушку, прости гос-
поди, по заказу кто делал, новую-то? Ничего не чуд-
но, а стало быть, так божие распределение. Не твоего
ума дело. Стало быть, желала она, матушка, старой
обозначиться. — И, помолчав немного, продолжа-
ла: — От родов, ишь, хорошо помогает, коли с верой
прибегнуть. Много, ишь, чудес было, исцелений. Бог
коли даст дожить — схожу опять посля пасхи.

Она хотела продолжать еще что-то, но в это вре-
мя как раз пришел сын и перебил ее.

— Дай, мать, поесть, — сказал он, садясь за стол. —
Страсть захотел!

— Как, чай, не захотеть, — поднимаясь и идя к печ-
ке, сказала мать. — С утра тама треплешься, не знамо
зачем. Чужую крышу кроешь. Кака польза-то для дому
от твоего места? От дому отбился, славу себе нажил
худую. Кому не надо, всяк в глаза тычет: “Коммунист

твой сынок-то”. Ну, что уж худое хвалить! Горе нам с тобой, ей-богу! В кого ты только такой уродился — не знаю.

— Погоди, — подал свой голос с печки Анисим Мосеич, — скоро, может, бог даст, дождутся, сволочи, петли. Начнут `окаянную силу вешать. За дело! Так и надо! До всего добрались. Теперь храмы господни грабить начали. Ризы с икон обдирать. На голодных, ишь! Тьфу!

— Они ризы обдирают, — сейчас же подхватила в тон ему жена, — а она, владычица, обозначилась, явилась. Нате вот вам! Вьявь чудеса!

— Кто явился? Где? — хмурясь и дожидаясь с нетерпением, когда мать нальет в чашку щей и даст ему, спросил сын.

Мать налила из вынутого из печки чугуна щей в чашку и, подавая ему на стол, сказала:

— Икона явилась чудотворная в монастыре. Чудеса происходят. Младенец слепой прозрел. Мужик от грыжи исцелился.

Иван еще больше нахмурился, промолчал и начал торопливо хлебать серые, пустые, “постные” — вода себе, капуста себе — щи.

— Нашла кому говорить! — раздался опять с печки голос Анисима Мосеича. — Да нешто они верят? Они рады и храмы-то господни под киятры отдать.

— Может, и отдадим, — не утерпев, буркнул Иван.

— Что-о-о?! — возвышая голос и точно дожидавшись этого, спросил с печки Анисим Мосеич.

Иван, зная по опыту, что будет дальше, если отвечать, промолчал и, похлебав еще немного щей, отодвинул в сторону чашку и сказал, обращаясь к матери:

— Ты бы мне, мама, молока дала. Две у нас коровы, недавно отелились, а мы воду хлебаем от своей глупости. Вот уж верно: корова на дворе, а вода на столе.

— Свининки тебе не поджарить ли, сукину сыну, для великого-то поста?! — закричал Анисим Мосевич. — Молочка захотел! Ступай в свой совдеп в проклятый, там и жри, а здесь для тебя не приготовлено. Корысти-то от тебя нисколько. Люди в дом наровят приобрести, а он из дому наровит стащить да людям отдать. Живет, — продолжал он все с большим ехидством и злобой, — бегают, как дурак какой, каждый день на службу, а спроси — что за это получает? Каки дивиденды? Что отцу в дом подает? Ничего! С отца наровит содрать. Хлеб отцовский жрет. “Апчественная служба, — передразнивая кого-то, продолжал он, переменив голос, — я на апчественной службе состою. Член земельного отдела, председатель”. Гы! Тьфу! Всего и дела. На сапоги себе не добудет. Живет, как чорт какой, прости, господи, от людей бегают. Связался с дерьмом, сам дерьмо стал!

— Не дашь, значит, молока, мать, — делая вид, что не слушает отца, спросил Иван, — грех?

— Знамо, грех! — закричала в тон мужу мать. — Бесстыжие твои глаза, постыдился бы. По-о-ост! Великие дни, а он молока. Люди хлеба не едят, а он на-ка! Эх, ты, чадушко несчастное! Зачем я тебя родила-то? Тебе бы овцой родиться-то — авось бы, волк съел.

Иван промолчал, вылез из-за стола и, сев в сторонке, начал свертывать курить.

— Что ж не доел? — беря со стола чашку с оставшимися в ней щами, спросила мать. — С осени, знать, закормлен. Молока тебе нету. Недаром младенцу люди

не дают в этикие дни, а не токмо что. Постыдился бы. Бросил бы ты свой карактер-то. Неужели же тебе противу людей-то не стыдно? Живешь, как оплеванный. Люди тебя бояться стали. Только и слышно об тебе: “каммунист, нехри́сть”. Женить парня надо, в годах уж ты. Подумал бы о себе. Постыдился бы.

— Нашла у кого стыда искать, — спускаясь с печи на пол и садясь к столу, заговорил весь потный и красный, с включенными волосами, одетый в одну рубаху без пояса, Анисим Мосеич, — нашла у кого! Ему хоть плюй в глаза — все божья роса... Чего молчишь-то, а? — вскидывая глаза на сына, злобно спросил он.

И, видя, что сын молчит, застучал кулаком по столу и заговорил все с более нарастающей злобой: — Вот что я тебе скажу, Иван да Анисимыч: долго ли ты стремить меня будешь, а? Когда конец придет твоему безобразию? Когда шайку свою разбойничью кинешь, станешь жить, как люди живут, православные христиане? Аль охота дожидаться, когда тебе добрые люди кишки выпустят да на руку намотают? Этого ждешь? Гляди, недолго ждать! Доигрались! Дошли до дела! Дальше ехать некуда! Храмы божьи грабить зачали. Да по-огоди, — зловеще воскликнул он, — по-огоди! Доберутся до вас до всех!.. Вот уж в Ножове священник объявил православным крестьянам: “Коли придут грабить, ударю в набат — бегите все к церкви спасать святыню. Не давай на поруганье храм господний”. Ты думаешь, тебя помилуют? Первого убьют. Коновод ты. Орало. Одного такого твоего приятеля ухлопали летось и тебе не миновать, и тебя прикончат.

— Полно-ка, отец, не пугай, — перебил его сын. — Ничего не будет. А убьют — помирать все одно надо.

По крайности, знать буду, за что умираю. За правду. Как вы ни вопите с попами-то вашими, а золото из церквей взято будет.

— Дурак, чорт! — закричал отец. — Собачьей смертью издохнуть, аль христианскую кончину приять, — как по-твоему, что лучше, а?

— Мне все равно. Да я об этом и не думаю. А вот нащет попа, который в набат звонить велит, нащет его подумать надо. Указать ему место, не мутил бы дураков диких для своей выгоды.

— Ты укажешь! Ты укажешь, сукин ты сын! — весь затрясаясь от злости, завопил, как бешеный, Анисим Мосеич. — Ты укажешь! Тебе какое дело, а? Ты что за начальство? Ежели да ты что сделаешь, науськаешь на отца духовного — убью! У-у-у, сволочь! Выродок окаянный!

Сын молчал. Он весь как-то точно вздрогнул, хотел, очевидно, что-то крикнуть в свою очередь, но сдержался и торопливо принялся трясущимися руками свертывать новую папироску.

В избе стало тихо. Сидевшая с растрепанной головой и все время молчавшая молодая бабенка поднялась и зажгла висевшую над столом лампу. Лампа закачалась, и по избе в тон ее качанья тоже закачались и забегали тени.

— Вот что, — начал опять, помолчав и наблюдая, как бабенка зажигала лампу, Анисим Мосеич, обращаясь к сыну: — Женить тебя после пасхи надо. Понял?

— Понял! — усмехнувшись, ответил сын. — Ну что ж?

— А ты зубы-то не скаль, я всерьез говорю, не на ветер. Невеста у тебя есть. Василья Крюкова

девка. Семья хорошая. Родителей ее мы достаточно знаем. Женись — живи. Авось, за разум возьмешься. Приобретать будешь в дом, а не из дому. Бросишь совдеп-то свой окаянный, службу-то эту непутевую. Кроме разбора да убытков, от нее ничего нет, а коли что бросишь ее, на место на хорошее можешь поступить, вон как брат твой, Григорий. У того не забалуешь. У того все так точно. Гляди, как он снарядился. Что барин ходит. Жену одел. Матери вон полсапожки прислал. Чего они теперь стоят? А ты что видишь? Эна, чисто злая рота ходишь. На сапоги не добудешь. Пиджачишка — стыдно глядеть. А тоже: кто я — “Власть! Я на апчественной службе состою. Жалованье тоже получаю”. Гы! Жалованье. Плюнуть только на твое жалованье! Ни один дурак, случись ежели уйдешь ты, на твое место не сядет... Как ни выбирай. Кому охота? Бегут от вас. Было время, поугаили вы нас достаточно. А мы — вот они! Каки были, таки есть!

— Горбатого одна могила исправит, — сказал, усмехнувшись, сын.

— Что-о? — заорал отец.

— Горбатого, говорю, одна могила исправит, — повторил сын. — Все, что ты говоришь, я давно знаю. Да не боюсь я ничего, а свое дело, худо ли, хорошо ли, делаю, делать не перестану. А насчет женитьбы ты говоришь, так ведь невеста ваша, какую вы нашли, знаю я ее, за меня не пойдет.

— Как так не пойдет! По какому это случаю? Дом, что ли, наш плох, аль еще что?

— Не пойдет! Я ведь венчаться к попу в церковь не потащу ее, а она без этого обряда навряд ли согла-

сится. Вот ежели согласится без попов, то и я согласен. Охотно женюсь.

Отец слушал эти его сказанные им слова с таким видом, что как будто бы его сейчас кто-то хочет пришибить на месте.

— Как так без попов, а?! — спросил он после продолжительного молчания, во время которого в избе стало как-то жутко, точно тишина перед идущей грозовою тучей. — Как так без попов? — возвышая голос, повторил он, и вдруг, вскочив с места, бросился с кулаками к сыну. — Да ты что же это, сволочь проклятая? — наскакивая на него, орал он. — Да ты что же это взаправду в моем доме этикие насмешки-то надо мною делаешь? Убью, окаянная сила! Я ему по-хорошему, а он вон что! Нехристь! Разбойник! На кой ты мне чорт нужен посля этого! Иди из моего дома, куда хошь! Во-о-о-н! Вон, анафема проклят! Убью!

Не зная, что еще крикнуть, задыхаясь от злобы, размахнулся и ударил сына. Удар кулаком пришелся по голове. Сын отшатнулся и стукнулся головой об стену.

Обе бабы завопили и завизжали.

— Убью! — зарычал совершенно обезумевший от злобы, страшный, с пеной по углам губ Анисим Мосеич и, схватив лежавший на скамейке, не убраный бабами валец, которым они обыкновенно колотят на речке белье, взмахнул им, не помня себя, и, прежде чем бросившаяся жена успела схватить его за руку, ударил этим вальком сына по виску.

С глухим стоном и делая какие-то судорожные движения левой рукой, Иван повалился боком на скамью.

— Убил! Батюшки, убил! Караул, убил, — пронзительно завопила перепуганная молодая бабенка, жена старшего сына, и побежала к двери, оглядываясь на бегу страшными от ужаса глазами.

— Убил! Ка-араул! Убил! Батюшки, убил! Убил! Убил! — раздались ее вопли за окнами на улице.

Владимир Набоков

Месть

Остенде, каменная пристань, серый шtrand, далекий ряд гостиниц медленно поворачивались, уплывали в бирюзовую муть осеннего дня.

Профессор закутал ноги в клетчатый плед и со скрипом откинулся в парусиновый уют складного кресла. На чистой охряной палубе былолюдно, но тихо. Сдержанно ухали котлы.

Молоденькая англичанка в шерстяных чулках бровью указала на профессора.

— Похож на Шелдона, не правда ли? — обратилась она к брату, стоящему подле.

Шелдон был комический актер, — лысый великан с круглым рыхлым лицом.

— Он очень доволен морем... — тихо добавила англичанка. После чего она, к сожалению, выпадает из моего рассказа.

Брат ее, мешковатый рыжий студент, возвращающийся в свой университет — кончались летние каникулы, — вынул изо рта трубку и сказал:

— Это наш биолог. Великолепный старик. Нужно мне поздороваться с ним.

Он подошел к профессору. Тот поднял тяжелые веки. Узнал одного из худших и прилежнейших своих учеников.

— Переход будет превосходен, — сказал студент, легко пожав большую холодную руку, поданную ему.

— Я надеюсь, — отвечал профессор, пальцами поглаживая серую свою щеку. И повторил внушительно: — Да, я надеюсь.

Студент скользнул глазами по двум чемоданам, стоящим рядом со складным креслом. Один был старый, степенный: как пятна птичьего помета на памятниках, белели на нем следы давнишних наклеек. Другой — совсем новый, оранжевый, с горящими замками, почему-то привлек внимание студента.

— Позвольте, подниму ваш чемодан, — а то упадет, — предложил он, чтобы как-нибудь поддержать разговор.

Профессор усмехнулся. Не то седобровый комик, не то стареющий боксер...

— Чемодан, говорите? А знаете ли, что я в нем везу? — спросил он, словно с некоторым раздражением. — Не угадываете? Прекрасный предмет!.. Особый род вешалки...

— Немецкое изобретение, сэр? — подсказал студент, вспомнив, что биолог только что побывал в Берлине на ученом съезде.

Профессор засмеялся сочным скрипучим смехом. Огнем брызнул золотой зуб.

— Божественное изобретение, друг мой, божественное. Необходимое всякому человеку. Впрочем, вы сами возите с собой такой же предмет. А? Или, может быть, вы — полип?

Студент осклабился. Знал, что профессор склонен темно шутить. О старике много толковали в университете. Говорили, что мучит он свою жену — совсем молодую женщину. Студент раз видел ее: худенькая такая, с поразительными глазами...

— Как поживает, сэр, супруга ваша? — спросил рыжий студент.

Профессор отвечал:

— Открою вам правду, мой дорогой друг. Я долго боролся с собой, но теперь принужден вам сказать... Мой дорогой друг, я люблю путешествовать молча. Верю, вы простите меня.

И тут, разделяя участь своей сестры, студент, смущенно посвистывая, навсегда уходит с этих страниц.

А биолог надвинул черную фетровую шляпу на щетинистые брови, так как ослепительно била в глаза морская зыбь, и погрузился в мнимый сон. Серое бритое лицо его, с крупным носом и тяжелым подбородком, было облитое солнцем и казалось только что вылепленным из мокрой глины. Когда на солнце набегало легкое осеннее облако, лицо профессора становилось вдруг каменным — темнело и высыхало. Все это, конечно, было лишь сменой теней и света, а не отражением мыслей его. Вряд ли на профессора приятно было бы смотреть, если б действительно мысли его отражались.

Дело в том, что на днях он получил из Лондона от наемного сыщика донесение о том, что жена ему изменяет. Перехвачено было письмо, написанное мелким, знакомым почерком и начинающееся так: “Мой любимый, мой Джэк, я еще полна твоим последним поцелуем...”

А профессора звали отнюдь не Джэком. В этом-то и была сущность всего дела. Сообразив это, он почувствовал не удивление, не боль и даже не мужественную досаду, а — ненависть, острую и холодную, как ланцет. Он понял совершенно отчетливо, что жену свою он убьет. Колебаний быть не могло. Оставалось только придумать самый мучительный, самый изощренный вид убийства. Откинувшись в складном

кресле, он в сотый раз перебирал все пытки, описанные путешественниками и средневековыми учеными. Ни одна ему не казалась достаточно болезненной. Когда вдали, на грани зеленой зыби, забелели скалы Довера, он еще-ничего не решил.

Пароход смолк и, покачиваясь, пристал. Профессор последовал по сходням за носильщиком. Таможенный чиновник, скороговоркой перечтя вещи, не подлежащие ввозу, попросил открыть чемодан — новый, оранжевый. Профессор повернул легкий ключик в замке, отпахнул кожаную крышку. Сзади него какая-то русская дама громко вскрикнула: ба-тюшки! — и затем нервно рассмеялась. Двое бельгийцев, стоящих по бокам профессора, взглянули на него как-то снизу; один пожал плечами, другой тихо свистнул. Англичане бесстрастно отвернулись. Чиновник, взятый врасплох, выпучил глаза на содержимое чемодана. Всем было очень жутко и неловко.

Биолог холодно назвал себя, упомянул университетский музей. Лица прояснились. Опечалились только несколько дам, поняв, что преступления не произошло.

— Но почему вы возите *это* в чемодане? — с почти-тельным укором спросил чиновник, осторожно опустив крышку и чиркнув мелом по яркой коже.

— Я торопился, — сказал профессор, устало жмурясь, — некогда было заколачивать в ящик. Притом вещь ценная, в багаж я не отдал бы.

Профессор сутулой, но упругой поступью прошел на дебаркадер, мимо полисмена, похожего на громадную игрушку. Но внезапно он остановился, как бы вспомнив что-то, и со светлой, доброй улыбкой про-

бормотал: “А! Найдено... Остроумнейший способ...” Затем облегченно вздохнул, купил два банана, пачку папирос, хрустящие простыни газет — и через несколько минут летел в уютном отделении континентального экспресса, вдоль сияющего моря, вдоль белых откосов, вдоль изумрудных пастбищ Кента.

II

Действительно чудесные глаза... Зрачок — что блестящая капля чернил на сизом атласе. Волосы — подстриженные, бледно-золотые: шапка пышного пуха. Сама — маленькая, прямая, с плоской грудью.

Она ждала мужа уже накануне, а сегодня наверное знала, что он приедет. В сером открытом платье, в бархатных туфельках, сидела она на павлиньей тахте, в гостиной, и думала о том, что напрасно муж не верит в духов и откровенно презирает молодого шотландца-спирита с белыми нежными ресницами, который иногда у нее бывает. Ведь с нею и впрямь случаются странные вещи. Недавно во сне ей явился покойник-юноша, с которым до замужества она блуждала в сумерках, когда так призрачно белеет цветущая ежевика. Утром она, еще как бы в дремоте, написала ему карандашом письмо — письмо своему сновиденью. В этом письме она солгала бедному Джэку. Ведь она его почти забыла, любит испуганной, но верной любовью своего страшного, мучительного мужа, а меж тем хотелось теплою земных слов согреть, ободрить милого, призрачного гостя. Письмо таинственно исчезло из бювара, и в ту же ночь ей приснился длинный стол, из-под

которого вдруг вылез Джэк и благодарно закивал ей... Теперь ей почему-то было неприятно вспоминать этот сон... Словно она мужу изменила с призраком...

В гостиной было тепло и нарядно. На широком низком подокознике лежала шелковая подушка, ярко-желтая в фиолетовую полоску...

Профессор приехал в ту самую минуту, когда она решила, что пароход его пошел ко дну. Выглянув из окна, она увидела черный верх таксомотора, протянутую ладонь шофера и тяжелые плечи мужа, который, нагнув голову, платил. Пролетела по комнатам, просеменила вниз по лестнице, качая худенькими, оголенными руками.

Он поднимался ей навстречу, сутулый, в широком пальто. За ним слуга нес чемоданы.

Она прижалась к его шерстяному кашне, легко подняв каблуком вверх одну ногу, тонкую, в сером чулке. Он поцеловал ее в теплый висок. С мягкой усмешкой отстранил ее руки.

— Я запылен... погоди... — пробормотал он, держа ее за кисти.

Она, жмурясь, тряхнула головой — бледным пожаром волос.

Профессор, нагнувшись, поцеловал ее в губы, усмехнулся опять.

За ужином, выпучив белую кольчугу крахмальной рубашки и крепко двигая лоснистыми скулами, он рассказывал о своем недолгом путешествии. Был сдержанно весел. Крутые шелковые отвороты его жакета, бульдожья челюсть, лысая громадная голова с железными жилками на висках — все это возбуждало в жене его чудесную жалость: так жаль ей было все-

гда, что он, изучающий все пылинки жизни, не хочет войти к ней в мир, где текут стихи Деламара и проносятся нежнейшие астралы.

— Что, постукивали без меня твои призраки? — спросил он, угадав ее мысли.

Ей захотелось рассказать ему о сновидении, о письме, — но было как-то совестно...

— А знаешь, — продолжал он, осыпая сахаром розовый ревень, — ты и твои друзья играют с огнем. Действительно странные бывают вещи. Мне один венский доктор на днях рассказал о невероятных перевоплощениях. Женщина одна, — гадалка такая, кликуша, — умерла — от разрыва сердца, что ли? — и когда доктор раздел ее — это было в мадьярской лачуге, при свечах, — то тело этой женщины поразило его: оно было все подернуто красноватым блеском, мягкое и склизкое на ощупь. И приглядевшись, он понял, что это тело, полное и тугое, сплошь состоит как бы из тонких круговых поясков кожи, — словно оно было все перевязано — ровно, крепко — незримыми нитками, — или вот есть такая реклама шин французских — человек, состоящий из шин... Только у нее шины были совсем тонкие и бледно-красные. И пока доктор смотрел, тело мертвой стало медленно распутываться, как огромный клубок... ее тело было тонким, бесконечно длинным червем, который разматывался и полз — уходил под дверную щель, — и на постели остался голый, белый, еще влажный косяк... А ведь у этой женщины был муж, — он когда-то целовал ее, — целовал червя...

Профессор налил себе рюмку портвейна цвета красного дерева и стал пить густыми глотками, не от-

рывая сощуренных глаз от лица жены. Она зябко повела худыми, бледными плечами...

— Ты сам не знаешь, какую страшную вещь ты мне рассказал, — проговорила она взволновано. — Значит, дух женщины ушел в червя. Страшно все это...

— Я иногда думаю, — сказал профессор, тяжело выстрелив манжетой и рассматривая свои тупые, серые пальцы, — что в конце-то концов моя наука — праздный обман, что физические законы выдуманы нами, что все, решительно все, может случиться... Те, кто предаются таким мыслям, сходят с ума...

Он заглушил зевок, постукивая сжатым кулаком по губам.

— Что с тобой случилось, друг мой? — тихо воскликнула его жена. — Ты никогда так не говорил раньше... Мне казалось, ты все знаешь... все разметил...

На мгновение судорожно раздулись ноздри у профессора, вспыхнул золотой клык. Но тотчас же его лицо обмякло снова.

Он потянулся и встал из-за стола.

— Болтаю я... пустое... — сказал он ласково и спокойно. — Я устал... Спать пойду... Не зажигай свет, когда войдешь. Прямо ложись в нашу постель... В нашу, — повторил он значительно и нежно, как давно не говорил.

Это слово мягко звенело у нее в душе, когда она осталась одна в гостиной.

Пять лет была замужем она, и несмотря на причудливый нрав мужа, на частые вихри его беспричинной ревности, на молчанье, и угрюмость, и непонятливость — она чувствовала себя счастливой, так как любила и жалела его. Она, тонкая, белая, — он, гро-

мадный, лысый, с клочьями серой шерсти посередине груди, составляли невозможную, чудовищную чету, — и все же ей приятны были его редкие сильные ласки.

Хризантема, стоящая в вазе на камине, уронила с сухим шорохом несколько загнутых лепестков.

Она вздрогнула, неприятно екнуло сердце, ей вспомнилось, что воздух всегда полон призраков, что даже ученый муж ее отметил их страшное проявление. Вспомнилось ей, как Джэkki вынырнул из-под стола и с жуткой нежностью ей закивал. Показалось, что в комнате все предметы выжидательно на нее смотрят. Ветер страха обдал ее. Она быстро вышла из гостиной, удерживая нелепый крик. Передохнула: какая я, право, глупая... В туалетной комнате долго разглядывала в зеркале свои блестящие зрачки. Ее маленькое лицо в шапке пушистого золота показалось ей чужим...

Легкая, как девочка, — в одной кружевной сорочке, — она вошла, стараясь не задеть мебель, в темную спальню. Протянула руки, нащупала изголовье постели, легла с краю. Знала, что не одна, что муж лежит рядом. Несколько мгновений неподвижно глядела вверх, чувствуя, как дико и глухо бухает сердце в груди.

Когда глаза ее привыкли к темноте, пересеченной полосками луны, льющейся сквозь кисейную штору, она повернула голову к мужу. Он лежал спиной к ней, закутавшись в одеяло. Она только видела его лысое темя, которое казалось необычайно гладким и белым в луже лунного света.

“Не спит, — ласково подумала она, — если бы спал, то похрапывал...”

Улыбнулась — и быстро всем телом скользнула к мужу, раскинула под одеялом руки для знако-

мого объятья. Пальцы ее вонзились в гладкие ребра. Коленом ударилась она в гладкую кость. Череп, вращая черными глазницами, покатился с подушки к ней на плечо.

Распахнулся электрический свет. Профессор в своем грубом смокинге, сияя вздутой крахмальной грудью, глазами, громадным лбом, вышел из-за ширмы и подошел к постели.

Одеяло, простыни, спутавшись, сползли на ковер. Жена его лежала мертвая, обнимая белый, кое-как свинченный скелет горбуна, что профессор приобрел за границей для университетского музея.

Гайто Газданов

Черные лебеди

Двадцать шестого августа прошлого года я раскрыл утром газету и прочел, что в Булонском лесу, недалеко от большого озера, был найден труп русского, Павлова. В бумажнике его было полтора ста франков; там же лежала записка, адресованная его брату:

“Милый Федя, жизнь здесь тяжела и неинтересна. Желая тебе всего хорошего. Матери я написал, что уехал в Австралию”.

Я очень хорошо знал Павлова и знал, что именно двадцать пятого августа он застрелится: этот человек никогда не лгал и не хвастался.

Числа десятого того же месяца я пришел к нему за деньгами: мне нужно было взять в долг полтора ста франков.

— Когда вы сможете их вернуть?

— Числа двадцатого, двадцать пятого.

— Двадцать четвертого.

— Хорошо. Почему именно двадцать четвертого?

— Потому, что двадцать пятого будет поздно. Двадцать пятого августа я застрелюсь.

— У вас неприятности? — спросил я.

Я не был бы так лаконичен, если бы не знал, что Павлов никогда не меняет своих решений и что отговаривать его — значит попусту терять время.

— Нет, особенных неприятностей нет. Но живу я, как вы знаете, довольно скверно, в будущем никаких изменений не предвижу и нахожу, что все это очень неинтересно. Дальнейшего смысла так же продолжать есть и работать, как сейчас, я не вижу.

— Но у вас есть родные...

— Родные? — сказал он. — Да, есть. Они особенно не огорчатся; то есть им, конечно, некоторое время будет неприятно, но, в сущности, никто из них во мне не нуждается.

— Ну, хорошо, — сказал я, — я все-таки думаю, что вы не правы. Мы еще поговорим об этом, если вы хотите, конечно, вполне объективно. Вы вечерами дома?

— Да, как всегда. Приходите. Впрочем, мне кажется, я знаю, что вы мне скажете.

— Это мы увидим.

— Хорошо, до свиданья, — сказал он, открывая мне дверь и улыбаясь своей обыкновенной, обидной и холодной улыбкой.

После этого разговора я уже твердо знал, что Павлов застрелится: я был так же в этом уверен, как в том, что, выйдя от Павлова, пошел по тротуару. Однако, если бы о решении Павлова мне сказал кто-нибудь другой, я счел бы это невероятным. Я вспомнил тут же, что уже года два тому назад один из наших общих знакомых говорил мне:

— Вот увидите, он плохо кончит. У него не осталось ничего святого. Он бросится под автобус или под поезд. Вот увидите...

— Друг мой, вы фантазируете, — ответил я.

Из всех, кого я знал, Павлов был самым удивительным человеком во многих отношениях; и, конечно, самым выносливым физически. Его тело не знало утомления; после одиннадцати часов работы он шел гулять и, казалось, никогда не чувствовал усталости. Он мог питаться одним хлебом целые месяцы и не ощущать от этого ни недомоганий, ни не-

удобств. Работать он умел, как никто другой, и так же умел экономить деньги. Он мог жить несколько суток без сна; вообще же он спал пять часов. Однажды я встретил его на улице в половине четвертого утра; он шел по бульвару неторопливой походкой, заложив руки в карманы своего легкого плаща, — а была зима; но он, кажется, и к холоду был нечувствителен. Я знал, что он работает на фабрике и что до первого фабричного гудка остается всего четыре часа.

— Поздно вы гуляете, — сказал я, — ведь вам скоро на работу.

— У меня еще четыре часа времени. Что вы думаете о Сен-Симоне? Он, по-моему, был интересный человек.

— Почему вдруг Сен-Симон?

— А я сдаю политическую историю Франции, — сказал он, — и там, как вам известно, фигурирует Сен-Симон. Я занимался с вечера до сих пор, теперь решил пройтись.

— А вы сегодня не работаете?

— Нет, почему же, работаю. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

И он продолжал так же медленно шагать по бульвару. Но физические его качества казались несущественными и неважными по сравнению с его душевной силой, пропадавшей совершенно впустую. Он сам не мог бы, пожалуй, определить, как он мог бы использовать свои необыкновенные данные; они оставались без приложения. Он мог бы, я думаю, быть незаменимым капитаном корабля, но при непременном условии, чтобы с кораблем постоянно происходили катастрофы; он мог бы быть прекрас-

ным путешественником через город, подвергающийся землетрясению, или через страну, охваченную эпидемией чумы, или через горящий лес. Но ничего этого не было — ни чумы, ни леса, ни корабля; и Павлов жил в дрянной парижской гостинице и работал, как все другие. Я подумал однажды, что, может быть, его же собственная сила, искавшая выхода или приложения, побудила его к самоубийству; он взорвался как закупоренный сосуд от страшного внутреннего давления. Но всякий раз, пытаясь понять причины его добровольной смерти, я вынужден был отказаться от этого, так как к Павлову не подходил ни один из тех принципов, которые определяют поведение человека в самых разнообразных случаях; и в результате Павлов неизменно оказывался вне всей системы рассуждений и предположений; он был в стороне, он ни на кого не походил.

У него была особенная улыбка, от которой вначале становилось неприятно: это была улыбка превосходства, причем чувствовалось — это ощущали почти все, даже самые тупые люди, — что у Павлова есть какое-то право так улыбаться.

Он никогда не говорил неправды; это было совершенно удивительно. Он, кроме того, никому не льстил и, действительно, говорил каждому, что он о нем думал; и это всегда бывало тяжело и неловко, и наиболее находчивые люди старались обратить это в шутку и смеялись; и он смеялся вместе с ними — своим особенным, холодным смехом. И только один раз за все время моего долгого знакомства с ним я услышал в его голосе мгновенную мягкость, к которой считал его неспособным. Мы говорили о воровстве.

— А, это любопытная вещь, — сказал он. — Вы знаете, я раньше был вором; но потом решил, что не стоит, и перестал воровать и теперь уж больше ничего не украду.

— Вы были вором? — удивился я.

— Что же тут странного? Большинство людей воры. Если они не крадут, то из боязни или по случайности. Но в душе почти каждый человек вор.

— Мне это очень часто приходилось слышать; я, пожалуй, готов согласиться, что это одно из наиболее распространенных заблуждений. Я не думаю, чтобы каждый человек был вор.

— А я думаю. У меня на воров особенное чутье. Я вижу сразу, может человек украсть или нет.

— Я, например?

— Можете, — сказал он. — Сто франков вы не украдете. Но из-за женщины можете украсть и если будет соблазн больших денег — тоже.

— А Лева? — спросил я. Я учился с Павловым уже за границей; у нас было много общих товарищей — одним из них был Лева — веселый, беспечный и, в общем, неплохой человек.

— Украдет.

— А Васильев?

Это был один из лучших учеников — угрюмый и болезненно-добросовестный человек, неряшливо одетый, очень усердный и скучный.

— Тоже, — не колеблясь сказал Павлов.

— Как? Но он добродетелен, трудолюбив и каждый день молится Богу.

— Он, главное, трус, а все остальное, что вы сказали, — неважно. Но он вор — и мелкий вор при этом.

— А Сережа?

Сережа был наш товарищ, лентяй, мечтатель и дилетант — но очень способный; он любил часами лежать на траве, думая о несбыточных вещах, мечтая о Париже — мы жили тогда в Турции, — о море и еще Бог знает о чем; и все настоящее, что окружало его, было ему чуждо и безразлично. Однажды, накануне одного из важных экзаменов, я проснулся ночью и увидел, что Сережа не спит и курит.

— Ты что, — спросил я, — волнуешься?

— Да, немного, — сказал он неуверенно. — Это пустяки. — Нет, не совсем. — Ты боишься провалиться? — Да ты о чем? — сказал он с удивлением. — Об экзамене, конечно. — Ах нет, это неинтересно. Я совсем о другом думаю. — О чем же именно? — Я думаю: паровая яхта стоит очень дорого, а парусную не стоит делать. А на паровую у меня не будет денег, — сказал он с убеждением; а ему не на что было купить папирос. Он курил — и бросил окурочек; было темно, и мне показалось, что окурочек упал на одеяло. — Сережа, — сказал я через минуту, — у меня такое впечатление, что твой окурочек упал на одеяло. — Ну что же? — ответил он. — Дай ему разгореться, тогда будет видно. Но чаще они потухают: табак сырой. — И он заснул и, наверное, видел во сне яхту. — А Сережа? — повторил я.

И лицо Павлова в первый раз приняло непривычное для него, мягкое выражение, и он улыбнулся совсем иначе, чем всегда, — удивительной и открытой улыбкой.

— Нет, Сережа никогда не украдет, — сказал он. — Никогда.

Я был одним из немногих его собеседников; меня влекло к нему постоянное любопытство; и, разгова-

ривая с ним, я забывал о необходимости — которую обычно не переставал чувствовать — каким-нибудь особенным образом проявить себя — сказать что-либо, что я находил удачным, или высказать какое-нибудь мнение, не похожее на другие; я забывал об этой отвратительной своей привычке, и меня интересовало только то, что говорил Павлов. Это был, пожалуй, первый случай в моей жизни, в которой мой интерес к человеку не диктовался корыстными побуждениями — то есть желанием как-то определить себя в еще одной комбинации условий. Я не мог бы сказать, что любил Павлова, он был мне слишком чужд — да и он никого не любил и меня так же, как остальных. Мы оба знали это очень хорошо. Я знал, кроме того, что у Павлова не было бы сожаления ко мне, если бы мне пришлось плохо; и убедись я, что возможность такого сожаления существует, я тотчас же отказался бы от нее.

Я помнил, как однажды Павлов рассказывал мне о знакомом, который попросил у него денег, дав честное слово, что вернет их завтра, — и не приходил две недели; затем явился к нему ночью и со слезами просил прощения — и еще хотя бы пять франков, так как ему нечего есть.

— Что же вы сделали? — спросил я.

— Я дал ему денег. Я другому человеку не дал бы; но ведь он не человек, я ему сказал это. Но он промолчал и ждал, покуда я достану деньги из кармана.

Он улыбнулся и прибавил:

— Я дал ему, между прочим, десять франков.

У него не было душевной жалости, была жалость логическая; мне кажется, это объяснялось тем, что сам он никогда не нуждался в чем бы то ни было сочув-

ствии. Его не любили товарищи; и только уж очень простодушные люди были с ним хороши: они его не понимали и считали немного чудаковатым, но, впрочем, отличным человеком. Может быть, это было в известном смысле верно; но только не в том, в каком они думали. Во всяком случае, Павлов был довольно щедр; и деньги, которые он зарабатывал, проводя десять-одиннадцать часов на фабрике, он тратил легко и просто. Он довольно много денег раздавал, у него было множество должников; и нередко он помогал незнакомым людям, подходившим к нему на улице. Как-то, когда мы с ним проходили по пустынному бульвару Араго — было темно и довольно поздно и холодно, во всех домах были наглухо закрыты ставни, деревья без листьев еще особенно, как мне казалось, усиливали впечатление пустынности и холода, — к нам подошел обтрепанный, коренастый мужчина и хрипло сказал, что он только вчера вышел из госпиталя, что он рабочий, что он остался на улице зимой; не можем ли мы ему чем-нибудь помочь? — *Voilà mes papiers*¹, — сказал он, зная, что на них не посмотрят. Павлов взял бумаги, подошел к фонарю и показал мне их; там не было никакого упоминания о госпитале.

— Вы видите, как он лжет, — сказал он по-русски.

И, обратившись к бродяге, он засмеялся и дал ему пятифранковый билет.

В другой раз мы встретили русского хромого, который тоже просил денег. Я его уже знал. Когда я однажды — это было вскоре после моего приезда в Париж — вышел в летний день из библиотеки и проходил по улице, читая, я вдруг почувствовал, как кто-то просунул мне над книгой сухую, холодную

¹ Вот мои документы (франц.).

руку, — и, подняв глаза, я увидел перед собой человека в приличном сером костюме и хорошей шляпе, хромого. Небрежным движением приподняв шляпу, он сказал с необыкновенной быстротой:

— Вы русский? Очень рад познакомиться, благодаря моей инвалидности, на которую вы можете обратить внимание, и будучи лишен возможности, подобно другим, зарабатывать деньги тяжелым эмигрантским трудом в изгнании, я вынужден к вам обратиться в качестве бывшего боевого офицера добровольческой армии и студента последнего курса историко-филологического факультета Московского императорского университета, как бывший гусар и политический непримиримый враг коммунистического правительства с просьбой уделить мне одну минуту вашего внимания и, войдя в мое положение, оказать мне посильную поддержку.

Он произнес все это, не остановившись, и я бы никогда не запомнил его длинного и бестолкового обращения, тем более что я половины не понял, — если бы впоследствии мне не пришлось слышать это еще несколько раз — и почти без изменений; только иногда он оказывался студентом не Московского, а Казанского или Харьковского университета и не гусаром, а уланом или артиллеристом или лейтенантом Черноморского флота. Это был странный человек; я видел его случайно, вечером, в садике возле церкви Сен-Жермен-де-Пре — он сидел рядом с пожилой и грустной женщиной, согнувшись и опустив голову, и у него был такой несчастный вид, что мне стало жаль его. Но через три дня в кафе на площади Одэон этот же человек курил сигару, пил какую-то лиловую жидкость в осо-

бенно длинном стакане и обнимал правой рукой раскрашенную проститутку.

В тот день, когда он впервые подошел ко мне, у меня было всего шесть франков, и я сказал ему:

— К сожалению, я не могу вам помочь, у меня нет денег. Я могу вам дать франка два; больше мне было бы трудно.

— Три пятьдесят, пожалуйста, — сказал он.

Я удивился:

— Почему именно три пятьдесят?

— А потому, молодой человек, — ответил он почти наставительно, — что три пятьдесят — это цена обеда в русской обжорке. — И, приняв опять свой благородный вид, он прибавил: — Благодарю вас, коллега. — И ушел, прихрамывая и опираясь на свою трость.

И вот именно он обратился к Павлову и ко мне.

— Вы русские? Очень рад познакомиться, благодаря моей инвалидности...

— Я уже это знаю, — сказал Павлов. — Мне известно, что вы учились в Московском и Казанском университете, были гусаром, уланом, артиллеристом и моряком. Не плавали ли вы на подводной лодке, между прочим, и не были ли в духовной академии?

— Вы его не знаете? — спросил он меня. — Я ему давал деньги уже пять раз.

— Знаю, — сказал я. — Я думаю, что насчет историко-филологического факультета — это он увлекается. Но вообще он несчастный человек.

— Следующий раз вы обратитесь к другим, — проговорил Павлов. — В общей сложности я заплатил вам пятьдесят франков: я считаю, что таких денег вы не стоите. Не думайте, что я вам это говорю, пользу-

ясь вашим плохим положением: если бы на вашем месте был какой-нибудь архиерей, я бы сказал ему то же самое. Вот вам деньги.

Павлов жил в очень маленькой комнате одного из дешевых отелей Монпарнаса. Он покрасил сам ее стены, прибил полки, поставил книги, купил себе керосинку; и когда у него набиралась известная сумма денег, позволявшая ему некоторое время не работать, он проводил в этой комнате целые месяцы, один с утра до вечера, выходя на улицу, только чтобы купить хлеба, или колбасы, или чаю.

— Чем вы все время занимаетесь? — спросил я его в один из таких периодов.

— Я думаю, — ответил он.

Я не придавал тогда значения его словам; но позже я узнал, что Павлов, этот непоколебимый и непогрешимый человек, был в сущности мечтателем. Это казалось чрезвычайно странным и менее всего на него похожим — и, однако, это было так. Я полагаю, что, кроме меня, никто об этом не подозревал, потому что никто не пытался расспрашивать Павлова, о чем он думает, никому не приходило в голову, тем более что сам Павлов был на редкость нелюбопытен; он делал опыты только над собой.

Он прожил в Париже четыре года, работая с утра до вечера, почти ничего не читая и ничем особенно не интересуясь. Потом вдруг он решил получить высшее образование. Это произошло потому, что кто-то в разговоре с ним подчеркнул, что кончил университет.

— Что же, университет это не Бог весть что, — сказал Павлов.

— Вы, однако, его не кончили.

— Да, но это случайно. Впрочем, вы мне подали мысль: я кончу университет.

И он стал учиться: поступил на философское отделение историко-филологического факультета и занимался вечерами после работы — что было бы всякому другому почти не под силу. Сам Павлов хорошо это знал. Он говорил мне:

— Вот пишут о каких-то русских, которые ночью работают на вокзале, а днем учатся. Такие вещи напоминают мне описания военных корреспондентов; я помню, читал в газете о приготовлениях к бою, и было сказано, что “пушки грозно стояли хоботами к неприятелю”. Для всякого военного, даже не артиллериста, ясно, что этот корреспондент в пушках ничего не понимал и вряд ли их видел. Так и здесь: скажут какому-нибудь репортеру, а он и сообщает — дескать, ночью работают, а днем учатся. А пошлите вы такого репортера на ночную работу, так он даже своей хроники не сможет написать, а не то что заниматься серьезными вещами.

Он задумался; потом улыбнулся, как всегда:

— Приятно все-таки, что на свете много дураков.

— Почему это вам доставляет удовольствие?

— Не знаю. Есть утешение в том, что как вы ни плохи и ни ничтожны, существуют еще люди, стоящие гораздо ниже вас.

Это был единственный случай, в котором он прямо выразил свое странное злорадство; обычно он его не высказывал. Трудно вообще было судить о нем по его словам — трудно и сложно; многие, знающие его недостаточно, ему просто не верили — да это и было понятно. Он сказал как-то:

— Служа в белой армии, я был отчаянным трусом; я очень боялся за свою жизнь.

Это показалось мне невероятным, я спросил о трусости Павлова у одного из его сослуживцев, которого случайно знал.

— Павлов? — сказал он. — Самый храбрый человек вообще, которого я когда-либо видел.

Я сказал об этом Павлову.

— Ведь я не говорил вам, — ответил он, — что уклонялся от опасности. Я очень боялся — и больше ничего. Но это не значит, что я прятался. Я атаковал вдвоем с товарищем пулеметный взвод и захватил два пулемета, хотя подо мной убили лошадь. Я ходил в разведки — и вообще, разве я мог поступать иначе? Но все это не мешало мне быть очень трусливым. Об этом знал только я, а когда я говорил другим, они мне не верили.

— Кстати, как ваши занятия?

— Через два года я кончу университет.

И я был свидетелем того, как через два года он разговаривал с тем своим собеседником, с которым он впервые заговорил о высшем учебном заведении. Они говорили о разных вещах, и в конце разговора собеседник Павлова спросил:

— Ну, что же, вы продолжаете думать, что университетское образование это случайность и пустяк?

— Больше, чем когда бы то ни было.

И он пожал плечами и перевел речь на другую тему. Он не сказал, что за это время он кончил историко-филологический факультет Сорбонны.

Странное впечатление производила его речь: никогда во всем, что он говорил, я не замечал никакого желания сделать хотя бы небольшое усилие над со-

бой, чтобы сказать любезность или комплимент или просто умолчать о неприятных вещах; вот почему его многие избегали. Один раз, находясь в обществе нескольких человек, он сказал вскользь, что у него мало денег. Среди нас был некий Свистунов, молодой человек, всегда хорошо одетый и несколько хвастливый: денег у него было много, и он постоянно говорил, сопровождая свои слова пренебрежительными жестами: — Я не понимаю, господа, вы не умеете жить. Я ни у кого не прошу займы, живу лучше вас всех и никогда не испытываю унижений. Я себе представляю, что должен чувствовать человек, просящий деньги в долг.

И вот этот Свистунов, зная, что Павлов исключительно аккуратен и что, предложив ему свою поддержку, он ничем не рискует, сказал, что он с удовольствием даст Павлову столько, сколько тот попросит.

— Нет, — ответил Павлов, — я у вас денег не возьму.

— Почему?

— Вы очень скупы, — сказал Павлов. — И к тому же мне не нравится ваша услужливость. Я ведь к вам не обращаюсь.

Свистунов побледнел и смолчал.

Павлов не знал и не любил женщин. На фабрике, где он работал, его соседкой была француженка лет тридцати двух, не так давно овдовевшая. Он ей чрезвычайно нравился: во-первых, он был прекрасным работником, во-вторых, он был ей физически приятен: она иногда подолгу смотрела на быстрые и равномерные движения его рук, обнаженных выше локтя, на его розовый затылок и широкую спину. Она была просто работницей и считала Павлова тоже рабочим: он почти не говорил со своими товарищами по ма-

стерской, и она приписывала это его застенчивости, тому, что он иностранец, и другим обстоятельствам, нисколько не соответствовавшим тем причинам, которые действительно побуждали Павлова молчать. Она неоднократно пыталась вызвать его на разговор, но он отвечал односложно.

— *Il est timide*¹, — говорила она.

Наконец ей это удалось. Он говорил по-французски несколько книжным языком — он ни разу не употребил ни одного слова “арго”. Это была странная беседа: и нельзя было себе представить более разных людей, чем эта работница и Павлов.

— Послушайте, — сказала она, — вы человек молодой, и я думаю, что вы не женаты.

— Да.

— Как вы обходитесь без женщины? — спросила она.

Если у них было что-нибудь общее, то оно заключалось в том, что оба они называли вещи своими именами. Только говорили и думали они о разных понятиях; и я думаю, что расстояние, разделявшее их, было, пожалуй, самым большим, какое может разделять мужчину и женщину.

— Вам необходима жена или любовница, — продолжала она. — *Écoute, mon vieux*², — она перешла на “ты”, — мы могли бы устроиться вместе. Я бы научила тебя многим вещам, я вижу, что ты неопытен. И потом — у тебя нет женщины. Что ты скажешь?

Он смотрел на нее и улыбался. Как она ни была нечувствительна, она не могла не увидеть по его улыбке, что сделала грубейшую ошибку, обратившись

¹ Он робок (франц.).

² Послушай, старина (франц.).

к этому человеку. У нее почти не осталось надежды на благополучный исход разговора. Но все-таки — уже по инерции — она спросила его:

— Ну, что ты скажешь об этом?

— Вы мне не нужны, — ответил он.

В нем была сильна еще одна черта, чрезвычайно редкая: особенная свежесть его восприятия, особенная независимость мысли — и полная свобода от тех предрассудков, которые могла бы вселить в него среда. Он был *un déclassé*¹, как и другие: он не был ни рабочим, ни студентом, ни военным, ни крестьянином, ни дворянином — и он провел свою жизнь вне каких бы то ни было сословных ограничений: все люди всех классов были ему чужды. Но самым удивительным мне казалось то, что не будучи награжден очень сильным умом, он сумел сохранить такую же независимость во всем, что касалось тех областей, где влияние авторитетов особенно сильно — в литературе, в науках, в искусстве. Его суждения об этом бывали всегда не похожи на все или почти все, что мне приходилось до тех пор слышать или читать.

— Что вы думаете о Достоевском, Павлов? — спросил его молодой поэт, увлекавшийся философией, русской трагической литературой и Нитцше.

— Он был мерзавец, по-моему, — сказал Павлов.

— Как? Что вы сказали?

— Мерзавец, — повторил он. — Истерический субъект, считавший себя гениальным, мелочный, как женщина, лгун и картежник на чужой счет. Если бы он был немного благообразнее, он поступил бы на содержание к старой купчихе.

¹ Деклассирован (франц.).

— Но его литература?

— Это меня не интересует, — сказал Павлов, — я никогда не дочитал ни одного его романа до конца. Вы меня спросили, что я думаю о Достоевском. В каждом человеке есть одно какое-нибудь качество, самое существенное для него, а остальное — так, добавочное. У Достоевского главное то, что он мерзавец.

— Вы говорите чудовищные вещи.

— Я думаю, что чудовищных вещей вообще не существует, — сказал Павлов.

Я пришел к нему пятнадцатого числа, пил с ним чай и потом заговорил о самоубийстве.

— Вам осталось десять дней, — начал я.

— Да, приблизительно. Ну, какие же вы приведете соображения, чтобы доказать нецелесообразность такого поступка? Вы можете говорить все, что вы думаете: вы знаете, что это ничего не изменит.

— Да, знаю. Но я хотел бы еще раз услышать ваши доводы.

— Они чрезвычайно просты, — сказал он. — Вот судите сами: я работаю на фабрике и живу довольно плохо. Ничего другого придумать нельзя: я думал об одной поездке, но теперь мне кажется, что, если бы она вдруг не оправдала моих надежд, это было бы для меня самым сильным ударом. Дальше: никому решительно моя жизнь не нужна. Моя мать успела меня забыть, я для нее умер десять лет тому назад. Сестры мои замужем и со мной не переписываются. Брат мой, которого вы знаете, оболтус двадцати пяти лет, обойдется без меня. В Бога я не верю; ни одной женщины не люблю. Жить мне скучно: работать и есть? Меня не интересует ни политика, ни искусство, ни судь-

ба России, ни любовь: мне просто скучно. Карьеры я никакой не сделаю — да и карьера меня не соблазнила бы. Скажите, пожалуйста, после всего этого: какой смысл мне так жить? Если бы я еще заблуждался и считал, что у меня есть какой-нибудь талант. Но я знаю, что талантов у меня нет. Вот и все.

Он сидел против меня и улыбался и точно говорил всем своим высокомерным видом: вы видите, какие это все простые вещи и вместе с тем я их понял, а вы не понимаете и не поймете. Я бы не мог сказать, что мне было жаль Павлова, как жаль было бы товарища, у которого я, может быть, вырвал бы из рук револьвер. Павлов был где-то вне сожаления: он был точно окружен средой, сквозь которую чувства других людей не могли проникнуть, как не проникают световые лучи через непрозрачный экран; он был слишком далек и холоден. Но я жалел о том, что через некоторое время перестанет двигаться и исчезнет из жизни такой ценный и дорогой, такой незаменимый человеческий механизм; и все его качества — неутомимость, храбрость и страшная душевная сила — все это растворится в воздухе и погибнет, не найдя себе никакого применения.

— Теперь скажите, что вы думаете по этому поводу, — сказал Павлов.

— Я думаю, — ответил я, — что вы не правы, когда ищете какое-то логическое оправдание всему: это, действительно, потеря времени. Вот вы говорите, что вам скучно и что в вашем существовании нет смысла. Как такие абстрактные идеи могут вас заставить совершить какой бы то ни было поступок, вернее, я считаю этот вопрос второстепенным. Представьте себе, что я работаю четырнадцать часов подряд, устаю как собака и станов-

люсь голоден так, точно не ел три дня. Затем я иду в ресторан, плотно обедаю, прихожу домой, ложусь на диван и закуриваю папиросу. На кой черт мне смысл?

Он пожал плечами.

— Или еще, — продолжал я. — Представьте себе, что вы прожили год без женщины: я бы не говорил вам этого, но ведь нам осталось говорить не так много, — поэтому у меня нет времени искать другой пример. Вы прожили год без женщины — и потом вы добились благосклонности девушки, которая становится вашей любовницей. Неужели и в этом вас будет интересовать смысл?

— Ну, это все вещи временные, — сказал он.

Меня удивляло то, что физическая любовь к жизни не была сильна у этого человека. Если бы он был болезненным юношей, это было бы понятно. Но он был исключительно силен и крепок; и такое соображение могло бы, пожалуй, объяснить то, что он не особенно устал бы от четырнадцати часов работы, — но других вещей это не объясняло. Ничего похожего ни на отчаяние, ни на разочарование у Павлова не было. Я знал этого человека много лет, знал его ближе, чем другие, и мог только думать в результате, что передо мной возникло и прошло таинственное явление, для определения которого у меня не оказалось ни мыслей, ни слов, ни даже интуитивного понимания. Я мог бы успокоиться на этом, сказав себе, что Павлов с его самоубийством так же загадочен для меня, как те животные, живущие на дне моря, которые совершенно похожи на растения, как ночной шум неизвестного происхождения, как множество других нечеловеческих явлений. Но я не мог примириться с этим.

— Есть что-нибудь на свете, что вы любите? — спросил я. Я ожидал отрицательного ответа. Но Павлов сказал:

— Есть.

— Что же это такое?

И вдруг он заговорил. Я помню, какими странными показались мне его признания в тот вечер. Он говорил, не стесняясь, приводя ужасные подробности, которые в другое время покоробили бы меня: но тогда все казалось мне естественным — и ни на одну минуту я не мог забыть, что Павлов приговорен к смерти и что никакие силы не спасут его: и его голос, который тогда звучал и колебался, так и пропадет без отклика, так и заглохнет в этом теле, которое станет трупом. Он начал издалека и рассказал мне историю детства, долгие годы воровства, удивительную охоту с револьвером на барсука, в России, во Владимирской губернии, — речка, лодка, в которой он катался; и он казался явно взволнованным, когда заговорил о лебедях, которых называл самыми прекрасными птицами в мире. — Знаете ли вы, — сказал он затем, — что в Австралии водятся черные лебеди? В известное время года, над внутренними озерами этой страны они появляются десятками тысяч. — И он говорил о небе, покрытом могучими черными крыльями: — Это какая-то другая история мира, это возможность иного понимания всего, что существует, — говорил он, — и это я никогда не увижу.

— Черные лебеди! — повторил он. — Когда наступает период любви, лебеди начинают кричать. Крик им труден; и для того, чтобы издать более сильный и чистый звук, лебедь кладет шею на воду во всю длину

и потом поднимает голову и кричит. На внутренних озерах Австралии! Эти слова для меня лучше музыки.

Он долго говорил еще об Австралии и черных лебедях. Он знал множество подробностей об их жизни; он читал все, что было о них написано, проводя целые дни за переводами английских и немецких текстов, со словарем и с записной книжкой в руках. Австралия была единственной иллюзией этого человека. Она соединила в себе все желания, которые когда-либо у него появлялись, все его мечты и надежды. Мне казалось, что если бы он вложил всю силу своих чувств в один взгляд и устремил бы глаза на этот остров, то вокруг него закипела бы вода; и я увидел в своем воображении эту фантастическую картину, которую мог бы увидеть во сне: тысячи черных крыльев, закрывающих небо, и холодный и пустой вечер на безлюдном берегу, возле которого кипит и волнуется море.

Я просидел с ним почти до утра — и ушел, томимый странными чувствами. — Всего хорошего, — сказал мне Павлов. — Спокойной ночи. А мне через час на фабрику.

— Зачем это вам теперь? — против воли спросил я.

— Деньги, деньги. Я их не унесу с собой, конечно, но я должен заплатить нескольким людям. Неудобно пользоваться преимуществами своего положения.

Я промолчал.

— В сущности, я уезжаю в Австралию, — сказал он.

Я вышел на улицу, было утро, уже началась обычная жизнь; я смотрел на проезжавших и проходивших мимо меня людей и думал с исступлением, что они никогда не поймут самых важных вещей; мне казалось в то утро, что я их только что услышал и понял,

и если бы эта печальная тайна стала доступна всем, мне было бы тяжело и обидно. Как и всегда в первую минуту, я увидел нечто невыразимое во всем, что окружало меня, — в кинематографической витрине на углу, в остановленном трузовике со свернутыми колесами, чем-то похожем на человека, застывшего в неестественной и искривленной позе, в торговке зеленью, катившей свою ручную тележку, — я увидел во всем этом непонятное движение и скрытый от меня смысл, в который я не мог сразу вникнуть; но, против обыкновения, раздражение и немая досада на это продолжались недолго, так как в зависимости от того, что я только что слышал, все стало неважным и пустым, только зрительным впечатлением — как пыль, вдалеке поднявшаяся на дороге.

Двадцать четвертого августа я принес Павлову полтора франков.

— Спасибо, — сказал он, подавая мне руку.

Я сидел у него целый вечер, мы говорили о разных предметах, не имевших отношения к его самоубийству. Тому, что он был совершенно спокоен, я не удивлялся: может быть, впервые он попал в такие обстоятельства, в которых ему пригодилось его неистраченное духовное могущество — и в которых ему следовало бы провести всю свою жизнь. Он пошел со мной до площади с каменным львом, где мы расстались. Я сильно сжал его руку: я знал, что это наша последняя встреча.

— До свиданья, — по привычке сказал я. — До свиданья.

— Всего хорошего, — ответил Павлов.

Я уходил, оборачиваясь. Когда я дошел уже почти до середины площади, то поднял руку, и до меня донесся его спокойный, смеющийся голос:

— Вспомните когда-нибудь о черных лебедях!

Исаак Бабель

Соль

Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за неосознательных женщин, которые нам вредные. Надеюсь на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конечно, был, самогон-пиво пил, усы обмочило, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту, — господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.

Была тихая, славная ночь семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не крутит, и бойцы стали сомневаться, переговариваясь между собой, — в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждой руке фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только жен-

ский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Так же и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:

— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?

— Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба. — И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие — пускать ее или нет?

— Пускай ее, — кричат ребята, — опосле нас она и мужа не захочет...

— Нет, — говорю я ребятам довольно вежливо, — кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были дитями при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить...

И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:

— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дите, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как

это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давило, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения...

И, пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспомнили кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка полетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят...

По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступились ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.

— Балмашев, — говорят мне казаки, — отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?

— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только разрешите мне переговорить с этой гражданкой пару слов...

И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у ней с рук дите, и рву с него пеленки и тряпье, и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.

— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит...

— Простите, любезные казачки, — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, — не я обманула, лихо мое обмануло...

— Балмашев простит твоему лиху, — отвечаю я женщине, — Балмашеву оно немного стоит, Балмашев за что купил, за то и продаст. Но обратитесь к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Обратитесь на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. Обратитесь на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и мужья, то же самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только и трогать. Обратись на Расею, задавленную болью...

А она мне:

— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете...

— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане, вытягивают они нас — Ленин и Троцкий — на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с острой шашкой грозит нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, нечестная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают, — вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите...

И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень гру-

бая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.

И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой травой.

За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашев, солдат революции”.

Михаил Зощенко

Иностранцы

Иностранца я всегда сумею отличить от наших советских граждан. У них, у буржуазных иностранцев, в морде что-то заложено другое. У них морда, как бы сказать, более гордо и неподвижно держится, чем у нас. Как, скажем, взято у них одно выражение лица, так и смотрится этим выражением лица на все остальные предметы.

Некоторые иностранцы для полной выдержки монокли в глазах носят. Дескать, это стеклышко не уроним и не сморгнем, чего бы ни случилось.

Это, надо отдать справедливость, здорово.

А только иностранцам иначе и нельзя. У них жизнь довольно беспокойная. Без такой выдержки они могут ужасно осрамиться.

Как, например, один иностранец костью подавился. Курицу, знаете, шамал и заглотал лишнее. А дело происходило на званом обеде. Мне про этот случай один знакомый человечек из торгпредства рассказывал.

Так дело, я говорю, происходило на званом банкете. Кругом, может, миллионеры пришли. Форд сидит на стуле. И еще разные другие.

А тут, знаете, наряду с этим человек кость заглотал.

Конечно, с нашей свободной точки зрения в этом факте ничего такого оскорбительного нету. Ну, проглотил и проглотил. У нас на этот счет довольно быстро. Скорая помощь есть. Мариинская больница. Смоленское кладбище.

А там этого нельзя. Там уж очень избранное общество. Кругом миллионеры расположились. Форд на стуле сидит. Опять же фраки. Дамы. Одного электричества горит, может, больше как на двести свечей.

А тут человек кость проглотил. Сейчас сморкаться начнет. Харкать. За грудку хвататься. Ах, боже мой! Моветон и черт его знает что.

А выйти из-за стола и побежать в ударном порядке в уборную — тоже нехорошо, неприлично. “Ага, скажут, побежал до ветру”. А там этого абсолютно нельзя.

Так вот этот француз, который кость заглотал, в первую минуту, конечно, смертельно испугался. Начал было в горле копать. После ужасно побледнел. Замотался на своем стуле. Но сразу взял себя в руки. И через минуту заулыбался. Начал дамам посылать разные воздушные поцелуи. Начал, может, хозяйскую собачку под столом трепать. Хозяин до него обращается по-французски:

— Извиняюсь, говорит, может, вы чего-нибудь действительно заглотали несъедобное. Вы, говорит, в крайнем случае скажите.

Француз отвечает:

— Коман? В чем дело? Об чем речь? Извиняюсь, говорит, не знаю как у вас, а у меня все в порядке.

И начал опять воздушные улыбки посылать. После на бламанже налег. Скушал порцию.

Одним словом, досидел до конца обеда и никому виду не показал.

Только когда встали из-за стола, он слегка покачнулся и за брюхо рукой взялся — наверное, кольнуло. А потом опять ничего.

Посидел в гостиной минуты три для приличия и пошел в переднюю.

Да и в передней не особо торопился, с хозяйкой побеседовал, за ручку подержался, за галошами под стол нырнул вместе со своей костью. И отбыл.

Ну, на лестнице, конечно, поднажал.

Бросился в свой экипаж.

— Вези, кричит, куриная морда, в приемный покой!

Подох ли этот француз или он выжил — я не могу вам этого сказать, не знаю. Наверное, выжил. Нация довольно живучая.

Даниил Хармс

Пакин и Ракукин

Н у ты, не очень-то фрякай! — сказал Пакин Ракукину.
Ракукин сморщил нос и недоброжелательно посмотрел на Пакина.
— Чего глядишь? Не узнал? — спросил Пакин.

Ракукин пожевал губами и, с возмущением повернувшись на своем вертящемся кресле, стал смотреть в другую сторону. Пакин побарабанил пальцами по своему колену и сказал:

— Вот дурак! Хорошо бы его по затылку палкой хлопнуть.

Ракукин встал и пошел из комнаты, но Пакин быстро вскочил, догнал Ракукина и сказал:

— Постой! Куда помчался? Лучше сядь, и я тебе покажу кое-что.

Ракукин остановился и недоверчиво посмотрел на Пакина.

— Что, не веришь? — спросил Пакин.

— Верю, — сказал Ракукин.

— Тогда садись вот сюда, в это кресло, — сказал Пакин.

И Ракукин сел обратно в свое вертящееся кресло.

— Ну вот, — сказал Пакин, — чего сидишь в кресле как дурак?

Ракукин подвигал ногами и быстро замигал глазами.

— Не мигай, — сказал Пакин.

Ракукин перестал мигать глазами и, сгорбившись, вытянул голову в плечи.

— Сиди прямо, — сказал Пакин.

Ракукин, продолжая сидеть сгорбившись, выпятил живот и вытянул шею.

— Эх, — сказал Пакин, — так бы и шлепнул тебя по подрывнику!

Ракукин икнул, надул щеки и потом осторожно выпустил воздух через ноздри.

— Ну ты, не фрякай! — сказал Пакин Ракукину. Ракукин еще больше вытянул шею и опять быстро-быстро замигал глазами.

Пакин сказал:

— Если ты, Ракукин, сейчас не перестанешь мигать, я тебя ударю ногой по грудям.

Ракукин, чтобы не мигать, скривил челюсти и еще больше вытянул шею и закинул назад голову.

— Фу, какой мерзостный у тебя вид, — сказал Пакин. — Морда как у курицы, шея синяя, просто гадость!

В это время голова Ракукина закидывалась назад все дальше и дальше и наконец, потеряв напряжение, свалилась на спину.

— Что за черт! — воскликнул Пакин. — Это что еще за фокус?

Если смотреть от Пакина на Ракукина, то можно было подумать, что Ракукин сидит вовсе без головы. Кадык Ракукина торчал вверх. Невольно хотелось думать, что это нос.

— Эй, Ракукин! — сказал Пакин.

Ракукин молчал.

— Ракукин! — повторил Пакин.

Ракукин не отвечал и продолжал сидеть без движения.

— Так, — сказал Пакин. — Подох Ракукин.

Пакин перекрестился и на цыпочках вышел из комнаты.

Минут четырнадцать спустя из тела Ракукина вылезла маленькая душа и злобно посмотрела на то место, где недавно сидел Пакин. Но тут из-за шкапа вышла высокая фигура ангела смерти и, взяв за руку ракукинскую душу, повела ее куда-то, прямо сквозь дома и стены. Ракукинская душа бежала за ангелом смерти, поминутно злобно оглядываясь. Но вот ангел смерти поддал ходу, и ракукинская душа, подпрыгивая и спотыкаясь, исчезла вдали за поворотом.

Андрей Платонов

Мусорный ветер

*Посвящается тов. Цахову, германскому
безработному, свидетелю на Лейпцигском
процессе, заключенному в концлагере Гитлера.*

Оставьте безумие мое.

И подайте тех,
Кто отнял мой ум.

“Тысяча и одна ночь”

Над землей возшла утренняя заря на небе, и начался новый сияющий день 16 июля 1933 года. Однако к одиннадцати часам утра этот день уже постарел от действия собственной излишней энергии — от жары, от пылящей ветхости почвы, затмившей пространство, от тления всякого живого дыхания, возбужденного реющим светом, — и летний день стал смутным, тяжким и вредоносным для зрения глаз.

Стихия света проникала через большое горячее окно и освещала одинокого спящего на железной кровати, на бедном белье, взволнованном сонными движениями. Спящий человек был не стар, но обыкновенное лицо его давно посерело от напряжения, с которым уснувший добывал себе жизнь, и непроходящее утомленное отчаяние с костяной твердостью лежало в выражении его лица, как часть поверхности человеческого тела.

Было воскресенье. Из другой комнаты квартиры вышла смуглая жена спящего человека, по имени

Зельда, родом с Ближнего Востока, из русской Азии. Она с кроткой тщательностью накинула одеяло на обнажившегося мужа и побудила его:

— Вставай, Альберт. День наступил, я достану чего-нибудь...

Альберт открыл глаза — сначала один глаз, потом другой — и увидел все в мире таким неопределенным и чужим, что взволновался сердцем, сморщился и заплакал, как в детском ужасающем сновидении, когда вдруг чувствуется, что матери нету нигде и вставшие, мутные предметы враждебно двигаются на маленького зажмурившегося человека... Зельда погладила Альберта по лицу, он успокоился, его глаза остановились — чистые, выгоревшие насквозь, глядящие неподвижно, как в слепоте. Он не мог сразу вспомнить, что он существует и что ему надо продолжать жить дальше, он забыл вес и чувство своего тела. Зельда ближе склонилась к нему, увядшая от голода афганка, некогда пышное и милое существо.

— Вставай, Альберт... У меня есть две картошки с ворванью.

Альберт Лихтенберг увидел с ожесточением, что его жена стала животным: пух на ее щеках превратился в шерсть, глаза сверкали бешенством и рот был наполнен слюной жадности и сладострастия; она произносила над лицом возгласы своего мертвого безумия. Альберт закричал на нее и отогнал прочь. Одеваясь, Лихтенберг видел, как плакала Зельда, улегшись на полу; нога ее заголилась — она была покрыта одичалыми волдырями от неопрятности зверя, она даже не зализывала их, она была хуже обезьяны, которая все же тщательно следит за своими органами.

Альберт взял трость и захотел уйти: он потемнел мыслью, эта бывшая женщина иссосала его молодость, она грызла его за бедность, за безработицу, за мужское бессилие и, голая, садилась верхом на него по ночам. Теперь она зверь, сволочь безумного сознания, а он до гроба, навсегда останется человеком, физиком космических пространств, и пусть голод томит его желудок до самого сердца — он не пойдет выше горла, и жизнь его спрячется в пещеру головы.

Альберт ударил тростью Зельду и вышел на улицу, в южную германскую провинцию. Звонили колокола римской веры, из небольшой уличной церкви выходили белые блаженные девушки с глазами, наполненными скорее сыростью любовной железы, чем слезами обожания Христа.

Альберт поглядел на солнце и улыбнулся ему, как далекому человеку. Нет, не солнце, не это всемирное сияние энергии, и не кометы, не бродячие черные звезды закончат человечество на земле: они слишком велики для такого небольшого действия. Люди сами затамят и растерзают себя, и лучшие упадут мертвыми в борьбе, а худшие обратятся в животных.

На крыльцо католического храма вышел римский священник, возбужденный, влажный и красный, — посол бога в виде мочевого отростка человека. Затем из церкви появились старухи, эти женщины, в которых кипевшие некогда страсти теперь текли гноем, и в чреве, в его гробовой темноте, истлевали части любви и материнства. Священник благословил с крыльца жаркое пространство и ушел в холодок своей квартиры на церковном дворе.

Мелкие колокола на башне еще продолжали звонить, вознося пропетые молитвы через готическую мучительную вершину храма в неясное небо, затуманенное зноем солнца. Вечные колокола звонили о том же, о чем писали газеты и книги, о чем играла музыка в ночных кафе: “Томись — томись — томись!”

Но уже двадцать лет слышал этот однообразный всемирный звук Альберт Лихтенберг: “Томись!” — и призыв к томлению, к замедлению, к уничтожению жизни все более усиливался, — одно лишь сердце билось невинно и ясно, как непорочное, как не понимающее ничего.

Альберт сел где-то в городе среди потоков жары; день продолжался над ним с тщательностью пустяка, с точностью государственной казни и с терпением неизвестного милосердия. Лихтенберг потрогал дерево, росшее перед ним. Внимательно и нежно он стал глядеть на это деревянное растение, мучимое тем же томленьем, тем же ожиданьем прохладного ветра в этом пыльном, душевном существовании.

— Кто ты? — спросил Лихтенберг.

Ветви и листья склонились к утомленному человеку. Альберт схватил близкую ветвь с той страстью и напряжением одинокого дружелюбия, перед которым вся блаженная любовь на земле незначительна. С дерева упали мертвые бабочки, но живая моль улетела в сухую пустоту.

Лихтенберг сжал трость в руке; он пошел дальше с яростью своего жесткого сознания, он чувствовал мысли в голове, вставшие, как щетина, продирающиеся сквозь кость. В тлеющем, измученном воздухе он увидел площадь города. Большой католический собор,

как сонное тысячелетие, как организованное в камень страдание, стоял сосредоточенно и безмолвно, опираясь глубоко в могилы своих строителей. Снизу поднимался мусор: человек сто национал-социалистов, в коричневой прозодежде своего мировоззрения, монтировали памятник Адольфу Гитлеру. Памятник был привезен готовым на грузовике, его отлили из качественной бронзы в Эссене. Другой грузовик, имея кран на своей площадке, сгрузил памятник вниз, а еще четыре грузовых машины одновременно привезли тропические растения в синих ящиках морского цвета. Национал-социалисты трудились, не жалея одежды; их белье прело от пота, кости изнашивались, но им хватало и одежды и колбасы, потому что в тот час миллионы машин и угрюмых людей напрягались в Германии, обслуживая трением металла и человеческих костей славу одного человека и его помощников.

Из центральной улицы города вышла единодушная толпа — в несколько тысяч человек, толпа пела песнь изнутри своей утробы — Лихтенберг ясно различал бас пищевода и тенор дрожащих кишок. Толпа приблизилась к памятнику; лица людей означали счастье: удовольствие силы и бессмыслия блестело на них, покой ночи и пищи был обеспечен для каждого темным могуществом их собственного количества. Они подошли к памятнику, и авангард толпы провозгласил хором приветствие — человеку, изображенному из бронзы, — а затем вступили в помощь работающим, и мусор поднялся от них с силой стихии, так что Лихтенберг почувствовал перхоть даже в своей душе. Другие тысячи и миллионы людей тоже топтали сейчас старую трудную землю Германии, выражая

одной своей наличностью радость спасителю древней родины и современного человечества. Миллионы могли теперь не работать, а лишь приветствовать; кроме них, были еще сонмы и племена, которые сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя, оставаясь сами безмолвными и безымянными. Ни приветствующие, ни безмолвные не добывали даже черного хлеба, но ели масло, пили виноградное вино, кормили по одной верной жене. Сверх того, по Германии маршевыми колоннами ходили вооруженные армии, охраняющие славу правительства и порядок преданности ему, — эти колонны немых, сосредоточенных людей ежедневно питались ветчиной, и правительство поддерживало в них героический дух безбрачия, но снабдило пипетками против заражения сифилисом от евреек (немецкие женщины сифилисом сознательно не болели, от них даже не исходило дурного запаха благодаря совершенному расовому устройству тела).

Лихтенберг тоже не трудился — он мучился. Все видимые им людские количества либо погибали от голода и безумия, либо шагали в рядах государственной охраны. Кто же кормил их пищей, одевал одеждой и снабжал роскошью власти и праздности?.. Где живет пролетариат? Или он утомился и умер, истратившись в труде и безвестности? Кто же, бедный, могучий и молчаливый, содержит этот мир, который истощается в ужасе и остервенелой радости, а не в творчестве и ограждает себя частоколом идиологов?

В изнеможении стоял Альберт Лихтенберг на старой католической площади, озираясь с удивлением

в этом царстве мнимости; он и сам лишь с трудом чувствовал свое существование, напрягаясь для каждого воспоминания о самом себе; обычно же он себя постоянно забывал, может быть, излишек страдающего сознания выключал в нем жизнь, дабы она сохранилась хотя бы в своем грустном беспамятстве!..

Чуждый всякому соображению, равнодушный, как несуществующий, Лихтенберг подошел к радиатору грузовика. Трепещущий жар выходил из железа; тысячи людей, обратившись в металл, тяжело отдыхались в моторе, не требуя больше ни социализма, ни истины, питаясь одним дешевым газом. Лихтенберг прислонился лицом к машине, как к погибшему братству; сквозь щели радиатора он увидел могильную тьму механизма, в его теснинах заблудилось человечество и пало мертвым. Лишь изредка среди пустых заводов стояли немые рабочие; на каждого из них приходилось по десяти человек государственной гвардии, и каждый рабочий делал в день сто лошадиных сил, чтобы они кормили, утешали и вооружали господствующую стражу. Один убогий труженик содержал десять человек торжествующих господ, но эти десять господ, однако, не радовались, а жили в тревоге, сжимая оружие в руках — против бедных и одиноких.

Над радиатором автомобиля висела золотая полоска материи с надписью черными буквами: “Почитайте вождя германцев — мудрого, мужественного, великого Адольфа! Вечная слава Гитлеру!” По обеим сторонам надписи были знаки свастики, как следы лапок насекомого.

— Прекрасный девятнадцатый век, ты ошибся! — сказал Лихтенберг в пыль воздуха, и мысль его вдруг

остановилась, превратившись в физическую силу. Он поднял тяжелую трость и ударил ею машину в грудь — в радиатор, так, что смялись его соты. Национальный шофер молча вышел из-за руля и, сжав туловище худого физика, ударил его головою с равнозначной силой о тот же радиатор. Лихтенберг свалился в земной сор и там лежал без ощущения; это уже не было для него страданием — он и без того очень мало чувствовал себя, как насущное тело и как эгоиста, а голова его болела от сорной действительности больше, чем от ударов о железо. Слабо белел день над его зрением, он глядел в него не моргая; пыль набилась в его глазницы, и оттуда текли слезы, чтобы смыть щекочущую грязь. Над ним стоял шофер; все съеденные им за свою жизнь животные — коровы, бараны, овцы, рыбы, раки, — переварившись внутри, оставили в лице и теле шофера свое выражение остервенения и глухой дикости. Лихтенберг встал, ткнул тростью животное туловище шофера и отошел от машины. Шофер остался в удивлении перед таким фактом невнимательного мужества и забыл вторично ударить Лихтенберга.

В пространстве шел ветер с юга, неся из Франции, Италии, Испании житейский мусор и запах городов, остатки взволнованного шума, обрывающийся голос человека... Лихтенберг повернулся лицом навстречу ветру; он услышал далекую жалобу женщины, грустный крик толпы, скрежет машинных скоростей, пение влажных цветов на берегу Средиземного моря. Он вникнул в эту невнятность, в безответное долгое течение воздуха, наполненное воплем над безмолвием местной суеты.

Лихтенберг подошел к труженикам у памятника. Работа людей уже прекращалась. На чугунном цилиндре стояло бронзовое человеческое полутело, заканчивающееся сверху головой.

На лице памятника были жадные губы, любящие еду и поцелуи, щеки его потолстели от всемирной славы, а на обыкновенный житейский лоб оплаченный художник положил резкую морщину, дабы видна была мучительная сосредоточенность этого полутела над организацией судьбы человечества и ясен был его напряженный дух озабоченности. Грудь фигуры выдавалась вперед, точно подтягиваясь к груди женщины, опухшие уста лежали в нежной улыбке, готовые к страсти и к государственной речи, — если придать памятнику нижнюю половину тела, этот человек годился бы в любовники девушке, при одном же верхнем полутеле он мог быть только национальным вождем.

Лихтенберг улыбнулся; одна радость еще не оставила его — он мог нечаянно, по забывчивости, думать.

— Прекрасный девятнадцатый век! — громко сказал Лихтенберг в окружающий его удушающий дух жары, машин и людей; национал-социалисты прислушались к его неясной речи: их вождь сравнил некогда мысль и слово с семейным браком, — если мысль верна лишь вождю, как своему мужу, она полезна; если она бродит в сумраке ночи, по домам отчаяния, ища удовлетворения своего в развратном сомнении и блуде с одною грустью своею, — тогда мысль бессмысленна, организованная голова должна ее уничтожить, она опасней коммунизма и Версальского договора, сложенных вместе. — Великий век! — говорил Лихтенберг. — В конце твоего времени ты родил Адольфа

Гитлера: руководителя человечества, самого страстного гения действия, проникшего в последнюю глубину европейской судьбы!..

— Верно! Хайль Гитлер! — закричали присутствующие массы национал-социалистов.

— Хайль Гитлер!.. Ты будешь царствовать века — ты прочнее всех императорских династий: твоему господству не будет конца, пока ты сам не засмеешься или пока смерть не уведет тебя в наш общий дом под травой! Что за беда! После тебя будут другие, более яростные, чем ты... Ты первый понял, что на спине машины, на угрюмом бедном горбу точной науки надо строить не свободу, а упрямую деспотию! Ты собираешь безработных, всех мрачных и блуждающих, которых освободила машина, под свои знамена, в гвардию своей славы и охраны... Ты скоро возьмешь всех живых в свои соратники, и те немногие утомленные люди, которые останутся у машин, чтобы кормить твою армию, не сумеют уничтожить тебя. Императоры гибли, потому что их гвардию кормили люди, но люди отказывались. Ты не погибнешь, потому что твою гвардию будут кормить механизмы, огромный излишек производительных сил! Ты не исчезнешь и победишь кризис...

— Хайль Гитлер!..

— Ты изобрел новую профессию, где будут тяжело уставать миллионы людей, никогда не создавая перепроизводства товаров, они будут ходить по стране, носить обувь и одежду, они уничтожат избыток пищи, они будут в радости и в поту прославлять твое имя, наживать возраст и умирать... Эта новая промышленность, труд по воодушевлению народа для созда-

ния твоей славы, окончит кризис и займет не только мускулы, но и сердце населения и утомит его покоем и довольством... Ты взял себе мою родину и дал каждому работу — носить твою славу...

Лихтенберг осмотрелся в томлении. С непрерывной силой горел солнечный центр в мусорной пустоте пространства, сухие насекомые и различные пустики с раздражением шумели в воздухе, а люди молчали.

— Землю начинают населять боги, я не нахожу следа простого человека, я вижу происхождение животных из людей... Но что же остается делать мне? Мне — вот что!..

С силой своего тела, умноженного на весь разум, Лихтенберг ударил дважды палкой по голове памятника, и палка лопнула на части, не повредив металла; машинное полутело не почувствовало бешенства грустного человека.

Национал-социалисты взяли туловище Лихтенберга себе на руки, лишили его обоих ушей и умертвили давлением половой орган, а оставшееся тело обмяли со всех сторон, пройдя по нем маршем. Лихтенберг спокойно понимал свою боль и не жалел об исчезающих органах жизни, потому что они одновременно были средствами для его страдания, злостными участниками движения в этой всемирной духоте. Кроме того, он давно признал, что прошло время теплого, любимого, цельного тела человека: каждому необходимо быть увечным инвалидом. Потом он уснул от слабости, давая возможность, чтобы кровь запеклась на ранах. Ночью он очнулся; звезд не было, шел мелкий острый дождь, настолько мелкий, что он казался сухим и нервным, как перхоть.

Неизвестный человек поднял Лихтенберга от подножия памятника и понес куда-то. Лихтенберг удивился, что есть еще незнакомые нежные руки, которые, прячась ночью, несут молча чужого калеку к себе домой. Но вскоре человек принес Лихтенберга в глубь черного двора, открыл дверь сарая над помойной ямой и бросил туда Лихтенберга.

Лихтенберг зарылся в теплую сырость житейских отходов, съел что-то невидимое и мягкое, а затем снова уснул, согревшись среди тления дешевого вещества.

Из экономии хозяин дома подолгу не вывозил мусор из помойного помещения, поэтому Лихтенберг прожил долго в кухонной мишуре, равнодушно вкушая то, что входит в тело и переваривается там. По телу его — от увечных ран и загрязнения — пошла сплошная темная зараза, похожая на волчанку, а поверх ее выросла густая шерсть и все покрыла. На месте вырванных ушей также выросли кусты волос, однако он сохранил слух правой стороной головы. Ходить он больше не мог — рядом с мужским органом у него повредились ноги, и они перестали управляться. Только раз Лихтенберг вспомнил свою жену Зельду, без сожаления и без любви, — одною мыслью в костяной голове. Иногда он бормотал сам себе разные речи, лежа в рыбных очистках, — хлебные корки попадались очень редко, а картофельные шкурки — никогда. Лихтенберг удивлялся, отчего ему не отняли язык, это государственная непредусмотрительность: самое опасное в человеке вовсе не половой орган — он всегда однообразный, смирный реакционер, но мысль — вот проститутка, и даже хуже ее: она бродит обязательно там, где в ней совсем не нуждаются, и отдается лишь тому, кто ей ничего не платит!

“Великий Адольф! Ты забыл Декарта: когда ему запретили действовать, он от испуга стал мыслить и в ужасе признал себя существующим, то есть опять действующим. Я тоже думаю и существую. А если я живу, — значит, тебе не быть! Ты не существуешь!”

— Декарт дурак! — сказал вслух Лихтенберг и сам прислушался к звукам своей блуждающей мысли: что мыслит, то существовать не может, моя мысль — это запрещенная жизнь, и я скоро умру... Гитлер не мыслит, он арестовывает, Альфред Розенберг мыслит лишь бессмысленное, папа римский не думал никогда, но они существуют ведь!

Пусть существуют: большевики скоро сделают их краткой мыслью в своем воспоминании...

Большевики! Лихтенберг в омраченной глубине своего ума представил чистый, нормальный свет солнца над влажной, прохладной страной, заросшей хлебом и цветами, и серьезного, задумчивого человека, идущего вослед тяжелой машине. Лихтенбергу стало вдруг стыдно того далекого, почти грустного труженика, и он закрыл рукою во тьме свое опечаленное лицо... Он стал печален от горя, что его тело уже истрачено, в чувстве нет надежды, и он никогда не увидит прохладной ржаной равнины, над которой проходят белые горы облаков, освещенные детским, сонным светом вечернего солнца, и его ноги никогда не войдут в заросшую траву. Он не будет другом громадному, серьезному большевику, молча думающему о всем мире среди своих пространств, — он умрет здесь, задохнувшись мусорным ветром, в сухом удушье сомненья, в перхоти, осыпавшейся с головы человека на европейскую землю.

Житейские отбросы все более уменьшались. Лихтенберг съел все мягкое и более или менее достойное пищи. Наконец в помойном коробе осталась одна только жесть и осколки керамических изделий.

Лихтенберг уснул с туманным умом и во сне увидел большую женщину, ласкавшую его, но он мог лишь плакать в ее тесной теплоте и жалобно глядеть на нее. Женщина молча сжала его, так, что он почувствовал на мгновение, что ноги его могут бежать собственной силой, — и он закричал от боли, схватил чужое тело в руку. Он поймал крысу, грызущую его ногу во сне; крыса рвалась жить с могучим рациональным нетерпением и утопала зубами в руке Лихтенберга; тогда он ее задушил. Потом Лихтенберг опробовал свою рану от крысы; рана была рваная и влажная, крыса много выпила его крови, отъела верхнее мясо и изнурила его жизнь, — теперь сила Лихтенберга хранилась в покойном животном.

Лихтенберг почувствовал скупость к бедному остатку своего существования, ему стало жалко худое тело, принадлежащее ему, истраченное в труде и томлении мысли, растравленное голодом до извести костей, не наслаждавшееся никогда. Он добрался до мертвой крысы и начал ее есть, желая возвратить из нее собственное мясо и кровь, накопленные на протяжении тридцати лет из скудных доходов бедности. Лихтенберг съел маленького зверя вплоть до его шерсти и уснул с удовлетворением своего возвращенного имущества.

Утром собака, как нищенка, испуганно пришла в помойное место. Лихтенберг сразу понял, увидя эту собаку, что она — бывший человек, доведен-

ный горем и нуждою до бессмысленности животного, и не стал пугать ее дальше. Но собака, как только заметила человека, задрожала от ужаса, глаза ее увлажнились смертельной скорбью, — утратив силу от страха, она с трудом исчезла прочь. Лихтенберг улыбнулся: когда-то он работал над изучением космического пространства, составлял грезящие гипотезы о возможных кристаллических ландшафтах на поверхности далеких звезд, — все это делалось с тайной целью — завоевать разумом вселенную, — теперь же, если бы звездная вселенная стала доступна, люди в первый же день разбежались бы друг от друга и стали бы жить в одиночестве, на расстоянии миллиардов километров один от другого, а на земле бы вырос растительный рай, и его населили бы птицы.

Днем уличная полицейская власть изъяла Лихтенберга из его убежища и отвезла, как прочих преступных и безымянных, в концлагерь, огороженный тройной сетью колючей проволоки. Среди лагерной площади были землянки, вырытые для долгой жизни загнанными сюда людьми.

В лагерной конторе у Лихтенберга не стали спрашивать ничего, а осмотрели его, полагая, что это — едва ли человек. Однако на всякий случай его оставили в бессрочном заключении, написав в личном формуляре: “Новый возможный вид социального животного, обрастает волосяным покровом, конечности слабеют, половые признаки неясно выражены, и к определенному сексуальному роду этого субъекта, изъятого из общественного обращения, отнести нельзя, по внешней характеристике головы — дебил, говорит некоторые слова, произнес без заметного во-

одушевления фразу — верховное полутело Гитлер — и умолк. Бессрочно”.

На пространстве лагеря росло одно дерево. Лихтенберг вырыл под корнем дерева небольшую пещеру и поселился в ней для неопределенного продолжения своей жизни. Вначале его сторонились заключенные и он сам держался уединенно от них. Но потом один коммунист полюбил Лихтенберга. Это был молодой человек с черными внимательными глазами, покрытый по лицу прыщами от напора органической силы и бездействия. Он носил Альберта на руках, как мелкое, краткое тело, и говорил ему, что тосковать не надо: солнце всходит и заходит, растут ветви в лесах, в океан социализма течет историческое время; фашизм же кончится всемирной гигантской насмешкой — это улыбнутся молчаливые скромные массы, уничтожив господство живых и бронзовых идов.

Лихтенберг пожил в лагере и постепенно успокоился. Он ждал только вечернего времени, когда возвращаются с работы заключенные, варят себе похлебку и разговаривают. Лихтенберга на работу не посылали, потому что он мог лишь ползти по земле. Ему теперь было ничего не жалко и не страшно: ни прожитой жизни, ни любви к женщинам, ни будущей темной судьбы; он лежал в пещере весь день и слушал, как шумит гнусная пыль в воздухе и пробегают поезда по насыпи, развозя чиновников правительства по делам их господства. Когда же раздавались голоса за колючей проволокой и гремело оружие конвоя, Лихтенберг вылезал навстречу людям — в радости своего страстного и легкого чувства к ним.

Он дружил больше всего с коммунистами: голодные невольники, они играли и бегали по вечерам, как ребяташки, веря в самих себя больше, чем в действительность, потому что действительность заслуживала лишь уничтожения, и Лихтенберг елозил между ними, принимая участие в этой общей детской суете, скрывавшей за собою терпеливое мужество. Потом он засыпал со счастьем до утра и рано вставал провожать своих товарищей на работу. Однажды, роясь в бурьяне в поисках еды, он нашел обрывок газеты и прочитал в нем про сожжение своей брошюры “Вселенная — безлюдное пространство”. Брошюра была издана еще пять лет тому назад и посвящалась доказательству пустынности космического мира, наполненного почти сплошь одними минералами. Уничтожение книжки подтверждало, что и земля делается безлюдной и минеральной, но это не огорчило Лихтенберга; ему хотелось лишь, чтобы каждый день был вечер и он мог быть счастливым один час среди усталых, невольных людей, предающихся своей дружбе, как маленькие дети предаются ей в своих играх и воображении на заросших дворах ранней родины.

В конце лета, во время очередной ночи, Лихтенберг неожиданно проснулся. Его разбудила женщина, стоявшая около дерева. Женщина была в длинном плаще, в маленькой круглой шапке, не скрывавшей ее локонов, с изящным телом, грустно расположенным под одеждой, — это была, очевидно, девушка. Рядом с нею стояли два стражника.

Сердце Лихтенберга стало сильно биться в тоске: лишенный способности к любви и даже к вертикальному движению на ногах, он, однако, сейчас попы-

тался встать на обе ноги, томимый стыдом и страхом перед женщиной, и ему удалось устоять при помощи палки. Женщина пошла, и Лихтенберг последовал за ней, снова чувствуя твердеющую силу в ногах. Он не мог ничего спросить у нее, волнение его не прекращалось, он шел, отставая немного, и видел одну щеку ее лица, она же глядела все время в сторону от Лихтенберга, в предстоящую тьму дороги.

В конторе лагеря их ожидал суд из трех военных людей. Женщина остановилась позади Лихтенберга. Судья объявил Лихтенбергу, что он осуждается на расстрел — вследствие несоответствия развития своего тела и ума теории германского расизма и уровню государственного умозрения: в целях жесткого оздоровления народного организма от субъектов, впавших в состояние животности, в целях профилактики от заражения расы беспородными существами¹.

— Ваше слово! — предложил судья Лихтенбергу.

— Я безмолвный, — сказал Лихтенберг.

— Гедвига Вотман! — произнес судья. — Вы член местной коммунистической организации. Со времени национальной революции насмешка над верховным вождем не сходила с вашего лица. С того же момента вы, находясь уже в заключении, отказали в браке и в ответной любви двум высшим офицерам национальной службы, оскорбив их расовое достоинство. Решение суда: уничтожить вас, как личного врага племенного гения тевтонов. Имеете слово?

— Имею, — с улыбкой ума и иронии ответила спутница Лихтенберга. — Два офицера получили от-

¹ Смертная казнь посредством топора и палача была введена позже.

каз в моей любви потому, что я оказалась женщиной, а они не оказались мужчинами...

— Как — не мужчины?! — воскликнул судья, потрясаясь фактом.

— Их надо расстрелять за потерю способности к деторождению, к размножению первоклассной германской расы! Они, немцы, способны были любить только по-французски, а не по-тевтонски: они враги нации!

— Вы коммунистка? — спросил член суда.

— Ясно, — сказала Вотман. — Но для ответа по этому вопросу я прошу дать мне ваше оружие!

Ей отказали в просьбе.

Судья сделал коменданту обычное распоряжение о казни.

— Введите следующую пару ублюдков! — приказал судья далее.

Лихтенберга и Гедвигу Вотман вывели из пределов лагеря. Четыре офицера конвоировали их, держа готовые револьверы в руках. Впереди шли двое уголовных, несших на головах по тесовому гробу, сделанных в лагере их же руками.

Гедвига Вотман шла по-прежнему изящная и нескучная, точно уходила не в смерть, а в перевоплощение. Она дышала тем же мусорным воздухом, что и Лихтенберг, голодала и мучилась в неволе, ожидала коммунизма, она шла погибать, — но ни скорби, ни болезни, ни страху, ни сожалению, ни раскаянию она не уступила ничего из своего тела и сознания — она покидала жизнь, сохранив полностью все свои силы, годные для одержания трудной победы и долговечного торжества. Омрачающие стихии вра-

га остановились у ее одежды и не тронули даже поверхности ее щек, — здоровая и молчаливая, она шла ночью вслед за своим гробом и не жалела о несбывшейся жизни, как о пустяке. Но зачем же тогда она яростно и губительно боролась за рабочее сословие, как за вечное личное счастье?

Лихтенбергу казалось даже, что от Гедвиги Вотман исходил влажный запах здравого смысла и пота здоровых, полных ног, — в ней ничего не засохло от горячего мутного ветра, и достоинство ее пребывало внутри самого ее одинокого тела, окруженного конвоем.

Гробовщики спустились в полевую долину и пошли дальше по ее глухому дну. Вскоре стали видны постройки давно заброшенного керамического завода, и приговоренных к уничтожению ввели в темную теснину между заводскими стенами.

Лихтенберг близко держался около Гедвиги Вотман и плакал от своего безумия. Он думал об этой неизвестной женщине с такою грустью, точно подходил к концу света, но жалел о кончине лишь этой своей преходящей подруги. Шествие повернуло за угол стены, гробовщики скрылись за каким-то неопределенным предметом. Конвойный офицер, шедший слева от Лихтенберга, попал на край пропасти, вырытой для какого-то могучего механизма, и пошел по ней осторожно и благополучно; но Лихтенберг внезапно толкнул его — по детской привычке сунуть что-нибудь в пустое место. Офицер исчез вниз и вскрикнул оттуда, одновременно со скрежетом железа и трением своих трескающихся костей. Три остальных конвойных офицера сделали движение к провальной яме,

а Гедвига Вотман взмахнула краем плаща и беззвучно, с мгновеньем птицы скрылась от конвоя и от Альберта Лихтенберга навсегда. Три офицера, думая, что преступница удалилась не далее нескольких шагов, бросились за ней, дабы немедленно настигнуть ее и сейчас же возвратиться.

Лихтенберг остался один в недоумении. Офицер в яме давно умолк. Уголовные с гробами на головах — как отошли вперед, так и не вернулись. Вдалеке, уже в чистом поле, послышались два выстрела: Гедвига Вотман исчезала все более далеко и невозвратно; настигнуть ее было нельзя никому. Лихтенбергу захотелось, чтобы ее поймали и привели; он не мог теперь обойтись без нее, он желал посмотреть на нее еще хотя бы самое краткое время.

Никто не возвращался. Лихтенберг прилег на землю. Раздался еще один глухой выстрел, бессильный и неверный — в далекой ночи. Вслед за тем в лагере зазвонил колокол боевой тревоги. Лихтенберг поднялся и пошел понемногу с того места, где должна бы быть его вечная гробница, в одной могиле с телом Гедвиги; через десять лет, когда гробы и тела в них сотлели бы, когда земной прах нарушился, скелет Альберта обнял бы скелет Гедвиги — на долгие тысячелетия. Лихтенберг пожалел сейчас, что этого не случилось.

Наутро Лихтенберг пришел в незнакомый ему рабочий поселок, где стояли шесть или восемь домов. Начинался осенний светлый день, ослабевший сор шевелился на безлюдной дороге между жилищами, издалека поднималось солнце в свою высшую пустоту. Альберт дошел до крайнего дома, не встретив

никого. Он очутился на околице у колодца и здесь увидел на ней памятник Гитлеру: пустынное бронзовое полутело; против лица гения находился букет железных цветов в каменной урне. Лихтенберг внимательно поглядел в металлическое лицо, ища в нем выражения.

Уйдя от памятника, он вошел в дом. Внутри дома никого не было, в запыленной постели лежал мертвый мальчик. Лихтенберг почувствовал в себе странную легкую силу, он быстро посетил еще два жилища и не нашел в них ни жителей, ни животных; с деревьев на усадьбах была содрана кора, и они засохли; из отверстий отхожих мест ничем не пахло.

В последнем доме этого вымершего или изгнанного городка сидела женщина и одной рукой качала люльку, подвешенную к потолку, а другой рукой все время кутала и укрывала одеялом ребенка, который спал в люльке. Лихтенберг спросил у той женщины что-то, она не ответила ему. Глаза ее не моргали и смотрели в колыбель с долгой сосредоточенной грустью, ставшей уже равнодушной от своего терпения. Лицо женщины имело от голода и утомления коричневый цвет, как рубашка фашиста, наружное, подкожное мясо ушло на внутреннее питание, так что с костей ее сошла вся плоть, как осенняя листва с дерева, и даже мозг ее из-под черепа рассосался по туловищу для поддержания сил, поэтому женщина жила сейчас без ума, память ее забыла необходимость моргать веками глаз, размер ее тела уменьшился до роста девочки, только одно горе ее действовало по инстинкту. Она с непрерывной энергией все качала и качала дешевую люльку и с неутомимой, берегущей нежно-

стью укрывала спящего ребенка от неощутимого для Лихтенберга холода.

— Он уснул уже, — сказал Альберт.

— Нет, они никак не засыпают, — ответила теперь мать. — Я их качаю вторую неделю. Все время зябнут и заснуть не могут.

Лихтенберг наклонился над колыбелью; женщина отвернула ему одеяло сверху: в люльке на общей маленькой подушке лежали с открытыми глазами две почерневших головы умерших детей, обращенных лицами друг к другу; Лихтенберг снял одеяло вовсе и увидел мальчика и девочку, лет по пяти или шести, уже сплошь покрытых трупными пятнами, — мальчик положил одну руку на сестру — для защиты ее от ужаса наступившей вечности, а девочка — сестра держала руку ладонью под щекой, доверчиво и по-женски; ноги их остались немытыми со времени последней игры на дворе, и синева холода — изморозь — действительно распространялась по тонкой коже обоих детей.

Мать снова укрыла покойных одеялом.

— Видишь, как озябли, — сказала она, — поэтому и уснуть не могут!

Лихтенберг опустил пальцем веки на четырех детских глазах и сказал матери:

— Теперь они уснули!

— Спят, — согласилась женщина и перестала качать колыбель.

Лихтенберг пошел в кухню, разжег в ней очаг, пользуясь для топлива мебельной утварью, и поставил на огонь большую кастрюлю с водой. Когда вода закипела, Альберт пошел к женщине и предупредил ее, что

он сейчас поставит вариться мясо, пусть она не засыпает — скоро они будут обедать вдвоем; если же он сам нечаянно заснет на кухне, пусть она поглядит за мясом и обедает одна, когда кушанье поспеет, не ожидая его пробуждений. Женщина согласилась подождать и пообедать и велела Альберту положить в кастрюлю особый и лучший кусок — для ее детей.

В кухне Лихтенберг как можно сильнее разжег огонь, взял косарь и начал рубить от заросших пахов свою левую, более здоровую ногу. Рубить было трудно, потому что косарь был давно не наточен, и говядина не поддавалась; тогда Альберт взял нож и наскоро срезал свое мясо вдоль кости, отделив его большим пластом до самого колена; этот пласт он управился еще разрубить на два куска — один получше, другой похуже — и бросил их вариться в кипящую кастрюлю. Затем он выполз наружу, на разгороженный двор, и лег лицом в землю. Обильная жизнь уходила из него горячим ручьем, и он слышал, как впитывалась его кровь в ближнюю сухую почву. Но он еще думал; он поднял голову, оглядел пустое пространство вокруг, остановил глаза на далеком памятнике спасителю Германии и забыл себя — по своему житейскому обыкновению.

Через два часа весь суп выкипел и мясо изжарилось на собственном сале, огонь же потух.

Вечером в этот дом пришел полицейский и с ним молодая женщина с восточным тревожным лицом. Полицейский разыскивал при помощи женщины государственного преступника, а женщина, не зная мысль полиции, искала при помощи государства своего бедного безумного мужа.

Полицейский и его спутница нашли в доме мертвую женщину, уткнувшуюся лицом в колыбель с двумя детьми, так же одинаково мертвыми. Мужчины здесь не было.

Увидев в кухонном очаге кастрюлю с питательным и еще теплым мясом, уставший полицейский сел кушать его себе на ужин.

— Отдохните, фрау Зельда Лихтенберг, — предложил полицейский.

Но взволнованная женщина не послушалась его и вышла бесцельно из дома — через его кухонную дворовую дверь.

Зельда увидела на земле незнакомое убитое животное, брошенное глазами вниз. Она потрогала его туфель, увидела, что это, может быть, даже первобытный человек, заросший шерстью, но скорее всего это большая обезьяна, кем-то изувеченная и одетая для шутки в клочья человеческой одежды.

Вышедший потом полицейский подтвердил догадку Зельды, что это лежит обезьяна или прочее какое-нибудь ненужное для Германии, ненаучное животное; в одежду же его нарядили молодые наци или штальгеймы: для политики.

Зельда и полицейский оставили пустой поселок, в котором жизнь людей была прожита без остатка.

Варлам Шаламов

На представку

Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определена и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая “колымка” — самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки — вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели партнеры — классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготавливается мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала — склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской

краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).

Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго — книжка была кем-то позабыта вчера в кофторе. Бумага была плотная, толстая — листков не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила, и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту — дамы, валеты, десятки всех мастей... Масти не различались по цвету — да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пика в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми — умение собственной рукой изготовить карты входит в программу “рыцарского” воспитания молодого блатаря.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины — тоже блатарский шик, так же как “фиксы” — золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера — самозванные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что

касается ногтей, то цветная полировка их, бесспорно, вошла бы в быт преступного мира, если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен “под бокс” самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком — все это придавало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него — и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, штоса и буры — трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он “превосходно исполняет” — то есть показывает умение и ловкость шулера. Он и был шулер, конечно; честная воровская игра — это и есть игра на обман: следи и уличай партнера, это твое право, умей обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш.

Играли всегда двое — один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде очка. Садиться с сильными “исполнителями” не боялись — так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.

Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногонов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке — двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не знай я, что

Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника-монаха или члена известной секты “Бог знает”, секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, — ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики — это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.

В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее — капитанки. В сороковые годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина.. Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку — цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром:

Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.

— Что ты играешь? — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это тоже считалось хорошим тоном начала игры.

— Вот, тряпки. Лепеху эту... — и Наумов похлопал себя по плечам.

— В пятистах играю, — оценил костюм Севочка.

В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны, Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты.

Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа — после своего рабочего забойного дня надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина — здесь было теплей, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную “юшку” — остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось “украинские галушки”, и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте — барачные бензинки освещали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.

Наумов проиграл свою “лепеху”. Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубашке — сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрей-

ку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.

— Одеяло играю, — хрипло сказал Наумов.

— Двести, — безразличным голосом ответил Севочка.

— Тысячу, сука! — закричал Наумов.

— За что? Это не вещь! Это — локш, дрянь, — выговорил Севочка. — Только для тебя — играю за триста.

Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать.

— Валенки играю.

— Не играю валенок, — твердо сказал Севочка. — Не играю казенных тряпок.

В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным профилем Гоголя — все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.

— На представку, — заискивающе сказал он.

— Очень нужно, — живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. — Что мне твоя представка? Этапов новых нет — где возьмешь? У конвоя, что ли?

Согласие играть “на представку”, в долг, было необязательным одолжением по закону, но Севочка не хотел обижать Наумова, лишая его последнего шанса на отыгрыш.

— В сотне, — сказал он медленно. — Даю час пред-
ставки.

— Давай карту. — Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки — и вновь проиграл все.

— Чифирку бы подварить, — сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. — Я подожду.

— Заварите, ребята, — сказал Наумов.

Речь шла об удивительном северном напитке — крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Чифирь должен бы разрушительно действовать на сердце, но я знавал многолетних чифиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки.

Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались. Взгляд дошел до меня и остановился.

Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.

— Ну-ка, выйди.

Я вышел на свет.

— Снимай телогрейку.

Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова.

Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье — гимнастерку выдавали года два назад, и она давно истлела. Я оделся.

— Выходи ты, — сказал Наумов, показывая пальцем на Гаркунова.

Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубашкой был надет шерстяной свитер — это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук, — фуфайку украли бы сейчас же товарищи.

— Ну-ка, снимай, — сказал Наумов.

Севочка одобрительно помахивал пальцем — шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить — узор красивый.

— Не сниму, — сказал Гаркунов хрипло. — Только с кожей...

На него кинулись, сбили с ног.

— Он кусается, — крикнул кто-то.

С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.

— Не могли, что ли, без этого! — закричал Севочка.

В мерцавшем свете бензинки было видно, как сеет лицо Гаркунова.

Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.

Александр Солженицын

Правая кисть

В ту зиму я приехал в Ташкент почти уже мертвецом. Я так и приехал сюда — умирать. А меня вернули пожить еще. Это был месяц, месяц и еще месяц. Непуганая ташкентская весна прошла за окнами, вступила в лето, повсюду густо уже зеленело и совсем было тепло, когда стал и я выходить погулять неуверенными ногами.

Еще не смея сам себе признаться, что я выздоравливаю, еще в самых заветных мечтах измеряя добавленный мне срок жизни не годами, а месяцами, — я медленно переступал по гравийным и асфальтовым дорожкам парка, разросшегося меж корпусов медицинского института. Мне надо было часто присаживаться, а иногда, от разбирающей рентгеновской тошноты, и прилечь, понижив спустив голову.

Я был и таким, да не таким, как окружающие меня больные: я был много бесправнее их и вынужденно безмолвней их. К ним приходили на свидания, о них плакали родственники, и одна была их забота, одна цель — выздороветь. А мне выздоравливать было почти что и не для чего: у тридцатипятилетнего, у меня не было во всем мире никого родного в ту весну. Еще не было у меня — паспорта, и если б я теперь выздоровел, то надо было мне покинуть эту зелень, эту многоплодную сторону — и возвращаться к себе в пустыню, куда я сослан был навеки, под гласный надзор, с отметками каждые две недели, и откуда комендатура долго не удабривалась меня и умирающего выпустить на лечение.

Обо всем этом я не мог рассказать окружающим меня *вольным* больным.

Если б и рассказал, они б не поняли...

Но зато, держа за плечами десять лет медлительных размышлений, я уже знал ту истину, что подлинный вкус жизни постигается не во многом, а в малом. Вот в этом неуверенном переступе еще слабыми ногами. В осторожном, чтоб не вызвать укола в груди, вдохе. В одной не побитой морозом картофелине, выловленной из супа.

Так весна эта была для меня самой мучительной и самой прекрасной в жизни.

Все было для меня забыто или не видано, все интересно: даже тележка с мороженым; даже подметальщик с брандспойтом; даже торговки с пучками продолговатой редиски; и уж тем более — жеребенок, забредший на травку через пролом в стене.

День ото дня я отваживался отходить от своей клиники и дальше — по парку, посаженному, должно быть, еще в конце прошлого века, когда клались и эти добротные кирпичные здания с открытой расшивкою швов. С восхода торжественного солнца весь южный день напролет и еще глубоко в желто-электрический вечер парк был наполнен оживленным движением. Быстро сновали здоровые, неспешно расхаживали больные.

Там, где несколько аллей стекались в одну, идущую к главным воротам, — белел большой алебастровый Сталин с каменной усмешкой в усах. Дальше по пути к воротам с равномерной разрядкой расставлены были и другие вожди, поменьше.

Затем стоял писчебумажный киоск. Продавались в нем пластмассовые карандашики и заманчивые записные книжечки. Но не только деньги мои были су-

рово считанные, — а и книжки записные у меня уже в жизни бывали, потом попали *не туда*, и рассудил я, что лучше их никогда не иметь.

У самых же ворот располагались фруктовый ларек и чайхана. Нас, больных, в полосатых наших пижамах, в чайхану не пускали, но загородка была открытая, и через нее можно было смотреть. Живой чайханы я в жизни не видал — этих отдельных для каждого чайников с зеленым или черным чаем. Была в чайхане европейская часть, со столиками, и узбекская — со сплошным помостом. За столиками ели-пили быстро, в испитой пиале оставляли мелочь для расплаты и уходили. На помосте же, на цыновках под камышовым тентом, натянутым с жарких дней, сидели и полеживали часами, кто и днями, выпивали чайник за чайником, играли в кости, и как будто ни к каким обязанностям не призывал их долгий день.

Фруктовый ларек торговал и для больных тоже — но мои ссылные копеечки поеживались от цен. Я рассматривал со вниманием горки урюка, изюма, свежей черешни — и отходил.

Дальше шла высокая стена, за ворота больных тоже не выпускали. Через эту стену по два и по три раза на день переваливались в медицинский городок оркестровые траурные марши (потому что город — миллионный, а кладбище было — тут, рядом). Минут по десять они здесь звучали, пока медленное шествие миновало медицинский городок. Удары барабана отбивали отрешенный ритм. На толпу этот ритм не действовал, ее подергивания были чаще. Здоровые лишь чуть оглядывались и снова спешили, куда было нужно им (они все хорошо знали, что́ было нужно).

А больные при этих маршах останавливались, долго слушали, высовывались из окон корпусов.

Чем явственней я освобождался от болезни, чем верней становилось, что останусь жив, тем тоскливей я озирался вокруг: мне уже было жаль это все покидать.

На стадионе медиков белые фигуры перебрасывались белыми теннисными мячами. Всю жизнь мне хотелось играть в теннис, и никогда не привелось. Под крутым берегом kloкотал мутно-желтый бешеный Салар. В парке жили осеняющие клены, раскидистые дубы, нежные японские акации. И восьмигранный фонтан взбрасывал тонкие свежие серебринки струй — к вершинам. А что за трава была на газонах! — сочная, давно забытая (в лагерях ее велели выпалывать как врага, в ссылке моей не росла никакая). Просто лежать на ней ничком, мирно вдыхать травяной запах и солнцем нагретые воспарения — было уже блаженство.

Тут, в траве, я лежал не один. Там и сям зубрили мило свои пухлые учебники студентки мединститута. Или, захлебываясь в рассказах, шли с зачета. Или, гибкие, покачивая спортивными чемоданчиками, — из душевой стадиона. Вечерами, неразличимые, а потому втройне притягательные, девушки в нетроганных и троганных платьицах обходили фонтан и шуршали гравием аллеек.

Мне было кого-то разрывающе жаль: не то сверстников моих, перемороженных под Демянском, сожженных в Освенциме, истравленных в Дзезказгане, домирающих в тайге, — что не нам достанутся эти девушки. Или девушек этих — за то, чего мне им никогда не рассказать, а им не узнать никогда.

И целый день гравийными и асфальтовыми дорожками лились женщины, женщины, женщины! — молодые врачи, медицинские сестры, лаборантки, регистраторши, кастелянши, раздатчицы и родственницы, посещающие больных. Они проходили мимо меня в снежно-строгих халатах и в ярких южных платьях, часто полупрозрачных, кто побогаче — вращая над головами на бамбуковых палочках модные китайские зонтики — солнечные, голубые, розовые. Каждая из них, промелькнув за секунду, составляла целый сюжет: ее прожитой жизни до меня, ее возможного (невозможного) знакомства со мной.

Я был жалок. Исхудалое лицо мое несло на себе пережитое — морщины лагерной вынужденной угрюмости, пепельную мертвизну задубенелой кожи, недавнее отравление ядами болезни и ядами лекарств, от чего к цвету щек добавилась еще и зелень. От охранительной привычки подчиняться и прятаться спина моя была пригорблена. Полосатая шутовская курточка едва доходила мне до живота, полосатые брюки кончались выше щиколоток, из тупоносых лагерных кирзовых ботинок вывешивались уголки портянок, коричневых от времени.

Последняя из этих женщин не решилась бы пройти со мною рядом!.. Но я не видел сам себя. А глаза мои не менее прозрачно, чем у них, пропускали внутрь меня — мир.

Так однажды перед вечером я стоял у главных ворот и смотрел. Мимо стремился обычный поток, показывались зонтики, мелькали шелковые платья, чесучовые брюки на светлых поясах, вышитые рубахи и тюбетейки. Смешивались голоса, торговали фруктами, за загородкою пили чай, метали кубики — а у загород-

ки, привалившись к ней, стоял нескладный маленький человечек, вроде нищего, и задыхающимся голосом иногда обращался:

— Товарищи... Товарищи...

Пестрая занятая толпа не слушала его. Я подошел:

— Что скажешь, браток?

У этого человека был непомерный живот, больше, чем у беременной, — мешком обвисший, распирающий грязно-защитную гимнастерку и грязно-защитные брюки. Сапоги его с подбитыми подошвами были тяжелы и пыльны. Не по погоде отягощало плечи толстое расстегнутое пальто с засаленным воротником и затертыми обшлагами. На голове лежала стародавняя истрепанная кепка, достойная огородного пугала.

Отечные глаза его были мутны.

Он с трудом приподнял одну кисть, сжатую в кулак, и я вытянул из нее потную измятую бумажку. Это было угловато написанное цепляющимся по бумаге пером заявление от гражданина Боброва с просьбой определить его в больницу — и на заявлении искося две визы, синими и красными чернилами. Синие чернила были горздравские и выражали разумно мотивированный отказ. Красные же чернила приказывали клинике мединститута принять больного в стационар. Синие чернила были вчера, а красные — сегодня.

— Ну что ж, — громко растолковывал я ему, как глухому. — В приемный покой вам надо, в первый корпус. Пойдете, вот, значит, прямо мимо этих... памятников...

Но тут я заметил, что у самой цели силы оставили его, что не только расспрашивать дальше и передвигать ноги по гладкому асфальту, но держать в руке

полуторакилограммовый затасканный мешочек ему было невмочь. И я решил:

— Ладно, папаша, провожу, пошли. Мешочек-то давай.

Слышал он хорошо. С облегчением он передал мне мешочек, налег на мою подставленную руку и, почти не поднимая ног, полозя сапогами по асфальту, двинулся. Я повел его под локоть через пальто, порывавшее от пыли. Раздувшийся живот будто перевешивал старика к переду. Он часто тяжело выдыхал.

Так мы пошли, два обтрепыша, тою самой аллеей, где я в мыслях брал под руку красивейших девушек Ташкента. Долго, медленно мы тащились мимо тупых алебастровых бюстов.

Наконец свернули. По нашему пути стояла скамья с прислоном. Мой спутник попросил посидеть. Меня тоже уже начинало подташнивать, я перестоял лишку. Мы сели. Отсюда и фонтан было видно тот самый.

Еще по дороге старик мне сказал несколько фраз и теперь, отдышавшись, добавил. Ему нужно было на Урал, и прописка в паспорте у него была уральская, в этом вся беда. А болезнь прихватила его где-то под Тахиа-Ташем (где, я помнил, какой-то великий канал начинали строить, бросили потом). В Ургенче его месяц держали в больнице, выпускали воду из живота и из ног, хуже сделали — и выписали. В Чарджоу он с поезда сходил, и в Урсатьевской, — но нигде его лечить не принимали, слали на Урал, по месту прописки. Ехать же в поезде никак ему сил не было, и денег не осталось на билет. И вот теперь в Ташкенте добился за два дня, чтобы положили.

Что он делал на юге, зачем его сюда занесло — уж я не спрашивал. Болезнь его была по медицин-

ским справкам запетлистая, а если посмотреть на самого, так — последняя болезнь. Наглядысь на многих больных, я различал ясно, что в нем уже не оставалось жизненной силы. Губы его расслабились, речь была маловнятна, и какая-то тускловатость находила на глаза.

Даже кепка томила его. С трудом подняв руку, он стянул ее на колени. Опять с трудом подняв руку, нечистым рукавом вытер со лба пот. Куполок его головы пролысел, а кругом, по темени, сохранились нечесанные, сбитые пылью волосы, еще русые. Не старость его довела, а болезнь.

На его шее, до жалкости потончавшей, цыплячьей, висело много кожи лишней, и отдельно ходил спереди трехгранный кадык.

На чем было и голове держаться? Едва мы сели, она свалилась к нему на грудь, упершись подбородком.

Так он замер, с кепкой на коленях, с закрытыми глазами. Он, кажется, забыл, что мы только на минутку присели отдохнуть и что ему надо в приемный покой.

Вблизи перед нами серебряной нитью взвивалась почти безшумная фонтанная струя. По ту сторону прошли две девушки рядом. Я проводил их в спину. Одна была в оранжевой юбке, другая в бордовой. Обе мне очень понравились.

Сосед мой слышно вздохнул, перекатил голову по груди и, приподняв желто-серые веки, посмотрел на меня снизу сбоку:

— А курить у вас не найдется, товарищ?

— И из головы выкинь, папаша! — прикрикнул я. — Нам с тобой хоть не куря бы еще землю сапогами погрести. В зеркало на себя посмотри. Кури-ить!

(Я сам-то курить бросил месяц назад, еле оторвался.)

Он засопел. И опять посмотрел на меня из-под желтых век снизу вверх, как-то по-собачьему.

— Все ж таки дай рубля три, товарищ!

Я задумался, дать или не дать. Что ни говори, я оставался еще зэк, а он был как-никак вольный. Сколько я лет там работал — мне ничего не платили. А когда стали платить, так вычитали: за конвой, за освещение зоны, за ищеек, за начальство, за баланду.

Из маленького нагрудного кармана своей шутовской курточки я достал клеенчатый кошелек, пересмотрел бумажки в нем. Вздохнул, протянул старику трешницу.

— Спасибо, — просипел он. С трудом держа руку приподнятой, взял эту трешницу, заложил ее в карман — и тут же его освобожденная рука шлепнулась на колено. А голова опять уперлась подбородком в грудь.

Помолчали.

Перед нами за это время прошла женщина, потом еще две студентки. Все трое мне очень понравились.

Годами так бывало, что ни голоса их не услышишь, ни стука каблучка.

— Еще удачно получилось, что вам резолюцию поставили. А то б и неделю тут околачивались. Простое дело. Многие так.

Он оторвал подбородок от груди и повернулся ко мне. В глазах его просветился смысл, дрогнул голос, и речь стала разборчивее:

— Сынок! Меня кладут потому, что я заслуженный человек. Я ветеран революции. Мне Сергей Мироныч Киров под Царицыном лично руку пожал. Мне персональную пенсию должны платить.

Слабое движение щек и губ — тень гордой улыбки — выразились на его небритом лице.

Я оглядел его тряпье и еще раз его самого.

— Почему ж не платят?

— Жизнь так полегла, — вздохнул он. — Теперь меня не признают. Какие архивы сгорели, какие потеряны. И свидетелей не собрать. И Сергей Мироныча убили... Сам я виноват, справок не скопил... Одна вот только есть...

Правую кисть — суставы пальцев ее были кругло-опухшие, и пальцы мешали друг другу — он донес до кармана, стал туда втискивать, — но тут короткое оживление его прервалось, он опять уронил руку, голову и замер.

Солнце уже западало за здания корпусов, и в приемный покой (до него оставалась сотня шагов) надо было поспешить: в клиниках никогда не было легко с местами.

Я взял старика за плечо:

— Папаша! Очнись! Вон, видишь дверь? Видишь? Я пойду подтолкну пока. А ты сможешь — сам дойди, нет — меня подожди. Мешочек твой я заберу.

Он кивнул, будто понял.

В приемном покое — куске большого обшарпанного зала, отгороженном грубыми перегородками (за ними где-то была здесь баня, переодевальня, парикмахерская), днем всегда теснились больные и измирили долгие часы, пока их примут. Но сейчас, на удивленье, не было ни души. Я постучал в закрытое фанерное окошечко. Его растворила очень молодая сестра с носом-туфелькой, с губами, накрашенными не красной, а густо-лиловой помадой.

— Вам чего? — Она сидела за столом и читала, по всей видимости, комикс про шпионов.

Быстренькие такие у нее были глазки.

Я подал ей заявление с двумя резолюциями и сказал:

— Он еле ходит. Сейчас я его доведу.

— Не смейте никого вести! — резко вскрикнула она, даже не посмотрев бумажку. — Не знаете порядка? Больных принимаем только с девяти утра!

Это она не знала “порядка”. Я просунул в форточку голову и, сколько поместилось, руку, чтоб она меня не прихлопнула. Там, отвесив криво нижнюю губу и скорчив физиономию гориллы, сказал блатным голосом, пришепачивая:

— Слушай, барышня! Между прочим, я у тебя не в шестерках.

Она сробела, отодвинула стул в глубь своей комнаты и сбавила:

— Приема нет, гражданин! В девять утра.

— Ты — прочти бумажку! — очень посоветовал я ей низким недоброжелательным голосом.

Она прочла.

— Ну и что ж! Порядок общий. И завтра, может, мест не будет. Сегодня утром — не было.

Она даже как бы с удовольствием это выговорила, что сегодня утром мест не было, как бы укалывая этим меня.

— Но человек — проездом, понимаете? Ему деться некуда.

По мере того как я выбирался из форточки назад и переставал говорить с лагерной ухваткой, лицо ее принимало прежнее жестоко-веселое выражение:

— У нас все приезжие! Куда их положить? Ждут! Пусть на квартиру станет!

— Но вы — выйдите, посмотрите, в каком он состоянии.

— Еще чего! Буду я ходить больных собирать! Я не санитарка!

И гордо дрогнула своим носом-туфелькой. Она так бойко-быстро отвечала, как будто была пружиной заведена на ответы.

— Так для кого вы тут сидите?! — хлопнул я ладонью по фанерной стенке, и посыпалась мелкая пыльца побелки. — Тогда закройте двери!

— Вас не спросили!! Нахал! — взорвалась она, вскочила, обежала кругом и появилась из коридорчика. — Кто вы такой? Не учите меня! Нам скорая помощь привозит!

Если б не эти грубо-лиловые губы и такой же лиловый маникюр, она была бы совсем недурна. Носик ее украшал. И бровями она водила очень значительно. Халат на груди был широко отложен из-за духоты — и виднелась косынка розовенькая славная и комсомольский значок.

— Как? Если б он не сам к вам пришел, а его б на улице подобрала скорая — вы б его приняли? Есть такое правило?

Она высокомерно оглядела мою нелепую фигуру, я — оглядел ее. Я совсем забыл, что у меня портянки высовываются из ботинок. Она фыркнула, но приняла сухой вид и окончила:

— Да, больной! Есть такое правило.

И ушла за перегородку.

Шорох послышался позади меня. Я оглянулся. Мой спутник уже стоял здесь. Он слышал и понял. Придерживаясь за стену и перетягиваясь к большой садовой

скамье, поставленной для посетителей, он чуть помахи-вал правой кистью, держа в ней истертый бумажник.

— Вот... — изможденно выговаривал он, — вот, покажите ей... пусть она... вот...

Я успел его поддержать, — опустил на скамью. Он беспомощными пальцами пытался вытянуть из бумажника свою единственную справку и никак не мог.

Я принял от него эту ветхую бумажку, подклеенную по сгибам от рассыпания, и развернул. Пишущей машинкой отпечатаны были фиолетовые строчки с буквами, пляшущими из ряда то вверх, то вниз:

“ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Справка.

Дана сия товарищу Боброву Н. К. в том, что в 1921 году он действительно состоял в славном -овском губернском Отряде Особого Назначения имени Мировой Революции и своей рукой много порубал оставшихся гадов.

Комиссар

Подпись.

И бледная фиолетовая печать.

Поглаживая рукою грудь, я спросил тихо:

— Это что ж — “Особого Назначения”? Какой?

— Ага, — ответил он, едва придерживая веки незакрытыми. — Покажите ей.

Я видел его руку, его правую кисть — такую маленькую, со вздувшимися бурыми венами, с кругло-

опухшими суставами, почти неспособную вытянуть справку из бумажника. И вспомнил эту моду — как пешего рубили с коня наотмашь наискосок.

Странно... На полном размахе руки доворачивала саблю и сносила голову, шею, часть плеча эта правая кисть. А сейчас не могла удержать — бумажника...

Подойдя к фанерной форточке, я опять надавил ее. Регистраторша, не поднимая головы, читала свой комикс. На странице вверх ногами я увидел благородного чекиста, прыгнувшего на подоконник с пистолетом.

Я тихо положил ей надорванную справку поверх книги и, обернувшись, все время поглаживая грудь от тошноты, пошел к выходу. Мне надо было лечь быстрее, головою пониже.

— Чего это бумажки раскладываете? Заберите, больной! — стрельнула девица через форточку мне вслед.

Ветеран глубоко ушел в скамью. Голова и даже плечи его как бы осели в туловище. Раздвинуто повисли беспомощные пальцы. Свисало распахнутое пальто. Круглый раздутый живот неправдоподобно лежал в сгибе на бедрах.

Василь Быков

СВОЯКИ

Нет! — сказала она, стукнув об пол ухватом. — Нет! И не думайте! Вы что, с ума сошли?

Сидя подле стола, они переглянулись. Старший, высокий, худой, по-юношески нескладный Алесь, сразу нахмурился, уходя в себя, на совсем еще мальчишеском, пухловатом лице пятнадцатилетнего Семки мелькнуло что-то упрямое и злое.

— Все равно уйдем!

— Попробуйте! Попробуйте, ироды! Ишь что надумали! Сопляки несчастные! Я вам покажу партизанов!

Это была угроза, но в ней чувствовалась не столько сила и уверенность, сколько ее материнская беспомощность, от которой она всхлипнула и с ухватом подскочила к парням. Они бы должны разбежаться, как делали это не раз прежде, но теперь даже не сдвинулись с места, и это вовсе озлило ее. Семка лишь вскинул нехотя руку, чтоб защититься, она ударила его несколько раз, не разбирая куда, потом один раз — Алесь. Старший принял ее удар с каменным безразличием на угрюмом худом лице, даже не вздрогнул, только плотнее сжал губы, и она поняла, что все это напрасно. Напрасен весь ее гнев, ее брань, ее запальчивая попытка вернуть уходящую власть над сынами. Отчаяние враз сломило ее, и, бросив ухват, она вышла в сени.

Несколько мучительных минут она корчилась на сундуке от бессильно-исступленной обиды, не в состоянии постичь непостижимое: почему они такие упрямые в этом гибельном своем безрассудстве? Она понимала, когда на это решались взрослые — окруженцы и свои мужики, но что там могло привлечь их, почти что детей, едва оперившихся в жизни подрост-

ков? Что они сделают там, в лесу? Разве только погибнут по-глупому, как погиб тот, что неделю назад все утро лежал на выгоне, такой молоденький, пригожий хлопчик в окровавленной военной рубашке. Так и они будут лежать где-то, и на них будут боязливо глядеть незнакомые люди, и пьяные полицаи будут пинать их подкованными сапогами, а по босым ногам их будут осатанело бегать жадные весенние мухи...

Нет, так не будет, хватит того, что без поры, без времени сложил голову отец, а у них еще, слава богу, есть мать, она не допустит этого, она ни перед чем не остановится. Она знает, кто подбил их на это гибельное дело, она найдет его и не оставит ни одного волоска в его фасонистом белом чубе.

С внезапно возникшей решимостью она подхватила с сундука, выбежала во двор, но вернулась, метнулась по сеням в поисках подпорки и, не найдя ничего более подходящего, сорвала с крюка коромысло. Охваченная мстительным злорадством, она туго подперла коромыслом дверь в избу и бросилась на улицу, поправляя на ходу косынку и не утирая слез, которые все еще лились по ее щекам.

Она бежала по улице, распугивая кур у плетней, взбивая босыми ногами пыль, и голову ее распирало от множества гневных слов, преисполненных ее, материнской обиды. Она скажет этому Яхиму, что он душегуб, бессердечный ирод, она спросит, зачем ему эти зеленые мальчуганы. Если надумал, пусть себе и идет сам куда ему хочется — хоть в партизаны или в полицию, но только без них. Пусть он сейчас же объявит им, что никого с собой не возьмет, иначе она обломает об его голову все ухваты, оскандалит его на всю округу.

В сердцах она сильно толкнула дверь старенькой, покосившейся избушки, не закрывая ее, рванула за клямку вторую — на нее сразу пахнуло прохладой земляного пола и тишиной. Тогда она дернула занавеску на печи, с вороха грязного тряпья приподнялась белая голова старого, больного Лукаша, его подслеповатые, выцветшие глаза болезненно заморгали в недоумении.

— Где Яхим ваш?

— Якимка-то? А кто ж его знает. Разве теперича дети спрашиваются у родителей?..

— А ночью он спал дома?

— Не знаю я. Будто не слышать было.

Конечно, что он мог знать, этот полуослепший, забытый богом старик, наверно, Яхима не так просто поймать. Она почувствовала, что весь запал ее гнева вот-вот иссякнет впустую, и опять не сдержалась. Правда, слез уже не было, были только удушливые спазмы в груди, и, пока она, прислонясь к печи, боролась с ними, Лукаш устало глядел на нее и постанывал, донимаемый своими болями.

Но нет, все равно она их не отдаст, они — ее дети, она для них мать и не согласится на их гибель, скорее сама ляжет трупом на этом их сумасбродном пути, но не пустит их к смерти.

Она почти все время бежала — через деревню, мимо с детства знакомых избенок, потом по выгону с молодой весенней травой, усеянной желтыми цветами одуванчиков, вдоль свежо и весело зазеленевшего нежными листиками овражка. Как за последнюю свою возможность, она ухватилась теперь за мысль обратиться к Дрозду, что жил в недалеком, через поле,

местечке. Правда, с зимы он ходил в полициях, был начальственно важен и строг, но она знала его мать и его с самого детства, все же он был ей двоюродный племянник — не чужой. Она расскажет ему о своем горе, и он должен чем-либо пособить, ведь мужчина неглупый и, главное, по нынешнему времени власть. Пусть он их пострашает, посадит на какую недельку в подвал, пусть даже недолго подержит в тюрьме, но чтоб только не ушли в лес и не иссиротили ее.

Она лишь боялась, как бы Дрозд не уехал куда, не был занят, не отказал и тем не лишил ее последней возможности удержать их. Но солнце было уже низко, медленно садилось вдали за широкую багровую тучу над лесом, — в такое время, знала она, служащие в местечке расходились из учреждений и занимались своим хозяйством. Правда, она пожалела, что ничего не захватила с собой, надо бы прийти хоть с каким-либо гостинцем да с бутылкой, конечно. Но за ней не пропадет, пусть только поможет.

Да, он был дома, она сразу поняла это, как только свернула с улицы в узенький, обсаженный вишняком проулок к его добротной пятистенной избе. Из двух настежь раскрытых окон неслась громкая музыка, и за цветочными горшками на подоконнике двигалось чье-то мужское с погоном плечо.

Она еще раз поправила на голове платок, корявыми, жесткими от непроходящих мозолей руками вытерла глаза и как можно тише вошла на крыльцо. Дверь в избу была раскрыта. Он, сидя на табурете, сразу повернул к ней крупное бритое лицо, на котором мелькнуло удивление.

— Что тебе, тетка?

То, что он назвал ее привычно, по-деревенски теткой, придало ей смелости, под его уже строгим, будто даже сердитым взглядом она ступила на рогожку у порога и промолвила:

— Пришла к тебе, Петрович, по делу.

Патефон на конце стола смолк, кто-то повернул в нем блестящий рычаг, и несколько мужских лиц с настороженным неудовольствием уставились на нее. Она смешалась под этими взглядами и не знала, как тут объяснить свою такую, казалось, простую и понятную надобность. В сознании ее даже мелькнуло сожаление, что пришла сюда, но какого-либо иного выхода в запасе у нее не было.

— Да я чтоб посоветоваться. Сыны у меня...

— Что сыны? Говори конкретно.

Она мучительно искала слова, чтобы поскорее и попонятнее объяснить им, что ее привело сюда.

— Ну говори, говори. Не бойся, тут все свои.

— Сыны у меня... Нехорошее удумали.

— Что, с бандитами снюхались?

Они все враз будто встрепенулись за столом, а Дрозд двинул в сторону табурет и как был — в нижней голубой майке — тяжело шагнул к ней.

— Ну, говори.

Она, отчетливо сознавая, что должна решиться на самое главное, ради чего готова была на все, взмолилась:

— Петрович, родненький, только прошу, не сделай же им плохого. Ну, может, попугай их, не наказывай только. Молодые же еще, старшему семнадцать на пасху исполнилось. Разве ж они понимают...

— Ага! Так-так. Ну, ясно. Где они теперь?

— Дома. Я ж их заперла.

— Заперла? Молодец, тетка. Идем!

Он решительно натянул на себя свой полицейский мундир, сорвал со стены винтовку. Другие тоже вылезли из-за стола, и в избе сразу стало тесно. Она отступила, внутри у нее что-то дрогнуло и опало, и, пока Дрозд подпоясывался толстым военным ремнем, она, сцепив на груди руки, просила:

— Петрович, сынок, только ж вы по-хорошему...

— Мы по-хорошему. Культурно! Барсук, захвати конец.

Они вышли во двор и, сокращая свой путь к деревне, быстро пустились по меже полем. Солнце уже скрылось за тучей, голые, по-весеннему серые поля потускнели, но было светло и тихо. Здесь, на воле, она лучше рассмотрела их. Кроме Дрозда, еще двое были в немецких мундирах и пилотках, а один, задний, в своем — пиджаке и серых брюках навывпуск. Этот, в гражданском, ей показался знакомым, она, забегая немного вперед, спросила:

— Гляжу это и узнаю будто. Не с Залесья будете?

— С Залесья, матка, — просто ответил он басом, но разговора не поддержал. Она пригляделась к остальным двоим, к их крутым, стриженным затылкам, но эти, очевидно, были чужие.

Они перешли пригорок, край лужка, миновали лозовые заросли у ручья. Возле болотца-выгорища ковырялся с плугом хромой Лущик, из их же деревни. Остановив лошадь, он долго смотрел издали на четырех полицейских и женщину. Она ничего не сказала ему, прошла мимо, но почему-то ей стало не по себе от этой настороженности знакомого человека. Прав-

да, она тут же подавила в себе это неприятное, пугающее чувство. Пусть, пусть пострадают, не убьют же, ведь немцам они ничего плохого еще не сделали, за что же наказывать их?

Она все время бежала сзади, в поле и на выгоне, и только когда зашли во двор, у колодца, Дрозд пропустил ее вперед и даже слегка подтолкнул: давай, мол, мы следом. Она проворно и привычно, как всегда, приступив на широкий камень у двери, шагнула через порог и тотчас поняла, что зря понадеялась на подпору: коромысло валялось на полу, и дверь в избу была раскрыта. Однако тут же она увидела Семку, и ее поразила гримаса испуга, почти боли, на его полудетском лице. Нагнувшись и держа в руках большой кухонный нож, сын стоял над дежей, в которой они хранили мясное. У ног парня лежала торбинка с завязками. Увидя эту торбу, она все поняла и коротко, зло про себя усмехнулась. Но в тот же миг Семка вскрикнул, выронил на пол кусок сала и, пригнув голову, бросился в дверь, на бегу сильно толкнув ее в бок. Сзади закричали — Дрозд или другой кто-то, — и тотчас сильно грохнул один, второй, третий выстрелы. В ней все обмякло, она пошатнулась, но сдержала себя и, чувствуя, что происходит нечто нелепое и ненужно страшное, выбежала из сеней.

— Сыночек! Сыночек! Постой!

Она бросилась к полицаю в серой немецкой пилотке, который стоял с карабином у плетня, но он уже не стрелял — опустил карабин прикладом к ноге, выругался, грубо отстранил ее и полез через перекладину в лазу на огород. Она не понимала его, как не понимала ничего, что здесь происходило. Семки нигде

не было, и только когда полицай широко зашагал наискось по вспаханному огороду, она увидела запрокинутую голову сына, плечи и разбросанные в стороны руки: он недвижимо лежал на пахоте в трех шагах от буйно белевшего первым цветом вишенника.

Тогда она закричала и рухнула на пахнувший навозом двор, сознание огромной несправедливости сразило ее: как же могло случиться такое? Она билась головой о твердую, как бетон, утоптанную землю двора, колотила ее своими не по-женски большими кулаками, царапала, зайдясь, вся в безумном исступлении от такой непоправимой, дикой нелепости. Из этого состояния ее вырвал голос — знакомый и в то же время совершенно изменившийся голос ее старшего сына:

— Холуи продажные!

Все еще не поднимаясь с земли, она вскинула голову и сквозь слезы увидела, как. Дрозд и двое других полицаев вытолкали его из сеней и начали грубо крутить за спину руки, связывая их веревкой — концом, прихваченным у Дрозда.

— Бобики! Будет и на вас веревка!

— Молчать, щенок!

Полицай, что в брюках навывпуск, коротко и сильно двинул его коленом в живот. Алесь пошатнулся, но устоял, и она, совершенно уже теряя над собой власть, вскричала:

— Сыночек!

Но он даже не взглянул в ее сторону, лицо его было исполнено гнева и твердости, он вскинул ногу в ботинке и ударил ею полицая.

— Смерть Гитлеру!

— Ах так, щенок!

Дрозд сильно толкнул его прикладом, и он неуклюже, со связанными руками, упал спиной на камень у порога. Она бросилась к Дрозду и, хватая его за ноги в пыльных, вонючих сапогах, пыталась остановить, не дать бить сына. Но эти ноги ударили и отбросили ее саму, она перевернулась, захлебываясь от боли в груди.

— Ах так, щенок! — сказал Дрозд. — К стенке его!

Те двое сильно рванули сына за связанные руки, размашисто отбросили к истрескавшимся бревнам стены, и Дрозд вскинул свой карабин. Она снова подхватила с места и на этот раз метнулась к сыну, но над головой ее грохнуло, оглушило. Алесь неестественно напругся, губа его с едва заметным светлым пушком раза два дернулась, и голова беспомощно упала на грудь. Он сполз спиной по стене и в неестественной, скрюченной позе застыл над завалинкой. Тогда она поняла, как непростительно глупо казнила их и себя тоже, схватила у порога первое, что ей попало на глаза, — хворостину, которой выгоняла по утрам корову, и с небывалым ожесточением набросилась на Дрозда.

— Что ты наделал! Ирод! Выродок!

Она метила ею по голове и лицу полицая, но тот вобрал голову в плечи, заслонился локтем, и она била по ненавистному, с полосатой повязкой локтю, по пилотке, пока Дрозд окованным тяжелым прикладом не отбросил ее к тыну.

— Прочь, гадовка!

Оглушенная, она зашла от боли и смолкла. Полицай приволок с огорода распластанное тело Семки, бросил его на дворе, задыхаясь, откашлялся и полез в карман за махоркой.

— А здорово ты его — под дых! — одобрительно сказал Дрозд.

Полицейский зло матерно выругался.

— А что ж, туды т его враз! Не знал, от кого! У меня не уतिकеть.

Возбужденно ругаясь, они начали закуривать. Она корчилась под тыном, оглушенная, все видела, но почти уже ничего не замечала и ни на что не реагировала. Потом, когда несколько унялся болезненный гул в голове, поднялась сначала на колени, затем на свои босые, затекшие ноги, окинула полубезумным взглядом двор с недвижимыми телами ее сыновей. У нее уже очень немного осталось сил, она держалась за тын и, перебирая руками, обессиленно пошла к улице. Ее не останавливали и не кричали, да она и не прислушивалась уже ни к чему в этом свете, страх ее иссяк весь без остатка. Добредя до колодца, она бессильно упала животом на край ослизлого сруба и, увидев в его глубине далекий просвет, как за несбывшейся справедливостью, торопливо ринулась в темный, зыбкий проем.

Юрий Мамлеев

Сереженька

Если в течение тридцати минут не сделать укол, парень умрет как дважды два, — сказал врач, выйдя на террасу. — А сделаем укол, будет жить сколько влезет.

Кругом была мгла, вечер, высокие смутные деревья, подмосковные дачи.

— Надо выйти на шоссе, — продолжал врач, — поймать машину. Больница в 7–10 минутах быстрой езды. Иного выхода нет. “Скорой помощи” поблизости нет.

Мамаша умирающего молодого человека, Вера Семеновна, первая выкатилась в сад. За ней вслед выскочили несколько гостей и дачников. “Неужто помрет, помрет... Сереженька-то”, — бормотала Вера Семеновна, семеня ножками по направлению к калитке. Ей казалось, что все вокруг оцепенело и только что-то сильное и жестокое давит грудь.

“Где взять машину?” — подумала она, и ей на мгновение показалось, что она и есть машина, быстрая такая и широкая... Раз-раз, и понесет своего мальчика до больницы, быстро-быстро... Механически она выбежала за калитку на шоссе. Около нее раздавались громкие матерные голоса. Кто-то играл в карты, прячась в канаве.

Фьют, фьют, фьют — ей очень захотелось, чтобы показались десятки, сотни машин. Но ничего не было. Подбежали, подтягивая штаны, гости и дачники. Один из них на ходу полоскал горло.

Вере Семеновне почудилось, что спасение ее мальчика зависит от того, будет ли мир неподвижен и неподатлив, как сейчас, или нет?! Пыхтя, она побежала сама не зная куда.

Вдруг на повороте, у железной дороги, она увидела легковой автомобиль, ожидающий зеленого сигнала.

Уже через минуту она была около него; внутри сидело два человека, мужчина и женщина.

...Хватая себя за волосы, рыдая и воя, Вера Семеновна запричитала о том, что нужно спасти молоденького парня, ее сына, студента. Спасение займет всего десять минут.

— Мы еще не умывались, гражданка, — вдруг тупо сказал водитель.

— Он шутит, конечно, мамаша, — вмешалась женщина, сидящая на заднем сиденье. — Но поймите, мы должны вернуться вовремя; машина не наша, и ее хозяин давно ждет нас.

— Мальчик же умрет через полчаса! — громко заорала Вера Семеновна. Но странно, внутри она почувствовала, что кричать бесполезно и что вполне нормально и естественно, если люди ее не слушают. И это сознание стало придавать некоторую театральность и искусственность ее, казалось бы, самым искренним и душераздирающим крикам. Наконец, после того как водитель холодно, как обычно смотрят друг на друга прогуливающиеся на улице люди, взглянул на нее, Вера Семеновна поняла, что все кончено; и хотя она знала, что не поступила бы так сама на его месте, тем не менее прежний опыт жизни заставил ее даже не возмутиться, как будто так оно и должно было быть. Взглянув, она несколько даже лицемерно пискнула: — 18-й год мальчику-то... Рано умирать...

— Вон смотрите, там еще одна машина, — сказала ей женщина.

Вера Семеновна бросилась туда, крича и размахивая руками. Но она не добежала до машины. Хотя водитель видел ее дикую, истерзанную фигуру, он рва-

нулся с места. Автомобиль проехал мимо Веры Семеновны, обдав ее грязью. Она обернулась.

Тем временем и первой машины простыл след. Она, как напроказивший малыш, вовсю удирала по шоссе.

Вера Семеновна боялась посмотреть на часы.

А по другую сторону железной дороги она увидела вспыхнувшую в ее сознании картину: около пивного ларька стояла милицейская машина. Дюжие милиционеры втаскивали в нее молча, но остервенело сопротивляющегося мужика.

Когда Вера Семеновна подсеменила туда, там уже были ее соседи-дачники.

— Не дают автомобиль, — тупо и удивительно сказали они ей.

— Говорят, что им срочно надо отвезти пьяного. И они не могут не по назначению использовать машину.

Вера Семеновна, сама не помня себя, но больше механически принялась кричать.

Сиволапые милиционеры подтаскивали пьяного и осматривали его, но в то же время наблюдательно и даже с уважением слушали ее. Слушали и ничего не отвечали. Одному она кричала прямо в ухо, но он, казалось, слыша ее, равнодушно стоял и смотрел на пьяного, точно выпуская ее крики из другого уха. Смотрел и переминался с ноги на ногу.

— Слезами, хозяйка, горю не поможешь, — вдруг, крикнув, назидательно проговорил он.

Тут же к нему пристало подошедшее со стороны какое-то пьяненькое, но громадного росту существо. Этот мужик сначала незаметно и тихо, как втайне, с любопытством выслушивал Веру Семеновну и дачников. Теперь он упоенно выигрался.

— Ведь сыночек у матери помирает, родное дитя, — зычно закликушествовал он, поднимая огромные руки то на грудь, то к небу. — Люди, а?! Люди?! Али вы крокодилы?! Ежели бы чужой или племяш... А то ведь родное дитя... Пожалеть тут надо, приголубить, а... Дубины...

Он так кричал и самозабвенно расплескивался, что не заметил, как Вера Семеновна с дачниками уже ушли. Долго еще потом он орал и даже, когда милицейская машина уехала, одиноко бежал по темным дачным улицам, крича и причитая, пугая собак и старух.

Вера Семеновна между тем подходила к своему дому. Она ушла, потому что посмотрела на часы: прошло уже сорок минут. Состояние у нее было мертво-обреченное, слегка полоумное и в то же время спокойное.

Она думала о том, что она еще с самого начала, когда выбежала из калитки, ясно осознала то, что хоть ей и встретятся люди, но никто все равно не поможет. Что просто так должно быть, судя по всему, что такое жизнь, и возмущаться так же бесполезно, как если бы ударила молния и убила ребенка. Но ее душил кошмар сам по себе, потому что исчез ее мальчик: она была уверена в этом, в таких случаях врачи не ошибаются.

Маленький распушистый куст на мгновение показался ей сыном; она взмокла, и ей захотелось поест; по спине прошел холод. Вдруг Вера Семеновна подумала, что теперь, без сына, ей сполна будет хватать ее пенсии.

Посмотрела на небо: может быть, ей еще удастся слетать на Луну.

В саду, у ее дома, шумели, точно разговаривая с Богом, деревья. У калитки освещенная уличным фонарем стояла старушка-соседка. По ее оживленному лицу Вера Семеновна поняла, что Сережа умер.

Владимир Казаков

Свадьба

— Я сошла, — с тобой до утра буду,
На рассвете твой покину сон...

А. Блок

Всю ночь Истленьева мучили кошмары. Свора чудовищ гналась за ним по пятам. Вот он споткнулся, упал, и чудовища навалились на него. Еще миг — и они его растерзали бы. Невероятным усилием воли он выкарабкался из сна, оставив в их когтях клочья мяса и ночной рубашки.

Истленьев долго сидел неподвижно, опустив голову и задумавшись. Вдруг какая-то мысль поразила его, и он вскочил с кровати. — “Господи, ведь сегодня же свадьба! Моя свадьба!” Он бросился к часам, но на них было только четверть шестого. Магазины откроются еще не скоро. Истленьев заглянул в картонный ящик: ничего, кроме черствой булки. Ведь обедать он ходит в столовую. Надо много чего купить. Истленьев представил себе свадебный стол. Это был бесконечно длинный стол, уставленный серебряной и хрустальной посудой. По скатерти брела грациозная лань, не касаясь ни единого предмета золотыми копытцами. Ах, не то! На свадебном столе должно

обязательно быть шампанское. Это он хорошо знает. Может быть, положить книги? Самые лучшие, самые старые. Нет же, книги не нужны совсем! Что это ты выдумываешь? Но ведь мы с ней будем вдвоем. Только она и я.

А пока нужно прибрать, приготовить комнату. Может быть, вынести эту кровать? Кровать старая, железная, выкрашенная в голубое. Нет, не надо ее выносить. Невеста поймет, что ее не нужно пугаться. Девушку даже позабавит и повеселит то, как чудно скрипит эта койка, когда на нее садишься. Со стола все лишнее надо убрать. Все бумажки, папки, картонки. Стакан с карандашами можно оставить, цветные карандаши — это неплохо. Книги тоже пусть пока лежат. Так, теперь подмести как следует и стереть отовсюду пыль. Особенно с книжного шкафа. Истленьев с гордостью посмотрел на шкаф. Через его стекло видны были корешки разных книг. Многие из них были с золотым тиснением. Не на каждой свадьбе бывает такой книжный шкаф. Теперь протереть полку с книгами, задвинуть подальше картонный ящик. “Все готово к свадьбе? Все готово к свадьбе!” — мысленно пропел Истленьев. Наконец, он побрился, тщательно умылся и надел все свежее. Темно-синий костюм был не новый, но очень хорошо сохранившийся.

Так шло время, и вот часы пробили восемь. Сначала Истленьев ничего не понял из их боя. Потом про себя воскликнул: “Ах, да! Часы! Так, так! Я совсем забыл про часы, и они мне напоминают”. Он достал из ящика стола суконную полоску и принялся начищать бронзу. Теперь подвинуть их поближе к столу. Ну вот, хорошо. Тут только Истленьев обратил внимание

на циферблат. “Как! Неужели девятый час?” Он схватил портфель и стремглав побежал за покупками.

Но в магазинах почему-то не продавали ничего подходящего к свадьбе. Не мог же он поставить на стол и показать невесте вот этот розовый окорок. Колбасы тоже имели малопривлекательный вид. Угрюмые и копченые, с кружками жира, они грудками лежали в витрине. Истленьев заторопился в другой магазин. Но там была подобная же картина. Ярко освещенные, стояли бутылки с разноцветными жидкостями. Это были вина, настойки, водки. Ему стало не по себе, когда он на миг представил, что невеста увидит все это на его столе.

Истленьев принялся колесить по городу, бросаясь из одного магазина в другой. Был в продовольственных, мебельных, посудохозяйственных. Но везде продавались товары, вызывавшие у него только тоску и страх. А время шло, наступил вечер, и до назначенного часа оставалось немного. Истленьев объехал весь город, выбился совершенно из сил и уже плохо соображал, что ему нужно. Городские часы показывали четверть седьмого. Тут он в один миг сделал свои покупки, истратив все деньги, и помчался домой.

Дома его в первую очередь поразило то, как торжественно выглядела комната. Будто бы не с ним прожили уже много лет эти шкаф, стол и кресло. Как странно! Все равно что увидеть старого друга, с которым каждый день запросто болтаешь и куришь, в чопорном костюме, при галстук и т.д. Истленьев даже смутился от всей этой торжественности. Он перестал метаться и размахивать руками. Движения его стали медленными и какими-то скованными.

На столе лежали вываленные в беспорядке покупки. Там оказались бутылка шампанского, букинистическая книга стихов, коробка с зефирами, несколько сырков и спичечные коробки, которыми в изобилии снабдили Истленьева продавцы. Но он плохо соображал, что лежит перед ним. Только шампанское он сразу заметил и поставил на середину стола. Так, хорошо! Вдруг ему на глаза попала бутылка пива. Нет, нет, пиво не нужно совсем! Его надо убрать подальше. Он задвинул бутылку за шкаф. Из карманов пальто торчали бумажные голубые и розовые цветы. Они вдруг умилили Истленьева почти до слез. Он укрепил их проволоочные стебли на железной спинке кровати. Пробило семь, Истленьев судорожно переставил шампанское на край стола, пригладил волосы и окаменел.

В комнату тихо вошла невеста. Как она была красива в белом подвенечном платье, хотя и немного грустна! Она удивленно осмотрела комнату, будто не найдя в ней того, кого ожидала встретить. Истленьев поклонился ей. Но девушка его не видела. Она посмотрела грустно вокруг и села на краешек кресла. Бедный Истленьев не знал, как ему быть. Он тихо сказал: "Здравствуйте! Простите меня, пожалуйста! Я..." Невеста не шевельнулась. Она сидела, печально глядя в окно. И тут только Истленьев увидел свои покупки. Разбросанную на столе снедь, бутылку шампанского и бумажные цветы, прикрученные к спинке кровати. Он похолодел, до того неприглядно все это выглядело. Бутылка с пивом тоже каким-то образом оказалась на столе, хотя он помнил, что упрятал ее далеко за шкаф. Это пиво было ужасно. У Ис-

тленьева даже мелькнула мысль: “Хорошо, что девушка меня не видит”.

Она сидела и, глубоко задумавшись, глядела в окно. Истленьев несколько раз начинал тихо говорить: “Простите меня, пожалуйста... Здравствуйте... Не обижайтесь!..” И тут же, подавленный, умолкал. Ибо девушка не слышала ни единого его слова и не видела его самого. Так она пробыла в комнате очень долго. Истленьев все стоял, опустив голову, повторяя каждые полчаса как бы механически: “Простите меня... пожалуйста!..” Невеста становилась все печальнее в одиночестве. Не отводя глаз, она смотрела и смотрела в окно...

Часы пробили полночь. Девушка медленно поднялась и обвела взглядом комнату. Так и не увидев Истленьева, она тихо пошла к двери. “Простите, пожалуйста...” — прошептал Истленьев. Она обернулась, грустно посмотрела в сторону окна, потом отворила дверь и вышла. Истленьев долго еще стоял неподвижно, глядя на дверь. — “Я не сказал ей “прощайте!”, — подумал он.

Евгений Харитонов

**Один такой,
другой другой**

В мастерскую по ремонту автомобилей пришел клиент поменять на своей машине помятую заднюю часть. Сильный рабочий раскрутил для проверки колеса, они откинули другого, кто там работал, физически слабого рабочего, но не настолько, чтобы расшибить. Сильному того было и надо, чтобы заказ этот целиком пошел ему. А клиент, пока сильный чинит, достал из кармана от нечего делать миниатюрный автомобиль и стал вертеть в руках, подарок, может быть, своему малышу. Слабый попросил его у него посмотреть, пока сильный делает кузов, и моментально приладил к игрушке ювелирный моторчик размером с мандавошку. Но уж после этого не мог с ней расстаться и решил бежать от них хоть куда. Там был спуск в нижние коридоры под бомбоубежище как в больнице на ул. Карбышева и один из тупиков сходился в конце концов с подвальными помещениями жилого дома, где денежный жилец первого этажа вырыл из кухни яму под фотолабораторию. В этот момент жилец отогревался в ванной, думал звонить молодому человеку, известней и моложе Гены Бортникова, с длинными волосами и от чьего имени у многих девушек останавливается дыхание. На вечерах в школах разыгрывается приз, кто выиграет, того при всех поцелует кумир, специально вывезенный в мороз на такси. Он по-братски обнимет и поцелует того, кто вытянет счастливый фант, подарит с себя нательную майку, но для этого надо хорошо учиться во всех четвертях, на медаль. Жилец вышел из ванной ему звонить, а слабый рабочий вышел через фотолабораторию в квартиру этого жильца и скорей

не раздумывая спрятался в ванную от сильного рабочего и клиента и согреться после бомбоубежища. Те схватили бы его, но домработница подошла к нему потереть спину, не разобрала, что это уже не хозяин, сильный рабочий с клиентом подумали это они ошиблись, и схватили на кухне хозяина, он был похож на слабого рабочего, побили и потащили через фотолабораторию и бомбоубежище. Слабый рабочий зажил в квартире как хозяин. Безделушку с приделанным моторчиком отдал домработнице в подарок ее малышу. Домработница была приходящая, ей разрешалось ездить домой на хозяйской машине. Она за баранкой вынула из сумочки подарок малышу полюбоваться, другая рука соскользнула, настоящая машина стукнулась, и помялся кузов. Теперь и ей надо было ехать в мастерскую ремонта, где работал сильный рабочий, но ему помогал уже другой физически слабый рабочий, и не тот жилец, которого схватили по ошибке, просто совсем новый слабый рабочий. И тоже, пока сильный чинил ей кузов, а домработница вертела в ожидании в руках миниатюрную игрушку, новый слабый рабочий попросил у нее посмотреть и моментально что-то приладил, дистанционное управление. Но домработница не дала ему убежать, как сделал тот, кто стал хозяином квартиры, а скорее усадила в исправленную машину и повезла знакомить с хозяином, то есть с тем, который был первым слабым рабочим; но это забыто. Они втроем выпили за знакомство ели деликатесы, и домработница, пьяная, была бестактна с этим новым слабым рабочим, болтала в глаза что попало, но слабый рабочий и не принимал во внимание, привык такие вещи

не замечать. Но отвечать достойно как умеют другие, без срыва, не научился. То домработница то хозяин как попало заводили машинку, а она сорвалась с управления и изранила как человек в отместку сначала хозяина, домработница пьяная за это накинута на слабого рабочего, и машинка изранила ее всю так, что их с хозяином отвезли в больницу. На Карбышева. Теперь уже этот новый слабый рабочий остался за хозяина квартиры и все увлекательные знакомства и связи того перешли к нему. А еще в недавней безвестности он много думал и любил до смерти того кумира девочек и мальчиков, кому еще самый первый хозяин квартиры шел звонить из ванной, и давно стремился к кумиру попасть. Он позволял себе, еще в былой безвестности, раз может быть в два-три года послать кумиру обдуманное письмо с надеждой, восхищаясь его красотой и дерзостью. И как только сам теперь чуть расцвел в квартире и со знакомствами, к нему стал заходить для вида напускающий на себя развязность, на самом деле бедный и привязчивый молодой человек, готовый беспредельно любить молодого человека-хозяина. Но тот с давних пор думал о кумире. В недавней безвестности считал каждую редкую удачную встречу с молодыми людьми за подарок, а теперь к нему, когда он хочет и не хочет, мог приходить этот трогательный привязчивый напускающий на себя развязность молодой человек, ужасно, жопа тощая, ноги слабые в штанах болтаются, и молодой человек, держащий в голове кумира, любил ему рассказывать, как он любит о кумире думать. Он стал просить привязчивого молодого человека познакомиться с кумиром, раз привязч. мол. чел. лю-

бил хвалиться, что ему ничего не стоит познакомиться и заинтересовать собой кого угодно. Привязч. м. ч. первое время только обещал, вернее, пренебрежительно хвалился, что ему ничего не стоит. Но потом, за недостаточное внимание к нему мол. чел. с кум. в голове, прив. м. ч. действительно завязал знакомство с кумиром. Мол. чел. с к. в г. стал выпытывать у п. м. ч. подробности о к. Прив. м. ч. сердился, что он интересуется м-го ч-ка с к.: в г. лишь как средство попасть к к. М. ч. с к. в г. упрашивал, упрашивал сводить его к к., но п. м. ч. не хотел, вернее всего не мог. Вряд ли у него могло завязаться с к. настолько простое знакомство, чтобы звонить когда угодно и приходить. Наконец, мчсквг выпытал от пмч засекреченный на 09 телефон к., решился и сам позвонил. И вдруг кумир здоровается с ним просто как с хорошим знакомым и разрешил к себе прийти. Молодой человек с кумиром в голове на всякий случай застраховался: оставил у себя под домом ключ с запиской для молодого человека, но не для бедного привязчивого, а для совсем другого с которым недавно познакомился в чинных обстоятельствах и про которого было неясно, как себя с ним вести. И вот молодой человек с кумиром в голове как в редком сне сидит напротив кумира у кумира на квартире, выпивают и заедают, и когда кумир вышел пописать, мол. чел. с ним в уме звонит домой сказать неясному молодому человеку, если тот пришел, чтобы дожидался, не уходил. Мол. чел. с кум. в голове не смел надеяться на невероятное — что у кумира можно будет еще и посидеть и даже, на что совсем нельзя надеяться, можно будет совсем не уходить. Но при таком обороте и не стоит

предупреждать по телефону неясного мол. человека — пусть сидит дожидается в неясности там в квартире, и это хорошо на будущее: неясный молодой человек приехал, ждет, хозяина нет, и от этого только больше будет дорожить шансом встречи с таким непостоянным в своем слове хозяином. Неуловимое любим. Если же, разбирался мол. чел. с кумиром в уме у кумира на квартире, я не задержусь у кумира, конечно не задержусь, только так и надо думать, потому что если так думать если твердо считать не задержусь, жизнь может сделать наоборот, она любит делать наоборот, а если хитрить, думать не задержусь, нарочно чтобы жизнь сделала наоборот, жизнь догадается и все равно перехитрит, сделает так как ты думал потому что в глубине-то ты думал не так. Итак, я здесь не задержусь. Но я уже получил сверх ожидания. Побыл здесь, а не надеялся. То есть в глубине надеялся и, значит, не надеялся, зная, что жизнь, за то что я надеюсь, в глубине, сделает, чтобы я здесь не побывал. Но она, любя свою непредсказуемость, зная, что я не надеюсь, потому что надеюсь в глубине и уж знаю, что она за это должна сделать наоборот, сделала наоборот-наоборот. Я здесь побывал-побывал. А теперь когда вернусь домой, не надо будет без конца перебирать в уме все, что сейчас было, обстановку, слова, не веря что было; дома новая новость, неясный молодой человек, и что-то еще будет. И тут у кумира может быть еще будет так, что лучше не думать, а то не будет. И там дома замечательная неясность, а не такая ясность, что ничего не будет. Молодой человек с кумиром в голове звонит неясному молодому человеку сказать чтобы дожидался, и через

гудки слышит с того конца простые слова любви. У него сердце подлетело. Он еще только думал о том молодом человеке как о неясном, как тот, не думая, сам. В этот момент в комнату возвращается кумир и говорит: это я тебе сказал слова любви. У молодого человека с кумиром в голове помутилось в уме. Не может быть. Но видит, что так и было: кумир говорил из другой комнаты со сдвоенного аппарата. Потому слова слышались на гудках. А там дома просто никто трубку не брал. То, на что нельзя было надеяться ни в глубине, никак. Кумир сам. Жизнь сделала не так, как не надеялся. Друг приехал к другу на машине и тот вывел собственную машину из гаража чтобы друг поставил туда свою, а сам вышел ночевать на улицу. А там, в квартире самого молодого человека с кумиром в уме неясный молодой человек ждал-ждал, пошел в ванную погреться и слышит звонят. Он побежал голый к телефону. В этот момент снизу из фотолаборатории опять вырвался слабосильный рабочий, уже совсем новый, а за ним как в те разы за теми сильный рабочий с клиентом. Совсем новый рабочий тоже как прежние кинулся в ванную прятаться, но домработницы уже не было, никто не подошел тереть спину, никто не запутался, сильный рабочий с клиентом схватили того, за кем гнались, то есть этого рабочего. А неясный молодой человек вернулся в ванную и так и не узнал, что в ванной только что побыл другой, а его могли ни за что словить. Он взял трубку, когда на том конце молодой человек с кумиром в уме уже ее повесил, услышав не от него слова любви. И вот молодой человек с кумиром в голове там, у кумира на квартире, дожид

до такого часа. Кумир просто так кинул счастливый фант. Только так он и понимал, что это так, игра, как человеку пойти за ягодами и ничего нет, и вдруг поляна, и вы берете берете берете, но если забыть что только что ничего не было и считать что так как стало это в порядке вещей, поляна возьмет и исчезнет. Не надо слишком горячиться ловить и срывать, а то кумир заскучает совсем. Неумолимая зависимость, чем вы с большим рвением, тем к вам слабее интерес. Одному то, что здесь происходит, сон, другому в порядке вещей. И чтобы как-нибудь себя развлечь, тот должен над этим потешаться, например, приказывает раздеться, осматривает, говорит годится и велит залезть к себе в постель, а сам нарочно звонит знакомым девушкам, как будто хочет ехать к ним. Если резко повести себя в ответ и не на шутку одеться, чтобы кумиру был интерес задерживать не пускать, мало ли, игра зайдет далеко и кумир спокойно даст уйти. Наконец кумиру самому надоело вести себя то так, то так. Он сам разделся и лег вместе, молодой человек выдернул свет над кроватью чтобы кумир не нашел в нем при свете изъянов. Кумир сам его обнял и прижал к себе. Молодой человек ему рубашечку расстегнул, все пуговицы донизу, а кумир помог расстегнуть себе рукава. Молодой человек прижался к нему как мог задрожал на груди, кумир сказал какой нервный, сердце у тебя бьется как воробей. Молодой человек сам снял с него шерстяные плавки и расцеловал его всего, кумир сказал ему ну ладно спать спать спать и отделил от себя рукой. А молодой человек так долго невозможно кумира любил, что у самого даже хуй на него не шевельнулся как на де-

вушку, и чем сильнее он на это обращал внимание, тем больше хуй был как мертвый. А это было бы в самую точку крепко и просто с кумиром, как солдат с девкой, в представительную железу, хотя и тот хорохорился при свете наоборот, и наоборот молодому человеку следовало вести себя, как тому хотелось. Под утро он как можно раньше оделся умылся просмотрел альбом с фотографиями и пожеланиями, спустился в магазин купил кумиру молока поцеловал на прощанье и пошел вон.

Виктор Ерофеев

Попугайчик

Н а запрос ваш, почтеннейший Спиридон Ермолаевич, какова, дескать, участь определена сыну вашему, Ермолаю Спиридоновичу Спиркину, принуждавшему мертвую птицу к противуестественному полету, ответу не сразу. А почему? А потому, милостивый вы мой государь, что признаюсь: смущен. Грудь разрывалась моя от волнения, читая ваш челобитный запрос, написанный кровью отцовского чувства. Растревожили вы меня, Спиридон Ермолаевич, разворошили! Такую тоску на меня напустили, что словами не передашь, только воем звериным. Однако претензий к вам не испытываю. Сердцем почуял я ваш отцовский позыв защитить сына вашего, Ермолая Спиридоновича, перед властью закона, намекая глухими словами на то, что имел, дескать, сын ваш, Ермолай Спиридонович, сызмальства сильную любовь к божьим тварям, способным к полету. Допускаю правоту вашего намека. Скажу даже больше. Всяк ребенок испытывает слабость к птахам, отлавливая их в рощах, лесах, а также в привольных полях и на огородах силками или покупая их на медные деньги на птичьем базаре, чтобы заключить птаху в клеть, особенно если певчая. В таких действиях закон не усматривает ничего предосудительного и потворствует оным в их невинных забавах. Оно, конечно, так, но забавы забавами, а мировая культура, почтеннейший Спиридон Ермолаевич, предпочтительно мыслит, по моему скромнейшему разумению, символами, толкование коих есть дело ученых мужей. С древних времен, например, идет мода гадать по внутренностям пролетающих мимо птиц. С другой стороны, если какая живая птица за-

летит к вам в комнату, будь то хотя бы щегол, будете ли вы, Спиридон Ермолаевич, рады такому обстоятельству? Нет, вы такому обстоятельству рады не будете! А почему? А потому, отвечаю я вам, что увидите в этом ужасный символ. Готов множить подобного рода картины человеческой темноты, но устремляюсь, однако, к выводу, имеющему некоторое отношение к сыну вашему, Ермолаю Спиридоновичу: птица есть существо, тревожащее душу, птица есть существо загадочное, неподвластное нашим прихотям, а, стало быть, шутки с ней плохи. А что между тем вытворяет сынок ваш? Он шутки шутит! Ермолай Спиридонович изволит шутки шутить с дохлым попугаем — птицей особенно подозрительной. Попугай уже сам по себе символ, и черт ногу сломит, разбираясь в его толковании, поскольку вся мировая культура от своего зачатия только и знает, что судачит о нем как об излюбленном кумире. К тому же заморская птица. Вы же, Спиридон Ермолаевич, с этакой легкомысленностью, достойной лучшего применения, строчите в своем запросе, что, дескать, забава сынка носила характер невиннейший. Подумаешь, куча делов! Взял, мол, сын мой, Ермолай Спиридонович, усопшего вечным сном попугайчика по кличке Семен, проворно залез на крышу собственного вашего дома, что на Лебяжей улице, и стал подкидывать ее кверху, как Иванушка-дурачок, в расчете, что дохлая тварь в родном ей воздушном пространстве обрящет второе дыхание, вспорхнет и чирикнет, то есть в некотором роде даже воскресится. По вашим поспешным словам судя, был в таком поступке Ермолая Спиридоновича скорее недостаток соображения, нежели подлый

замысел, скорее избыток болезненной фантазии, слабость нервов и дрожь в целом теле, нежели стройный план и интрига. При этом вы, разумеется, возмущены его действиями и вызываетесь сына вашего, Ермолая Спиридоновича, выпороть плетью безо всякого снисходительства. Ясное дело: отцовские чувства! Повторю вдругорядь: претензий по ним к вам, Спиридон Ермолаевич, не имеем. Вы человек почтенный и остаетесь им пока пребывать. Но соблаговолите понять и нас, таких же самых многолетних слуг отечества, водрузите себя на мое, например, место. Ведь если подобные опыты участвуют, что тогда? А кабы заморская дрянь взлетела? По уверению вашего безумного сына, Ермолая Спиридоновича, она и так пару раз взмахнула своими погаными крыльями, то есть проявила некоторую попытку к воскрешению! Ну а вдруг, паче нашего с вами чаяния, взяла бы и вовсе воскресла? В каких бы терминах мы объяснили сие нарочитое обстоятельство нашим доверчивым в своих лучших побуждениях соотечественникам? — Теряюсь в роковых догадках...

ХОРОШИ БЫ МЫ БЫЛИ!

Эх! Да что говорить! Сложения сынок ваш, Ермолай Спиридонович, оказался деликатного, можно даже заметить, субличного. Дивились мы. В кого он такой выродился? Ну-с, молодой человек, вопрошал я Ермолая Спиридоновича, разглядев его хорошенько, отвечай на вопрос: зачем выкопал птицу из места ее захоронения или, иначе сказать, из выгребной ямы? Какого, спрашивается, черта ее эксгумировал? Отвечал уклончиво, но поспешно и с учтивостью несомненною, помогая ручкой белой себе при ответе, руч-

кой, значит, себе помогает, чтобы доступнее выходило. Насторожился я, созерцая такие манеры. Вижу: не только сложение, но и манеры диких, обходительность дальше некуда. Уж не с прожидью ли он у тебя, Спиридон Ермолаевич? Все пытался на понимание взять, ручкой, видите ли, себе помогал — одно, можно сказать, загляденье. Но не прошел номер — не в цирке! А про себя я сижу, отмечаю: не нашего засола огурец! Из его слов что складывалось? Какая намечалась картина? Расскажи, говорю, с самого начала да ручкой своей белой не махай у меня перед носом, не выношу! Рассыпался в извинениях, будто мне от него извинения надобны, будто он меня этими своими извинениями облагодетельствовал! Но молчу. Однако, между тем, спрашиваю: вот вы, Ермолай Спиридонович, желали птицу воскресить, а птицу эту, по компетентному освидетельствованию, уже черви земляные поедом ели, не заметили? Белые такие черви, как ваши пальчики? Всю ее облепили, равно как и муравьи участвовали на этом пиру... И как такая птица воскреснуть имеет быть? И как в руки холные не брезговали ее взять? Отвечает, понуря голову: а птица Феникс? Вижу, милостивый вы мой государь, Спиридон Ермолаевич, умен ваш сынок, Ермолай Спиридонович, не по годам. Ишь ведь, птица Феникс! Откуда, спрашиваем, имеешь сведения о такой птице Феникс, кто, дескать, такая? А это, говорит, был один такой красноперый орел, что летал из Аравии в Древний Египет; там сжигал сам себя живьем, как случилось ему дожить до преклонного возраста в пятьсот лет, а потом возрождался из праха молодым и здоровым, так что черви и тут не помеха... Ловко,

смотрю, у него получается. В чем же ты, спрашиваю, видишь соль сей байки о краснопером орле? Как, продолжаю вопрос, дошел ты до жизни такой, что в бурсманские байки веришь? Отвечает опять же уклончиво: байке, дескать, положено быть удивительной. Ты, говорю, не крути, не запирайся, а то выйдет, говорю, самому тебе байка! Излагай, хулиган, подноготную! Да я, вскричал он в сердцах, вам чистую правду говорю! и опять всплеснул своей ручкой. Ну, Бог с тобой: говори, а мы посидим, послушаем. Да только не горячись, не вскрикивай. Ты, говорю, на кого кричишь? На кого, так сказать, голос поднимаешь?! Я тебе, Ермолай, в отцы гожусь, а ты на меня кричать вздумал! Молчит. Зарделся. Гожусь, спрашиваю, я тебе в отцы или не гожусь? Отчего, отвечает, не годитесь? Я к вам как к отцу родному и обращаюсь... Ишь ведь, соображаю про себя, уже и отцом родным нарекает, как бойкая баба, подмахивает... Неспроста. Интересуюсь: а этот твой попугайчик бирюзового колера по прозвищу Семен — он, должно быть, тоже какой символ или как? Все в мировой культуре, Спиридон Ермолаевич, символы, одни символы, куда ни кинь взгляд, особенно попугайчики. Он же, сын ваш, Ермолай Спиридонович, при ответе ссылается на детский плач, повествует известную нам историю, как подох попугай по прозванию Семен в семье боярского лекаря Агафона Елистратовича, соседа вашего по Лебяжей улице, что закупил заморскую птицу в утешение двум младенцам своим: пятилетней Татьяне Агафоновне и трехлетнему сопляку Ездре Агафоновичу, закупил, как положено, на птичьем базаре, у голландского купца Ван Заама, а по-нашему

Тимофея Игнатьевича. Купец тот, Тимофей Игнатьевич, ничем не знаменит, нрава кроткого, кроме шрама на своем голландском носу, полученного им уже в наших краях по случаю мелкой драки с женой. Посвящаю вас в сии подробности, дабы вы, Спиридон Ермолаевич, знали, что я свой хлеб зря не кушаю: без подробностей не создашь картины, тем более когда с подвохом. Стало быть, закупил сосед ваш, Агафон Елистратович, попугая заморского небольшого росточка, небось из жадности, окрестили Семеном. Заключение птицу, как положено, в клеть. Кормили, со слов Татьяны Агафоновны, пшеном. Но попугайчик тот, печально известный своим несостоявшимся, слава Богу, воскрешением, есть пшено и другой прочий корм наотрез отказался, выказал заморский норов и, невзирая на хлопоты детей, стал подыхать по причине добровольной голодухи. На третьи сутки Семен издох под общий плач Татьяны Агафоновны и Ездры Агафоновича, трехлетнего сопляка, который, подлец, еще не говорит или делает вид. Агония длилась три с половиной часа, время послеобеденное, и закончилась натуральною смертью птицы.

В таких терминах повествует сию историю сын ваш, Ермолай Спиридонович, после чего превращается в ее главное действующее лицо. Но не вдруг. Как положено, после смерти птицы состоялся обряд ее погребения в выгребной яме, чтобы заразы не разносить. При погребении собралась небольшая толпа в двадцать шесть рыл, привлеченная воплями лекарственных малолетних отродий. Как сказывал сам Ермолай Спиридонович, участвовавший в похоронной процессии в качестве созерцателя, ночь накануне пе-

ред процессией провел он в слуховых галлюцинациях, несмотря на то что боярский лекарь Агафон Елистратович посулил своим детям купить им взамен околевшего попугайчика что-нибудь еще более забавное, типа козы. Наутро Ермолай Спиридонович вышел из дома с твердо сложившимся намерением вызволить птицу из ее прохладной могилы в то время, как моросил дождь, размножая на улицах грязь, и мамзель Шелгунова из окна родительского ей дома, в перерыве между уроками игры на арфе, отчетливо видела, как сын ваш, Ермолай Спиридонович, ногтями выцарапывал попугайчика из выгребной ямы, видом своим напоминая облезлую кошку, которую, дескать, потянуло полакомиться стервятинкой. Последующий срам вам, любезный Спиридон Ермолаевич, несколько знаком, судя по вашему необдуманному запросу, удивительному для служивого человека. Как же вас, однако, сподобило воспитать сумасброда, ставшего впоследствии истинным смутьяном?! Как? Про это вы отмалчиваетесь, моля за сынка, а хотелось бы знать, чтобы другим неповадно было. Только я-то сразу смекнул, как предстал он предо мной, что ненашенский, несмотря что прикидывается, и говорю ему, как он кончил: а теперь, сынок, изложи подноготную. Так, перечит он мне, это и есть, дескать, вся подноготная! Побьемся, говорю, об заклад, что не вся? Молодцы мои стоят в дверях, в красных шапках, усмеваются. Эй, говорю, погодите, весельчаки, зубы скалить, может, молодой человек одумается да и выиграет у меня сто рублей и почетное выдворение на волю впридачу. Не-е, качают головами мои молодцы, не выиграет, больно он завиральный,

где только выискался. Цыц! — говорю, — раньше срока вы мне не рядите! — и к сынку вашему, милому отроку, обращаюсь, придвинувшись близко: Слабо, Ермолаюшка? Говорит мне Ермолай, отшатнувшись: нечего мне вам больше поведать. Все сказал. Но худого, поверьте, не делал... Выходит, стало быть, ради детских капризов порешил выкопать птицу, так, Ермолаюшка? Выкопал птицу — и проворно на крышу скок. Шепчет нежно: ну, лети, мой Семен! Лети, голубок! И взмахнул тут изъеденный червем бирюзовый Семен-попугай бирюзовыми своими крылышками, взмахнул пару раз в слепой надежде вернуться к прежней жизни... Во-во, — сказал я тут, осерчав, — во-во, в этом, Ермолаюшка, и есть СИМВОЛ! — Нету тут никакого символа! — возопил сын ваш, гусь лапчатый, Ермолай Спиридонович, — нету! — Ну, это ты кому другому поди рассказывай... — Что это вам, — мне в ответ Ермолай Спиридонович, — всюду как-бы символы мерещатся? Помолчал я, взгляделся попристальней в вашего, Спиридон Ермолаевич, юношу и отвечаю, протерев салфеткой плешь: а потому, славный ты мой Ермолай Спиридонович, мерещатся, что культура мировая, прости, Господи, с самого ее зарождения, по заверению ученейших мужей, символами начинена, и никуда нам из сей клетки, как ни тужься, не выскочить! — И ударил я его, сынка твоего кареглазого, прямо в зубы от всей души, оттого, что тоскливо стало, применил профилактику, а кулак у меня... ну, да вы, Ермолаич, знаете. Так и брызнули зубки его в различные стороны, словно жемчуг с порвавшейся нити — так и брызнули, покатились. Помол-

чали... Как вернулся к мысли Ермолай свет Спиридонович, посмотрел на меня щербатым ртом с удивлением. Отчего, дескать, такая немилость? Ничего, заверяю, не плачь, новые отрастут! Стоят в дверях мои молодцы, в красных шапках, животики надрывают. Но невесел сам Ермолай Спиридонович, потери считает, даже шутке не улыбнется. Улыбаться, наставляю, полагается, когда старшие с тобой шутят и в отцы годятся. Сам, восклицаю, учил нас шуткам смеяться, с попугайчиком фокус показывал!

Пытали и мучили мы вашего сына, Ермолая Спиридоновича, с пристрастием, иначе не можем, не обучены. Дивились subtilности его строения. Галантная штучка! Пытали его большей частью способами, веселящими душу. Погружали, для примеру, в навозную жижу с головкой: предлагали барахтаться; сажали на кол, завязав глаза, понарошке, понятное дело, вместо кола применив мужской струмент нашего дюжего Федьки по кличке Заслуженный. Помните ли вы его, Спиридон Ермолаевич? Он вас очень помнит, говорит, что мальцами с вами разом в лапту лупились, вместе с Сашкою Щербаковым, что еще утоп прошлой зимой в проруби. Запускали ему также в кляп муравьев; надували через сраку, как лягушку, при помощи аглицкого насоса; рвали ноздри и ногти щипчиками; звали девок срамных и просили его, Ермолая Спиридоновича, полизать их срамные язвы, авось заживут. Лизал. Ну, что еще вам поведать? Оторвали мы в конце концов погремушки — за ненадобностью. Бросили псам. Хоть им сгодились. А зачем они ему? Нужны ли нам с вами, любезный Спиридон Ермолаевич, от него наследники? Я так думаю: не нуж-

ны. И сию потерю переживал опять не в меру болезненно, огорчался, браниться стал, как вернулось сознание. Дескать, нелюди мы и нехристи, что даже обидно. Кричать, конечно, на дыбе не возбраняется, на ней всякий крикнет, но зачем оскорблять? Мы люди зависимые, по долгу службы исполняем серьезные поручения, а он нам на это, что, дескать, нехристи. Нет, милый друг, это ты нехристью во всем объеме и выходишь, это ты супротив пошел порядка вещей, не мы, а на дыбе что у человека на уме — то и на языке, как у пьяных людей наблюдается, стало быть, предположение мое относительно того, что не наш он, сударь вы мой, человек, сбывалось с каждым часом. Я, слава Богу, службу знаю, даром хлеб свой не кушаю, оттого понятие имею, как наши люди кричат на дыбе и как *не* наши. Наш человек никогда не назовет меня нехристью, потому что он так не думает, а ваш подлец сознался. Вел же он себя, доложу вам с печалью, трусовато. Уже после навозной жижи, отблевавшись, просил пощады и, как дитя малое, обещал, что больше не будет, а намерен, дескать, в будущем не заноситься, вести себя тихо, с охотой служить государству. Все это так — да только кому нужно его покаяние? Но просили, однако: рассей, мол, наши сомнения насчет воскрешения попугая по кличке Семен. Может быть, с соседом у вас, с Агафоном Елистратовичем, нелады были? Доносил про Агафона Елистратовича, что неладов вроде не было, но что лекарь, дескать, запойный пьяница, отчего людей врачует дрожащей рукой. Мы же Агафона Елистратовича с отличной стороны знаем и на донос относительно запойного пьянства отвечали полным

негодованием. Однако чем объяснить, что не прошло и трех суток с момента закупки попугайчика, как попугайчик околеваает в страшных конвульсиях, будто кто его отравил, да еще раньше был словно хворый, не чирикал и от еды отказывался? Постой-постой, думаю, дай сообразить. Утер я свою малиновую плешь салфеткой и, следовательно, спрашиваю Ермолая Спиридоновича, сына вашего, предварительно защемив ему мошонку (которая о ту пору пребывала еще при нем висеть), в превентивном порядке: на случай обмана. Постой-постой, не ты ли, спрашиваю, падла, сам и отравил заморскую птицу в желании досадить своему соседу, боярскому лекарю Агафону Елистратовичу, а также удрученным детям его, Татьяне Агафоновне и Ездre Агафоновичу? Нет, отвечал, тараща глазищи от боли, сын ваш, Ермолай Спиридонович, нет! не-е-ет!!! — а глазенки-то побелели, губку, значит, мы закусываем, больно нам, значит, — не-е-ет!.. то есть да-ааа!!! Защемили покрепче да стремимся понять: дескать, да *или* нет? Да! да! Это я! — кричит мне Ермолай Спиридонович, будто за глухого человека меня принял. — Я! Я, дескать, чтобы досадить!!! — Ну, славно. Досадить — а зачем? Ой, кричит, больно! отпустите! весь дергается, несчастный. Отпустите! я думать так не могу! А ты не думай, говорим, ты отвечай... — но немножко отпустили, а то боимся, язык прикусит, чем разговаривать будет? — Потому хотел досадить, объясняет, что не нравился он мне... — Почему? — мы опять защемили немножко... — Да потому, закричал, что честно служил отечеству! — Вот это дело! — говорю я. — Вот так бы сразу! Ну, отдохни, любез-

ный... А как отдохнул, говорю: а не хотел ли ты вместе с птицей и Агафона Елистратовича отравить? Молчит, думает. Я только было защемить собрался, а он уже и отвечает: да! Ну, вот, сами видите, какая история налицо, уважаемый вы мой Спиридон Ермолаевич, но решили, однакось, не торопиться: мы — люди недоверчивые, простите за выражение. На следующий денек повели его поразвлечься на дыбе, это ему полезно, а то он как будто сутулый у вас, Спиридон Ермолаевич, не мешало бы заодно и выпрямить. Занятие уморительное, доложу я вам, особенно если баба, но замечу, что сын ваш, subtilный фрукт, он — та же баба, если не лучше... Но не смею более утомлять вас подробностями, позвольте сделать одно отступление сугубо философического порядка. Мы с тобой, Спиридон, были бы никудышными философами и обманщиками, если бы не отметили великую страсть человека к мучительству. Отчего государство законом ограждает своих верноподданных от произвола и самодурства? А оттого ограждает, что иначе перевелись бы люди в государстве, предварительно друг друга истребив, перемучив... У меня, к примеру, и на баб уж кляп так себе, недвижим, не чует разницы между их минимальными различиями, отведав немало, но как примусь за человека покруче, обеспеченный государственным полномочием, ничего поделать не могу, смотрит в небо, да так порою меня заберет, что портки все заляпаю, моя баба думает, на сторону ходил, ан ошибается: с работы возвращаюсь... Страсть сия — глубокая тайна, и молчат в основном философы, спрятав головы в плечи, на подобие страуса; эта тайна посерьезнее, чем пальцем

во мшистой дыре крутить, тут нутро, Спиридон, наизнанку выворачивается, а понять ничего не понятно. Но люблю, вместе с тем, смиренных страдальцев, что на дыбе только пердят да побрякивают, уважаю, и такого страдальца я за сто англичан ни в жизнь не променяю, ибо мучительство и страдание — богоугодное дело, а англичанин что? — говно, да и только! Или взять, допустим, Елисея-пророка, коего дети дразнили однажды плешивым. Гряди, плешивый!.. Обида невелика; каждому достойному мужу плешь иметь полагается. И не сказал Елисей детям худого слова, напустил на них двух медведиц, и растерзали они сорок два ребенка... То-то, брат Спиридон, вот нам с тобою и пища для размышлений: поучительная картина! — а ты все запросы пишешь, бумагу мараешь попусту. А что человек все и всех продаст — не сомневаюсь, только к нему подступись не спеша, не спугни, дай только время! Не дают времени, подгоняют, наседают, торопят. Оттого в нашем деле и накладки случаются, а от них, Спиридон, непорядок множится...

А теперь, посудите сами, Спиридон Ермолаевич, что бы вышло, коли тот попугайчик, разъеденный червем, воспарил? **ХОРОШИ БЫ МЫ БЫЛИ!** И так, по словам смутьяна, махнул он пару раз крылышками, хотя позже на дыбе от своих слов неосторожных отказывался. Но ведь он, паразит, заврался вконец! То, видите ли, он сам отравил птицу, то, дескать, вместе с Агафоном Елистратовичем, чтобы яд испытать, то — было и такое, скажу по секрету — доносил, будто вы его, отец то есть родной, Спиридон Ермолаевич, подговаривали эксгумировать дохлую тварь.

Тут-то мы (или, может быть, раньше?) ему и оторвали его причиндалы, дабы отца своего все не хулил почем зря, оторвали и — псам: пусть полакомятся... И на все-то он согнашается, все готов подписать, подтвердить, что ни скажи, на всякий вопрос рапортует положительно. Куда это, посудите сами, годится? Видим, хочет сбить с толку следствие, направить по ложному следу, утаить позорную правду. Но дошли, поплутав, до истины, сошлись, на худой конец, в общем мнении, что хотел ваш сынок, Ермолай Спиридонович, для того воскресить попугайчика, чтобы доказать преимущество заморской птицы перед нашими воробьями и тем самым умалить нашу гордость, выставить нас перед миром в глупом, неправильном свете. Как пришли мы с Ермолаем Спиридоновичем к общему мнению, так и обнялись на радостях: конец, говорю, делу венец, несите, молодцы, нам вина и яств, мы отпразднуем! И несут нам молодцы белорыбицу, поросят и барашков несут, суфле разные и вино, что зовется игриво молоком Богородицы. Закусили и точим балясы...

Однако смутно подозреваю, что ты, Спиридон, воспаленный отцовским чувством, по которому не имеем к тебе претензий, интересуешься далее на предмет того, что случилось с твоим сыном, незабвенным и хорошо мне памятным Ермолаюшкой. А что с ним могло стать? Ничего не случилось. Все, слава Богу, обошлось по-хорошему. Утречком рано, часу этак в пятом, когда ясно солнышко позолотило маковки наших святых церквей, поднялись мы с ним потихоньку, рука об руку, на колокольню. Полюбовались. Окрест лежал наш престольный город в слад-

ком утреннем сне и тумане, петухи кричали, шумели сады. Амбары, стогны, гудки паровозов, университет — все пребывало на своих местах. Через город серебристым змием протекала река, а на том берегу, на высоком, бор стоял — загляденье, и только! А какой, Спиридон, поднимался дух от трав. Пахло клевером, Спиридон, то густой запах! Лепота! — молвил я, оглядевшись. Лепота! — молвил Ермолай Спиридонович. Посмотрел я на него сбоку. Одно слово скажу: красавец! Даже бледность похмельная и та, переливаясь в нежную голубизну, шла на пользу его обличию. Ненароком попутанный блудливыми бесами, дождался он часа своего избавления и, предвкушая новую жизнь, был заранее благообразен. Ну, с Богом! — сказал я и подвел его за руку к уступу звонницы. Лети, Ермолаюшка! Лети, голубок! — Он шагнул в пустоту, распластав крестом руки. На одну минутку взяла меня было мука сомнения: уж не воспарит ли он, как бирюзовый попугайчик, на радость бесам? С некоторой тревогой глянул я вниз, перегнувшись через поручни. Слава Богу! Разбился! Славно, вижу, шлепнулся, аж мозги раскрошились спелой дыней по мостовой. Молодцы мои в красных шапках бежали укрыть Ермолая Спиридоновича казенным сукном. Я перекрестился.

Не тужи, Спиридон Ермолаевич! Брось, не тужи! Было бы о ком! Не тоскуй о мерзавце! Он и тебя заложил, да я ту бумагу припрятал, ходу не дал. Как остынут твои отцовские чувства — наведайся: сходим в баньку, попаримся, выпьем пивка. У меня хозяйка крепкое пиво варит, славно шибает! Заходи по-свойски, без церемоний. А детишек ты еще наро-

дишь, мужик ты небось исправный пока, хоть и в возрасте. А не родишь — тоже не беда, перебьешься. Не оскудеем! А сынок твой, Ермолай Спиридонович, он, конечно, прямиком в рай проследовал: мученик, он всегда в раю, даже если за неправое дело. И взирает он на нас оттуда ласково, забавляется своим бирюзовым попугайчиком, гладит перышки и — благодарствует. Как подумаешь, как представишь себе такую картину, даже зависть берет, Спиридон, ей-Богу... ну, да ладно, хрен с ним, пусть радуется!

Татьяна Толстая

Соня

Жил человек — и нет его. Только имя осталось — Соня. “Помните, Соня говорила...” “Платье, похожее как у Сони...” “Сморкаешься, сморкаешься без конца, как Соня...” Потом умерли и те, кто так говорил, в голове остался только след голоса, бестелесного, как бы исходящего из черной пасти телефонной трубки. Или вдруг раскроется, словно в воздухе, светлой живой фотографией солнечная комната — смех вокруг накрытого стола, и будто гиацинты в стеклянной вазочке на скатерти, тоже изогнувшиеся в кудрявых розовых улыбках. Смотри скорей, пока не погасло! Кто это тут? Есть ли среди них тот, кто тебе нужен? Но светлая комната дрожит и меркнет, и уже просвечивают марлей спины сидящих, и со страшной скоростью, распадаясь, уносится вдаль их смех — догони-ка. Нет, постойте, дайте вас рассмотреть! Сидите, как сидели, и назовитесь по порядку! Но напрасны попытки ухватить воспоминания грубыми телесными руками. Веселая смеющаяся фигура оборачивается большой, грубо раскрашенной тряпичной куклой, валится со стула, если не подоткнешь ее сбоку; на бессмысленном лбу — потеки клея от мочального парика, а голубые стеклянистые глазки соединены внутри пустого черепа железной дужкой со свинцовым шариком противовеса. Вот чертова перечница! А ведь притворялась живой и любимой! А смеющаяся компания порхнула прочь и, поправ тугие законы пространства и времени, щебечет себе вновь в каком-то недоступном закоулке мира, вовеки нетленная, нарядно бессмертная, и, может быть, покажется вновь на одном из поворотов пути — в са-

мый неподходящий момент, и, конечно, без предупреждения.

Ну раз вы такие — живите как хотите. Гоняться за вами — все равно что ловить бабочек, размахивая лопатой. Но хотелось бы поподробнее узнать про Соню.

Ясно одно — Соня была дура. Это ее качество никто никогда не оспаривал, да теперь уж и некому. Приглашенная в первый раз на обед, — в далеком, желтоватой дымкой подернутом тридцатом году, — истуканом сидела в торце длинного накрахмаленного стола, перед конусом салфетки, свернутой как было принято — домиком. Стыло бульонное озерцо. Лежала праздная ложка. Достоинство всех английских королей, вместе взятых, заморозило Сонины лошадиные черты.

— А вы, Соня, — сказали ей (должно быть, добавили и отчество, но теперь оно уже безнадежно утрачено), — а вы, Соня, что же не кушаете?

— Перцу дожидаюсь, — строго отвечала она ледяной верхней губой.

Впрочем, по прошествии некоторого времени, когда уже выяснились и Сонины незаменимость на кухне в предпраздничной суете, и швейные достоинства, и ее готовность погулять с чужими детьми и даже посторожить их сон, если все шумной компанией отправляются на какое-нибудь неотложное увеселение, — по прошествии некоторого времени кристалл Сониной глупости засверкал иными гранями, восхитительными в своей непредсказуемости. Чуткий инструмент, Сониная душа улавливала, очевидно, тональность настроения общества, пригревшего ее вчера, но, зазевавшись, не успевала перестроиться на сегодня. Так, если на поминках Соня бодро вскрикива-

ла: “Пей до дна!” — то ясно было, что в ней еще живы недавние именины, а на свадьбе от Сониных тостов веяло вчерашней кутьей с гробовыми мармеладками.

“Я вас видела в филармонии с какой-то красивой дамой: интересно, кто это?” — спрашивала Соня у растерянного мужа, перегнувшись через его помертвевшую жену. В такие моменты насмешник Лев Адольфович, вытянув губы трубочкой, высоко подняв лохматые брови, мотал головой, блеснул мелкими очками: “Если человек мертв, то это надолго, если он глуп, то это навсегда!” Что же, так оно и есть, время только подтвердило его слова.

Сестра Льва Адольфовича, Ада, женщина острая, худая, по-змеиному элегантная, тоже попавшая однажды в неловкое положение из-за Сониного идиотизма, мечтала ее наказать. Ну, конечно, слегка — так, чтобы и самим посмеяться, и дурочке доставить небольшое развлечение. И они шептались в углу — Лев и Ада, — выдумывая что поостроумнее.

Стало быть, Соня шила... А как она сама одевалась? Безобразно, друзья мои, безобразно! Что-то сильнее, полосатое, до такой степени к ней не идущее! Ну вообразите себе: голова как у лошади Пржевальского (подметил Лев Адольфович), под челюстью огромный висячий бант блузки торчит из твердых створок костюма, и рукава всегда слишком длинные. Грудь впалая, ноги такие толстые — будто от другого человеческого комплекта, и косолапые ступни. Обувь набок снашивала. Ну, грудь, ноги — это не одежда... Тоже одежда, милая моя, это тоже считается как одежда! При таких данных надо особенно соображать, что можно носить, чего нельзя!.. Брошка у нее была —

эмалевый голубок. Носила его на лацкане жакета, не расставалась. И когда переодевалась в другое платье — тоже обязательно прицепляла этого голубка.

Соня хорошо готовила. Торты накручивала великолепные. Потом вот эту, знаете, требуху, почки, вымя, мозги — их так легко испортить, а у нее выходило — пальчики оближешь. Так что это всегда поручалось ей. Вкусно, и давало повод для шуток. Лев Адольфович, вытягивая губы, кричал через стол: “Сонечка, ваше вымя меня сегодня просто потрясает!” — и она радостно кивала в ответ. А Ада сладким голоском говорила: “А я вот в восторге от ваших бараньих мозгов!” — “Это телячьи”, — не понимала Соня, улыбаясь. И все радовались: ну не прелесть ли?!

Она любила детей, это ясно, и можно было поехать в отпуск, хоть в Кисловодск, и оставить на нее детей и квартиру — поживите пока у нас, Соня, ладно? — и, вернувшись, найти все в отменном порядке: и пыль вытерта, и дети румяные, сытые, гуляли каждый день и даже ходили на экскурсию в музей, где Соня служила каким-то там научным хранителем, что ли; скучная жизнь у этих музейных хранителей, все они старые девы. Дети успевали привязаться к ней и огорчались, когда ее приходилось перебрасывать в другую семью. Но ведь нельзя же быть эгоистами и пользоваться Соней в одиночку: другим она тоже могла быть нужна. В общем, управлялись, устанавливали какую-то разумную очередь.

Ну что о ней еще можно сказать? Да это, пожалуй, и все! Кто сейчас помнит какие-то детали? Да за пятьдесят лет никого почти в живых не осталось, что вы! И столько было действительно интерес-

ных, по-настоящему содержательных людей, оставивших концертные записи, книги, монографии по искусству. Какие судьбы! О каждом можно говорить без конца. Тот же Лев Адольфович, негодяй в сущности, но умнейший человек и в чем-то миляга. Можно было бы порасспрашивать Аду Адольфовну, но ведь ей, кажется, под девяносто, и — сами понимаете... Какой-то там случай был с ней во время блокады. Кстати, связанный с Соней. Нет, я плохо помню. Какой-то стакан, какие-то письма, какая-то шутка.

Сколько было Соне лет? В сорок первом году — там ее следы обрываются — ей должно было исполниться сорок. Да, кажется, так. Дальше уже просто подсчитать, когда она родилась и все такое, но какое это может иметь значение, если неизвестно, кто были ее родители, какой она была в детстве, где жила, что делала и с кем дружила до того дня, когда вышла на свет из неопределенности и села дожидаться перцу в солнечной, нарядной столовой.

Впрочем, надо думать, что она была романтична и по-своему возвышенна. В конце концов, эти ее банты, и эмалевый голубок, и чужие, всегда сентиментальные стихи, не вовремя срывающиеся с губ, как бы выплюнутые длинной верхней губой, приоткрывавшей длинные, костяного цвета зубы, и любовь к детям, — причем к любым, — все это характеризует ее вполне однозначно. Романтическое существо. Было ли у нее счастье? О да! Это — да! Уж что-что, а счастье у нее было.

И вот надо же — жизнь устраивает такие штуки! — счастьем этим она была обязана всецело этой змее Аде Адольфовне. (Жаль, что вы ее не знали в молодости. Интересная женщина.)

Они собрались большой компанией — Ада, Лев, еще Валериан, Сережа, кажется, и Котик, и кто-то еще, — и разработали уморительный план (поскольку идея была Адина, Лев называл его “адским планчиком”), отлѣчно им удавшийся. Год шел что-нибудь такое тридцать третий. Ада была в своей лучшей форме, хотя уже и не девочка, — фигурка прелестная, лицо смуглое с темно-розовым румянцем, в теннис она первая, на байдарке первая, все ей смотрели в рот. Аде было даже неудобно, что у нее столько поклонников, а у Сони — ни одного. (Ой, умора! У Сони — поклонники?!) И она предложила придумать для бедняжки загадочного воздыхателя, безумно влюбленного, но по каким-то причинам никак не могущего с ней встретиться лично. Отличная идея! Фантом был немедленно создан, наречен Николаем, обременен женой и тремя детьми, поселен для переписки в квартире Адиного отца — тут раздались было голоса протеста: а если Соня узнает, если сунется по этому адресу? — но аргумент был отвергнут как несостоятельный: во-первых, Соня дура, в том-то вся и штука; ну а во-вторых, должна же у нее быть совесть — у Николая семья, неужели она ее возьмется разрушить? Вот, он же ей ясно пишет, — Николай то есть, — дорогая, ваш незабываемый облик навеки отпечатался в моем израненном сердце (не надо “израненном”, а то она поймет буквально, что инвалид), но никогда, никогда нам не суждено быть рядом, так как долг перед детьми... ну и так далее, но чувство, — пишет далее Николай, — нет, лучше: истинное чувство — оно согреет его холодные члены (“То есть как это, Адочка?” — “Не мешайте, дураки!”) путеводной звездой и всякой

там пышной розой. Такое вот письмо. Пусть он видел ее, допустим, в филармонии, любовался ее тонким профилем (тут Валериан просто свалился с дивана от хохота) и вот хочет, чтобы возникла такая возвышенная переписка. Он с трудом узнал ее адрес. Умоляет прислать фотографию. А почему он не может явиться на свидание, тут-то дети не помешают? А у него чувство долга. Но оно ему почему-то ничуть не мешает переписываться? Ну тогда пусть он парализован. До пояса. Отсюда и хладные члены. Слушайте, не дурите! Надо будет — парализуем его попозже. Ада брызгала на почтовую бумагу “Шипром”, Котик извлек из детского гербария засушенную незабудку, розовую от старости, совал в конверт. Жить было весело!

Переписка была бурной с обеих сторон. Соня, дура, клюнула сразу. Влюбилась так, что только оттаскивай. Пришлось слегка сдержать ее пыл: Николай писал примерно одно письмо в месяц, притормаживая Соню с ее разбушевавшимся купидоном. Николай изоощрялся в стихах: Валериану пришлось попотеть. Там были просто перлы, кто понимает, — Николай сравнивал Соню с лилеей, лианой и газелью, себя — с соловьем и джейраном, причем одновременно. Ада писала прозаический текст и осуществляла общее руководство, останавливая своих резвившихся приятелей, дававших советы Валериану: “Ты напиши ей, что она — гну. В смысле антилопа. Моя божественная гну, я без тебя иду ко дну!” Нет, Ада была на высоте: трепетала Николаевой нежностью и разверзала глубины его одинокого мятущегося духа, настаивала на необходимости сохранять платоническую чистоту отношений и в то же время подпускала намеки на раз-

рушительную страсть, время для проявления коей еще почему-то не пришло. Конечно, по вечерам Николай и Соня должны были в назначенный час поднять взоры к одной и той же звезде. Без этого уж никак. Если участники эпистолярного романа в эту минуту находились поблизости, они старались помешать Соне раздвинуть занавески и украдкой бросить взгляд в звездную высь, звали ее в коридор: “Соня, подите сюда на минутку... Соня, вот какое дело...”, наслаждаясь ее смятением: заветный миг надвигался, а Николаев взор рисковал проболтаться попусту в окрестностях какого-нибудь там Сириуса или как его — в общем, смотреть надо было в сторону Пулкова.

Потом затея стала надоедать: сколько же можно, тем более что из томной Сони ровным счетом ничего нельзя было вытянуть, никаких секретов; в наперсницы к себе она никого не допускала и вообще делала вид, что ничего не происходит, — надо же, какая скрытная оказалась, а в письмах горела неугасимым пламенем высокого чувства, обещала Николаю вечную верность и сообщала о себе все-превсе: и что ей снится и какая пичужка где-то там прощепетала. Высылала в конвертах вагоны сухих цветов, и на один из Николаевых дней рождения послала ему, отцепив от своего ужасного жакета, свое единственное украшение: белого эмалевого голубка. “Соня, а где же ваш голубок?” — “Улетел”, — говорила она, обнажая косяные лошадиные зубы, и по глазам ее ничего нельзя было прочесть. Ада все собиралась умертвить, наконец, обременявшего ее Николая, но, получив голубка, слегка содрогнулась и отложила убийство до лучших времен. В письме, приложенном к голубку, Соня кля-

лась непременно отдать за Николая свою жизнь или пойти за ним, если надо, на край света.

Весь мыслимый урожай смеха был уже собран, проклятый Николай каторжным ядром путался под ногами, но бросить Соню одну, на дороге, без голубка, без возлюбленного, было бы бесчеловечно. А годы шли; Валериан, Котик и, кажется, Сережа по разным причинам отпали от участия в игре, и Ада мужественно, угрюмо, одна несла свое эпистолярное бремя, с ненавистью выпекая, как автомат, ежемесячные горячие почтовые поцелуи. Она уже сама стала немного Николаем, и порой в зеркале при вечернем освещении ей мерещились усы на ее смугло-розовом личике. И две женщины на двух концах Ленинграда, одна со злобой, другая с любовью, строчили друг другу письма о том, кого никогда не существовало.

Когда началась война, ни та ни другая не успели эвакуироваться. Ада копала рвы, думая о сыне, увезенном с детским садом. Было не до любви. Она съела все, что было можно, сварила кожаные туфли, пила горячий бульон из обоев — там все-таки было немного клейстера. Настал декабрь, кончилось все. Ада отвезла на саночках в братскую могилу своего папу, потом Льва Адольфовича, затопила печурку Диккенсом и негнушимися пальцами написала Соне прощальное Николаево письмо. Она писала, что все ложь, что она всех ненавидит, что Соня — старая дура и лошадь, что ничего не было и что будьте вы все прокляты. Ни Аде, ни Николаю дальше жить не хотелось. Она отперла двери большой отцовской квартиры, чтобы похоронной команде легче было войти, и легла на диван, навалив на себя пальто папы и брата.

Неясно, что там было дальше. Во-первых, это мало кого интересовало, во-вторых, Ада Адольфовна не очень-то разговорчива, ну и, кроме того, как уже говорилось, время! Вре́мя все съело. Добавим к этому, что читать в чужой душе трудно: темно, и дано не всякому. Смутные домыслы, попытки догадок — не больше.

Вряд ли, я полагаю, Соня получила Николаеву могильную весть. Сквозь тот черный декабрь письма не проходили или же шли месяцами. Будем думать, что она, возведя полуслепые от голода глаза к вечерней звезде над разбитым Пулковом, в этот день не почувствовала магнетического взгляда своего возлюбленного и поняла, что час его пробил. Любящее сердце — уж говорите что хотите — чувствует такие вещи, его не обманешь. И, догадавшись, что пора, готовая испепелить себя ради спасения своего единственного, Соня взяла все, что у нее было, — баночку довоенного томатного сока, сбереженного для такого вот смертного случая, — и побрела через весь Ленинград в квартиру умирающего Николая. Сока там было ровно на одну жизнь.

Николай лежал под горой пальто, в ушанке, с черным страшным лицом, с запекшимися губами, но гладко побритый. Соня опустилась на колени, прижалась глазами к его отекающей руке со сбитыми ногтями и немножко поплакала. Потом она напоила его соком с ложечки, подбросила книг в печку, благословила свою счастливую судьбу и ушла с ведром за водой, чтобы больше никогда не вернуться. Бомбили в тот день сильно.

Вот, собственно, и все, что можно сказать о Соне. Жил человек — и нет его. Одно имя осталось.

... — Ада Адольфовна, отдайте мне Сонины письма!

Ада Адольфовна выезжает из спальни в столовую, поворачивая руками большие колеса инвалидного кресла. Сморщенное личико ее мелко трясется. Черное платье прикрывает до пят безжизненные ноги. Большая камея приколотая у горла, на камее кто-то кого-то убивает: щиты, копья, враг изящно упал.

— Письма?

— Письма, письма, отдайте мне Сонины письма!

— Не слышу!

— Слово “отдайте” она всегда плохо слышит, — раздраженно шипит жена внука, косясь на камею.

— Не пора ли обедать? — шамкает Ада Адольфовна.

Какие большие темные буфеты, какое тяжелое столовое серебро в них, и вазы, и всякие запасы: чай, варенья, крупы, макароны. Из других комнат тоже виднеются буфеты, буфеты, гардеробы, шкафы — с бельем, с книгами, со всякими вещами. Где она хранит пачку Сониных писем, ветхий пакетик, перехваченный бечевкой, потрескивающий от сухих цветов, желтоватых и прозрачных, как стрекозиные крылья? Не помнит или не хочет говорить? Да и что толку — приставать к трясущейся парализованной старухе! Мало ли у нее самой было в жизни трудных дней? Скорее всего, она бросила эту пачку в огонь, встав на распухшие колени в ту ледяную зиму, во вспыхивающем кругу минутного света, и, может быть, робко занявшись вначале, затем быстро чернея с углов, и, наконец, взвившись столбом гудящего пламени, письма согрели, хоть на краткий миг, ее скрюченные, окоченевшие пальцы. Пусть так. Вот только белого голубка, я думаю, она должна была оттуда вынуть. Ведь голубков огонь не берет.

Людмила Петрушевская

Черное пальто

Одна девушка вдруг оказалась на краю дороги зимой в незнакомом месте, мало того, она была одета в чье-то чужое черное пальто.

Под пальто, она посмотрела, был спортивный костюм.

На ногах находились кроссовки.

Девушка вообще не помнила, кто она такая и как ее зовут.

Она стояла и мерзла на непонятном шоссе зимой, ближе к вечеру.

Вокруг был лес, становилось темно.

Девушка подумала, что надо куда-то двигаться, потому что было холодно, черное пальто не грело совершенно.

Она пошла по дороге.

Тем временем из-за поворота показался грузовик. Девушка подняла руку, и грузовик остановился. Шофер открыл дверцу. В кабине уже сидел один пассажир.

— Тебе куда?

Девушка ответила первое, что пришло на ум:

— А вы куда?

— На станцию, — ответил, засмеявшись, шофер.

— И мне на станцию. — (Она вспомнила, что из леса, действительно, надо выбираться на какую-нибудь станцию).

— Поехали, — сказал шофер, все еще смеясь. — На станцию так на станцию.

— Я же не помещусь, — сказала девушка.

— Поместишься, — смеялся шофер. — Товарищ у меня одни кости.

Девушка забралась в кабину, и грузовик тронулся.

Второй человек в кабине угрюмо потеснился.

Лица его совершенно не было видно из-под надвинутого капюшона.

Они мчались по темнеющей дороге среди снегов, шофер молчал, улыбаясь, и девушка тоже молчала, ей не хотелось ничего спрашивать, чтобы никто не заметил, что она все забыла.

Наконец они приехали к какой-то платформе, освещенной фонарями, девушка слезла, дверца за ней хлопнула, грузовик рванул с места.

Девушка поднялась на перрон, села в подошедшую электричку и куда-то поехала.

Она помнила, что полагается покупать билет, но в карманах, как выяснилось, не было денег: только спички, какая-то бумажка и ключ.

Она стеснялась даже спросить, куда едет поезд, да и некого было, вагон был совершенно пустой и плохо освещенный.

Но в конце концов поезд остановился и больше никуда не пошел, и пришлось выйти.

Это был, видимо, большой вокзал, но в этот час совершенно безлюдный, с погашенными огнями.

Все вокруг было перерыто, зияли какие-то безобразные свежие ямы, еще не занесенные снегом.

Выход был только один, спуститься в туннель, и девушка пошла по ступенькам вниз.

Туннель тоже оказался темным, с неровным, уходящим вниз полом, только от кафельных белых стен шел какой-то свет.

Девушка легко бежала вниз по туннелю, почти не касаясь пола, неслась как во сне мимо ям, лопат, каких-то носилок, здесь тоже, видимо, шел ремонт.

Потом туннель закончился, впереди была улица, и девушка, задыхаясь, выбралась на воздух.

Улица тоже оказалась пустой и какой-то полуразрушенной.

В домах не было света, в некоторых даже не оказалось крыш и окон, только дыры, а посредине проезжей части торчали временные ограждения: там тоже все было раскопано.

Девушка стояла у края тротуара в своем черном пальто и мерзла.

Тут к ней внезапно подъехал маленький грузовик, шофер открыл дверцу и сказал: — Садись, подвезу.

Это был тот самый грузовик, и рядом с шофером сидел знакомый человек в черном пальто с капюшоном.

Но за то время, пока они не виделись, пассажир в пальто с капюшоном как будто бы потолстел, и места в кабине почти не было.

— Тут некуда, — сказала девушка, залезая в кабину. В глубине души она обрадовалась, что ей чудесным образом встретились старые знакомые.

Это были ее единственные знакомые в той новой, непонятной жизни, которая ее теперь окружала.

— Поместишься, — засмеялся веселый шофер, поворачивая к ней лицо.

И она с необыкновенной легкостью действительно поместилась, даже осталось еще пустое пространство между ней и ее мрачным соседом, он оказался совсем худым, это просто его пальто было такое широкое.

И девушка думала: возьму и скажу, что ничего не знаю.

Шофер тоже был очень худым, иначе бы они все не расселись так свободно в этой тесной кабине маленького грузовика.

Шофер был просто очень худой и курносый до невозможности, то есть вроде бы уродливый, с совершенно лысым черепом, и вместе с тем очень веселый: он постоянно смеялся, открывая при смехе все свои зубы.

Можно даже сказать, что он не переставая хохотал во весь рот, беззвучно.

Второй сосед все еще прятал лицо в складках своего капюшона и не говорил ни слова.

Девушка тоже молчала: о чем ей было говорить?

Они ехали по совершенно пустым и раскопаным ночным улицам, народ, видимо, давно спал по домам.

— Тебе куда надо? — спросил весельчак, смеясь во весь свой рот.

— Мне надо к себе домой, — ответила девушка.

— А это куда? — беззвучно хохоча, поинтересовался шофер.

— Ну... До конца этой улицы и направо, — сказала девушка неуверенно.

— А потом? — спросил, не переставая щерить зубы, водитель.

— А потом все время прямо.

Так ответила девушка, в глубине души боясь, что у нее потребуют адрес.

Грузовик мчался совершенно бесшумно, хотя дорога была жуткая, вся в ямах.

— Куда? — спросил веселый.

— Вот здесь, спасибо, — сказала девушка и открыла дверцу.

— А платить? — разинув смеющуюся пасть до предела, воскликнул шофер.

Девушка поискала в карманах и снова обнаружила бумажку, спички и ключ.

— А у меня нету денег, — призналась она.

— Если нет денег, нечего было и садиться, — захохотал шофер. — Тот первый раз мы ничего с тебя не взяли, а тебе это, видно, понравилось. Давай иди домой и принеси нам деньги. Или мы тебя съедим, мы худые и голодные, да? Точно, пустая башка? — спросил он со смехом товарища. — Мы питаемся такими вот, как ты. Шутка, конечно.

Они вышли все вместе из грузовика на каком-то пустыре, где вразброс стояли еще не заселенные, видимо, дома, по виду новые.

Во всяком случае, огней не было видно.

Только горели фонари, освещая темные, безжизненные окна.

Девушка, все еще на что-то надеясь, дошла до самого последнего дома и остановилась.

Ее спутники остановились тоже.

— Это здесь? — спросил хохочущий шофер,

— Может быть, — шутливо ответила девушка, замирая от неловкости: вот сейчас и обнаружится, что она все забыла.

Они вошли в подъезд и стали подниматься по темной лестнице.

Хорошо, что фонари светили в окна и были видны ступени.

На лестнице стояла полнейшая тишина.

Дойдя до какого-то этажа, девушка у первой попавшейся двери достала из кармана ключ, и, к ее удивлению, ключ легко повернулся в замке.

В прихожей было пусто, они прошли дальше. в первой комнате тоже, а вот во второй в дальнем углу лежала груда непонятных вещей.

— Видите, у меня нет денег, берите вещи, — сказала девушка, оборачиваясь к своим гостям.

При этом она обратила внимание, что шофер все так же широко ухмыляется, а человек в капюшоне все так же прячет лицо, отвернувшись.

— А что это такое? — спросил шофер.

— Это мои вещи, они мне больше не нужны, — ответила девушка.

— Ты так думаешь? — спросил шофер.

— Конечно, — сказала девушка.

— Тогда хорошо, — подал голос шофер, наклоняясь над кучей.

Они вдвоем с пассажиром стали разглядывать вещи и что-то уже потянули в рот.

А девушка тихо попятилась и вышла в коридор.

— Я сейчас, — крикнула она, увидев, что они подняли головы в ее сторону.

В коридоре она на цыпочках, широко ступая, добралась до дверей и оказалась на лестнице.

Сердце громко билось, стучало в пересохшем горле.

Совершенно нечем было дышать.

“Как все-таки повезло, что первая попавшаяся квартира открылась моим ключом, — думала она. — Никто не заметил, что я ничего не помню”.

Она спустилась этажом ниже и услышала быстрые шаги наверху на лестнице.

Тут же ей пришлось в голову опять воспользоваться ключом.

И, как ни странно, первая же дверь отперлась, девушка скользнула в квартиру и захлопнула за собой дверь.

Было темно и тихо.

Никто не преследовал ее, не стучал, может быть, незнакомцы уже ушли вниз по лестнице, таща найденные вещи, и оставили в покое бедную девушку.

Теперь можно было как-то обдумать свое положение.

В квартире не очень холодно, это уже хорошо.

Наконец-то найдено пристанище, хоть временное, и можно лечь где-нибудь в углу.

У нее от усталости болела шея и спина.

Девушка тихо пошла по квартире, в окна бил свет от уличных фонарей, комнаты были абсолютно пустые.

Однако, когда она зашла в последнюю дверь, сердце у нее громко застучало: в углу лежала куча каких-то вещей.

В том же углу, что и этажом выше.

Девушка постояла, ожидая какого-то нового происшествия, но ничего не случилось, тогда она подошла к этой груде и села на тряпки.

— Ты что, обалдела? — закричал полузадушенный голос, и она почувствовала, что тряпки под ней шевелятся как живые, как будто змеи.

Тут же сбоку высунулись две головы и четыре руки одна за другой, оба ее знакомца, живо ерзая, вошли в тряпках и наконец выбрались наружу.

Девушка побежала на лестницу.

Ноги у нее были словно ватные.

За ее спиной кто-то активно выползал в коридор.

И тут она увидела полоску света под ближайшей дверью.

Девушка опять неожиданно легко открыла своим ключом квартиру напротив и ворвалась туда, быстро закрыв за собой дверь.

Перед ней на пороге стояла женщина с горящей спичкой в руке.

— Спасите меня, ради бога, — зашептала девушка.

На лестнице за ее спиной уже слышались легкие шорохи, как будто кто-то полз.

— Проходи, — сказала женщина, выше поднимая догорающую спичку.

Девушка подвинулась еще на шаг и прикрыла дверь.

На лестнице было тихо, как будто кто-то остановился и размышлял.

— Ты что в двери по ночам ломишься, — грубовато спросила женщина со спичкой.

— Пойдемте туда, — шептала девушка, — туда куда-нибудь, я вам все объясню.

— Туда я не могу, — глухо сказала женщина. — Спичка по дороге погаснет. Нам дается только десять спичек.

— У меня есть спички, — обрадовалась девушка, — возьмите. — Она нашарила коробок в кармане пальто и протянула женщине.

— Зажги сама, — потребовала женщина. Девушка зажгла, и при мерцающем свете спички они пошли по коридору.

— Сколько их у тебя? — спросила женщина, глядя на коробок.

Девушка погремела спичками.

— Мало, — сказала женщина. — Наверно, уже девять.

— Как освободиться? — прошептала девушка.

— Можно проснуться, — ответила женщина, — но это бывает не всегда. Я, например, уже больше не проснусь. Мои спички кончились, тю-тю.

И она засмеялась, обнажив в улыбке большие зубы. Она смеялась очень тихо, беззвучно, как будто хотела просто раскрыть рот как можно шире, как будто зевала.

— Я хочу проснуться, — сказала девушка. — Давайте кончим этот страшный сон.

— Пока горит спичка, ты еще можешь спастись, — сказала женщина. — Мою последнюю спичку я израсходовала только что, хотела тебе помочь. Теперь мне уже все безразлично. Я даже хочу, чтобы ты тут осталась. Ты знаешь — все очень просто, не надо дышать. Можно сразу перелететь, куда хочешь. Не нужен свет, не нужно есть. Черное пальто спасает от всех бед. Я скоро полечу посмотреть, как мои дети. Они были большие озорники и не слушались меня. Один раз младший плюнул в мою сторону, когда я сказала, что папы больше нет. Заплакал и плюнул. Теперь я уже не могу их любить. Еще я мечтаю полететь посмотреть, как там мой муж и его подружка. Я к ним тоже теперь равнодушна. Я сейчас очень многое поняла. Я была такая дура!

И она опять засмеялась.

— С этой последней спичкой выпадение памяти прошло. Теперь я вспомнила всю свою жизнь и считаю, что была неправа. Я смеюсь над собой.

Она действительно смеялась во весь рот, но беззвучно.

— Где мы? — спросила девушка.

— На этот вопрос не бывает ответа, скоро увидишь сама. Будет запах.

— Кто я? — спросила девушка.

— Ты узнаешь. . .

— Когда?

— Когда кончится десятая спичка. — А спичка девушки уже догорала.

— Пока она горит, ты можешь проснуться. Но я не знаю, как. Мне не удалось.

— Как тебя зовут? — спросила девушка.

— Мое имя скоро напишут масляной краской на железной дощечке. И воткнут в маленькую горку земли. Тогда я прочту и узнаю. Уже готова банка краски и эта пустая дощечка. Но это известно только мне, остальные еще не в курсе. Ни мой муж, ни его подруга, ни мои дети. Как пусто! — сказала женщина. — Скоро я улечу и увижу себя сверху.

— Не улетай, я прошу тебя, — сказала девушка. — Хочешь мои спички?

Женщина подумала и сказала:

— Пожалуй, я возьму одну. Мне еще кажется, что мои дети любят меня. Что они будут плакать. Что они будут никому на свете не нужны, ни их отцу, ни его новой жене.

Девушка сунула свободную руку в карман и вместо коробка спичек нашарила там бумажку.

— Смотри, что тут написано! “Прошу никого не винить, мама, прости”. А раньше она была пустая!

— А, ты так написала! А я написала “больше так не хочу, дети, люблю вас”. Она проявилась только недавно.

И женщина достала из кармана черного пальто свою бумажку.

Она стала читать ее и воскликнула:

— Смотри, буквы растворяются! Наверно, кто-то эту записку уже читает! Она уже попала в чьи-то руки... Нет буквы “б” и буквы “о”! И тает буква “л”! — Тут девушка спросила:

— Ты знаешь, почему мы здесь?

— Знаю. Но тебе не скажу. Ты сама узнаешь. У тебя еще есть запас спичек.

Девушка тогда достала из кармана коробок и протянула женщине:

— Бери все! Но скажи мне!

Женщина отсыпала себе половину спичек и сказала:

— Кому ты написала эту записку? Помнишь?

— Нет.

— Ты сожги еще одну спичку, эта уже догорела. С каждой сожженной спичкой я вспоминала все больше.

Девушка взяла тогда все свои четыре спички и подожгла. Вдруг все осветилось перед ней: как она стояла на табуретке под трубой, как на столе лежала маленькая записка “Прошу никого не винить”, как где-то там, за окном, лежал ночной город и в нем была квартира, где ее любимый, ее жених, не хотел больше подходить к телефону, узнав, что у нее будет ребенок, а брала трубку его мать и все время спрашивала: “А кто и по какому вопросу”, — хотя прекрасно разбиралась — и по какому вопросу, и кто звонит...

Последняя спичка догорала, но девушка очень хотела знать, кто спал за стеной в ее собственной квартире, кто там, в соседней комнате, похрапывал и сто-

нал, пока она стояла на табуретке и привязывала свой тонкий шарф к трубе под потолком...

Кто там, в соседней комнате, спит — и кто не спит, а лежит, глядит больными глазами в пустоту и плачет... Кто?

Спичка уже почти догорела. Еще немного — и девушка поняла все. И тогда она, находясь в пустом темном доме, в чужой квартире, схватила свой клочок бумажки и подожгла его!

И увидела, что там, в той жизни, за стеной храпит ее больной дедушка, а мама лежит на раскладушке близости от него, потому что он тяжело заболел и все время просит пить.

Но был еще кто-то там, чье присутствие она ясно чувствовала и кто любил ее, — но бумажка быстро угасала в ее руках.

Этот кто-то тихо стоял перед ней и жалел ее, и хотел поддержать, но она его не могла видеть и слышать и не желала говорить с ним, слишком у нее сильно болела душа, она любила своего жениха и только его, она не любила больше ни маму, ни деда, ни того, кто стоял перед ней той ночью и пытался ее утешить.

И в самый последний момент, когда догорал последний огонь ее записки, она захотела поговорить с тем, кто стоял перед ней внизу, на полу, а глаза его были вровень с ее глазами, как-то так получалось.

Но бедная маленькая бумажка уже догорала, как догорали остатки ее жизни там, в комнате с лампочкой.

И девушка тогда сбросила с себя черное пальто и, обжигая пальцы, последним язычком пламени дотронулась до сухой черной материи.

Что-то щелкнуло, запахло паленым, и за дверью завывли в два голоса.

— Скорей снимай с себя свое пальто! — закричала она женщине, но та уже спокойно улыбалась, раскрыв свой широкий рот, и в ее руках догорала последняя из спичек...

Тогда девушка — которая была и тут, в темном коридоре перед дымящимся черным пальто, и там, у себя дома, под лампочкой, и она видела перед собой чьи-то ласковые, добрые глаза, — девушка дотронулась своим дымящимся рукавом до черного рукава стоящей женщины, и тут же раздался новый двойной вой на лестнице, а от пальто женщины повалил смрадный дым, и женщина в страхе сбросила с себя пальто и тут же исчезла.

И все вокруг тоже исчезло.

В то же мгновение девушка уже стояла на табуретке с затянутым шарфом на шее и, давясь слюной, смотрела на стол, где белела записка, в глазах плавали огненные круги.

В соседней комнате кто-то застонал, закашлялся, и раздался сонный голос мамы: “Отец, давай попьем?”

Девушка быстро, как только могла, растянула шарф на шее, задышала, непослушными пальцами развязала узел на трубе под потолком, соскочила с табуретки, скомкала свою записку и плюхнулась в кровать, укрывшись одеялом.

И как раз вовремя. Мама, жмурясь от света, заглянула в комнату и жалобно сказала:

— Господи, какой мне страшный сон приснился...

Какой-то огромный ком земли стоит в углу, и из него торчат корни... И твоя рука...

И она ко мне тянется, мол, помоги... Что ты спишь в шарфе, горло заболело?

Дай я тебя укурю, моя маленькая... Я плакала во сне...

— Ой, мама, — своим всегдашним тоном ответила ее дочь. — Ты вечно с этими снами! Ты можешь меня оставить в покое хотя бы ночью! Три часа утра, между прочим!

И про себя она подумала, что бы было с матерью, если бы она проснулась на десять минут раньше...

А где-то на другом конце города женщина выплюнула горсть таблеток и тщательно прополоскала горло.

А потом она пошла в детскую, где спали ее довольно большие дети, десяти и двенадцати лет, и поправила на них сбившиеся одеяла.

А потом опустилась на колени и начала просить прощения.

Юрий Буйда

Аллес

Да-да, счастливы только слепые, так уж устроен мир. Только на их долю не выпали все те волнения, которые чуть было не привели к гибели городка. Только они не могли и не смогли приникнуть к глазку в стенке ящика, стоявшего посредине задрапированного алым плюшем помещения, над входом в которое этот мошенник повесил написанную от руки табличку: “Ателье “Исполнение желаний”. Цена договорная”. Кто-то говорил, что владелец ателье проник в городок под видом разложившегося мертвеца в запаянном цинковом гробу, кто-то вспоминал какого-то племянника Светки Чесотки, которого днем она якобы держала под замком в подвале, а ночью выпускала в огород, где он выращивал такую морковь, что женщины стеснялись брать ее в руки при свидетелях... Как бы там ни было, когда освободилось помещение старой аптеки, этот-то человек — метр с кепкой, утопленные едва не до затылка глаза и скрипящие на весь городок ортопедические ботинки — и устроил здесь свое ателье: алый плюш на стенах, черный ящик на треноге, цена договорная, дети до шестнадцати.

Что означает договорная цена, выяснилось в первый же день и вызвало в городке неподдельное веселье.

— Чем хотите, тем и платите, — объяснил хозяин. — Договоримся. А после смотрите сюда — и аллес.

— Чего? — не поняла Буяниха.

— Аля-улю, — перевел на русский язык Колька Урблюд.

— Жулик! — возмутилась Феня из Красной столовой. — Вот я выведу его на чистую воду!

Собственноручно отловив и умертвив крупную рыжую крысу, Феня завернула ее в салфетку с надписью “общепит” и решительным шагом направилась к ателье, у дверей которого уже собралось почти все взрослое население городка. Медово улыбнувшись, Аллес недрогнувшей рукой принял крысу и театральным жестом пригласил Феню к аппарату.

— Вы увидите себя, — прожурчал он, — вы увидите исполнение самых — самых! — сокровенных своих желаний, о которых, быть может, и сами не подозреваете. Вы заглянете в свое будущее.

Через десять минут в дверях показалась бледная Феня с физиономией дохлой крысы. Она слепо шагнула на тротуар. Толпа раздалась. Феня сделала несколько неуверенных шагов.

— Неужто видела? — остановил ее дед Муханов.

— Видела, — прошептала Феня. — Видела, господи боже мой. — И рухнула могучим бюстом в лужу.

— Кто следующий? — сладко пропел Аллес, обводя толпу глазами-утопленниками.

И мы поверили — и повалили.

Расплачивались кто чем мог. Кто десятком яиц, кто рублем, а кто и горстью дохлых мух, — все безропотно принимал Аллес. На подгибающихся ногах приближался клиент к черному ящику и, поглубже вдыхая запах нафталина и стеклянно скрипя позвоночником, прикинул к глазку. Пять минут для выстроившейся за дверью очереди тянулись как пять лет, но мы не роптали, ибо каждый пытался понять, почему счастливцы, побывавшие в ателье, ничего никому не рассказывают. Ничего и никому. Кто-то выходил оттуда посмеиваясь, кто-то с перекошенной физиономией, кто-то сра-

зу направлялся в Белую столовую напротив и требовал у Люси “триста без закуси”, кто-то же убредал на кладбище и дотемна сидел на лавочке у могилы родителей... Но — никто никому ничего не рассказывал. Мать дочери, сын отцу, жена мужу, подчиненный начальнику — ни гу-гу. Известная склонностью к словесному недержанию Граммофониха, не полагаясь на свои силы, без наркоза зашила себе рот рыболовной леской.

После посещения ателье председатель поссовета Кальсоныч вдруг отказался от своей ежедневной порции самогонки с куриным пометом и прогнал с глаз долой дурочку Общую Лизу, явившуюся, как всегда, исполнить последнее дневное желание начальника — оно же первое ночное.

Директор музыкальной школы по прозвищу д’Артаньян наконец решился и сделал предложение руки и сердца Алле Пугачевой, с портретом которой он тайно сожительствовал в одной комнате уже восемь лет.

Лесхозовский бухгалтер Глаз Петрович утром тщательно выбрился, надушился и, глядясь в помутневшее зеркало, чтоб не промахнуться, аккуратно перерезал себе горло от уха до уха.

Одновременно начались в городке и странные исчезновения. К примеру, исчезла неведомо как, когда и куда булыжная мостовая от тюрьмы до Банного моста. Разом пропали все собаки черного цвета, а также рыбы сорта уклейка из Преголи и Лавы. За ними — пишущие машинки, у которых отсутствовали литеры “ч”, “р” и “т”. Грузинский чай высшего сорта, которым дед Муханов набивал свои сигареты. Плакат над вывеской магазина головных уборов — “Шляпы партии — шляпы народа”. Ночной шелест ивовых за-

рослей между базаром и баней. Запахи туи на старом кладбище. Мухи.

Однажды дед Муханов не обнаружил ступенек у сберкасы, на которых обычно собирались старики, чтобы рассказать друг другу одну из тридцати трех любимых историй, — и словно пелена спала с его глаз. Он узрел труп городка — без позеленевших от вечной сырости заборов и гудящих над помойками мух, без плывущего по Преголе дерьма, без пишущих машинок, у которых отсутствовали литеры “ч”, “р” и “т”, без неукротимого бабника Глаза Петровича, чей стеклянный глаз излучал энергию, прожигавшую женские юбки до трусиков, без шляп партии и шляп народа... Узрел, ужаснулся и воскликнул:

— Аллес!

Откликнувшиеся на его призыв мужчины и подростки до шестнадцати лет бросились к ателье “Исполнение желаний”, но, разумеется, уже не застали там Аллеса с утопленными до затылка глазами и скрипящими на весь городок ортопедическими ботинками. Никто не внял просьбам деда Муханова пощадить черный ящик для науки. Аппарат разбили на мелкие кусочки, каковые истолкли в ступе, облили керосином и сожгли, а пепел доверили сожрать Аркаше Стратонову, поскольку твердо были уверены: уж из него-то, кроме говна, ничего не дожدهшься.

Акция возымела успех. Постепенно в городок вернулось все, что исчезло, вплоть до Фенинойдохлой крысы, завернутой в салфетку с надписью “общепит”. Волнение улеглось, и только счастье, кажется, ушло от нас навсегда — ото всех, кроме слепых, разумеется. Так уж устроен мир: счастливы только слепые...

Виктор Пелевин

Фокус-группа

С первого взгляда казалось, что Светящееся Существо парит в пространстве безо всякой опоры, как облако, сквозь которое просвечивает солнце. Когда глаза немного привыкали к сиянию, становилось видно, что опора все же была. Существо восседало (или возлежало, точно сказать было трудно из-за округлости его очертаний) в кресле, похожем на что-то среднее между гигантской лилией и лампой ар-деко. Эта лилия покачивалась на тонкой серебристой ножке, от которой отходили три отростка, кончавшихся почкообразными утолщениями.

Стебель выглядел слишком хрупким, чтобы выдержать даже небольшой вес. Но семеро усопших (какое глупое слово, сказал бы любой из них), которые совсем недавно вырвались из мрака к этому ласковому сиянию и теперь сидели вокруг цветка-лампы, не задавались вопросом, сколько весит Светящееся Существо и есть ли у него вес вообще. Их занимало другое: если таков свет, исходящий от его спины, каков же блеск лика? Какими лучами сверкают его глаза?

Этот вопрос мучил всех семерых. Каждый видел нечто вроде округлой спины, плеч и накинутаго на голову капюшона, и, глядя на эту спину, делал вывод, что сидящие с другой стороны созерцают лицо. Вывод, однако, был неверен. Но никто даже не подозревал о таком положении дел. Зато все слышали голос — приятный, добродушно-веселый и странно знакомый, словно бы из какой-то телепередачи.

— Итак, — сказало Светящееся Существо, — подведем промежуточные итоги. Несмотря на уважение к культурному наследию веков, мы не хотим жить

в яблонево́м саду со змеями. Мы не хотим скитаться по темным пещерам, бродить по пескам в поисках родника, лазить на пальмы за кокосами и все такое прочее. Мы не хотим, чтобы колючки впивались нам в ноги и комары мешали спать по ночам. Мы не хотим никаких экстремальных переживаний — после туннеля никто, как я догадываюсь, не жаждет новых аттракционов. Правильно я понимаю ситуацию? Ха-ха! Вижу, что правильно... Если сформулировать вывод совсем коротко, мы собираемся сосредоточиться на приятных ощущениях. Опять правильно понимаю? Ха-ха-ха! Осталось выяснить каких. Что по этому поводу думает... ну, скажем, Дездемона?

Светящееся Существо вело себя с юмором — все получили от него прозвища вроде детских. Дело, впрочем, могло быть не только в юморе, а в том, что земное имя следовало забыть навсегда.

— Чего тут голову ломать, — сказала негритянка с серьгами-обручами в ушах. — Надо перечислить, кому что нравится. А дальше плясать от списка.

Она говорила с сильным украинским акцентом, но это не казалось несуразным — все уже знали, что она дитя портовой любви из Одессы. Наоборот, сочетание черной кожи с малоросским выговором придавало ей какую-то малосольную свежесть.

— Давайте попробуем, — согласилось Светящееся Существо. — Начнем с Барби.

— С меня? — хихикнула блондинка, действительно похожая на куклу Барби после второго развода. — Я люблю кататься на яхте. И нырять с аквалангом.

Барби была не то чтобы очень молодая, но все еще сексапильная. На ней была туго заполненная грудями

футболка с надписью *I wish these were brains*¹. Сквозь футболку проступали острые соски.

— Монтигомик? — спросило Светящееся Существо.

— Я сладкоежка, — сказал сидевший слева от Барби мужчина с орлиным носом и татуировкой “Монтигомо” на руке. — Чревоугодник, можно сказать. Люблю шоколадки, пончики с сахарной пудрой, пирожные. Только мне врач не советует, у нас в семье наследственный диабет.

Татуировка была уместна — он действительно походил на индейца острыми чертами лица и темно-красным загаром, который бывает у жителей тропиков и алкоголиков с больными почками.

— Диабета теперь можно не бояться. Как говорится, грешите на здоровье... А что скажет Дама с собачкой? Наверно, собаки — ее главная страсть?

Светящееся Существо обратилось таким образом к женщине средних лет с короткой стрижкой, на коленях у которой лежала японская сумочка в виде пекинеса с молнией на спине. Выглядел этот пекинес так правдоподобно, что мог, наверно, сойти за живого не только в загробном мире.

— Не сказала бы, — ответила Дама с собачкой. — Это очень поверхностное наблюдение. Как если бы кто-нибудь сделал вывод, что вы любите вертеть задом из-за того, что вы сидите во вращающемся кресле.

Светящееся Существо засмеялось. Остальные тоже — всем очень льстило, что Светящееся Существо держит себя так просто. Дама с собачкой дождалась, пока смех стихнет, и сказала:

¹ Хотела бы я, чтобы это были мозги (англ.).

— Я хочу иметь полную видеотеку всех европейских фильмов начиная с изобретения кино. Посмотреть все, что было когда-либо снято. Это для начала.

— Дездемона?

— Я люблю танцевать всю ночь напролет, — сказала Дездемона. — Но только после того, как съем пару колес. Так что если я скажу, что я хочу все время танцевать, это надо понимать комплексно.

— Телепузик?

— Я? — спросил толстяк с лицом, покрытым капельками пота. — Я люблю свободный секс.

Телепузик был не просто толстый, а отталкивающе толстый — он походил на огромный презерватив с водой, в нескольких местах перетянутый ушедшими в складки веревками. Наверное, по причине этого сходства, которое до неприличия усиливала мокрая от пота рубашка, слова о свободном сексе показались вполне уместными.

— Вот как, — сказала Светящееся Существо. — А что это такое — свободный секс?

— Ну это, — ответил Телепузик, — как у *Depeche Mode*. Напеть? *No hidden catch, no strings attached — this is free love*¹...

— Сдается мне, что это просто любовь к трудностям, — сказала Светящееся Существо, и все, кроме толстяка, засмеялись. — Родина-мать?

— Я люблю футбол по телевизору, — сказала седая старушка в красном платье, и правда похожая на Родину-мать после демобилизации с военного плаката. — Но это не самое важное. Больше всего я люб-

¹ Никаких уловок, никаких манипуляций — это свободная любовь (англ.).

лю... Вы смеяться не будете? Мне ужасно нравится французская жидкость для утюга. Дочка привозила. Приятно так пахнет. Гладить с ней — одно удовольствие. Очень люблю гладить шторы с такой жидкостью. И чтоб за окном весна была. А если из еды — яйца вкрутую, фаршированные черной икрой.

— Понятно. Ну а ты, Отличник?

Молодой человек в круглых очках смущенно улыбнулся.

— Не подумайте, что это инфантильность, — сказал он. — Я люблю видеоигры, только не компьютерные, а для *Playstation-2*. Или на худой конец для *X-Box*. У компьютеров обычно или видеокарта не тянет, или звук — в общем, всегда проблемы...

— Здесь проблем не будет, — сказала Светящееся Существо. — И что, это все?

— Нет, — сказал Отличник. — Меня раздражает одна особенность игр для *Playstation*, и для первой, и для второй. Такое чувство, что их главная задача — сжечь как можно больше детского времени. Поэтому без конца приходится повторять одни и те же действия, проходить заново те же уровни, вести какую-то мутную бухгалтерию — чтобы игра занимала часов пятьдесят чистого времени. Хотя интереса там на час-два. Мне бы хотелось играть в игры, где все свежие впечатления сжаты в минимальном объеме времени. Можно так?

— Можно, — ответило Светящееся Существо словно бы даже с каким-то недоумением. — Вы меня удивляете, друзья. Стоило умирать ради таких мелочей?

— Только не думайте о нас плохо, — сказала Дама с собачкой. — Мы не так примитивны. Каждый на-

звал то, что первым пришло в голову. Но ведь после чего-то одного всегда хочется чего-то другого. После еды захочется танцевать, после танцев, я не знаю, шторы гладить. Если как следует подумать, список можно продолжить до бесконечности. Я одну только еду могу полдня перечислять.

— В Евангелии сказано — не хлебом единым жив человек, — тихо проговорил Монтигомо.

— Правильно, — согласилась Дездемона, — ему нужны еще и зрелища. Мы о том и гутарим.

— Евангелие писали давно, — сказала Барби. — С тех пор в мире многое изменилось. Теперь есть много таких продуктов и потребностей, которые не попадают ни в одну из этих категорий.

— Почему “теперь”? — спросила Родина-мать. — Они всегда были. Только я не уверена, что их можно называть продуктами. Меня в детстве ничто так не радовало, как пятерка в школе. Но разве это продукт?

— Вопрос надо ставить широко, — сказал Отличник. — Почему только пятерки? Речь идет, как я понимаю, о наслаждениях морального свойства.

— Не наслаждениях, а наслаждении, — заметил Теплузик. — Оно всегда одно и то же.

— А что доставляет нам это наслаждение? — спросила Дездемона.

— Наверно, — сказала Родина-мать, — сознание того, что мы поступили правильно. Спасли ребенка из огня. Наказали негодяя за совершенное зло...

Монтигомо вздрогнул.

— Что это?! — воскликнул он, указывая пальцем на негритянку. — Посмотрите, что у нее с серьгами!

С серьгами Дездемоны происходило странное. Они отяжелели и набухли, из золотых став зелеными. Это были уже не серьги, а...

— Это же змеи, — прошептал в ужасе Монтигомо. Действительно, серьги превратились в свернувшихся кольцами зеленых змеек — когда именно, никто не заметил. Они походили на заготовку, над которой только начал работать невидимый резчик, но в некоторых местах чешуя уже ярко и мокро блестела. Дездемона потрогала серьги, и на ее лице изобразилось недоумение.

— Они холодные, — пожаловалась она, — и мокрые! Что это такое?

— Успокойтесь!

Голос Светящегося Существа перекрыл все охи и шепоты, и наступила тишина.

— Вспомните, что вы умерли. То, что кажется вам телом, — просто память о том, какими вы были. Эта память — как сон. А во сне все условно и зыбко. Ничего не бойтесь. Самое страшное уже случилось.

— А можно вопрос? — сказал Монтигомо. — Мне интересно как религиозному человеку. Есть такой догмат о воскрешении в теле. Я читал в одной духовной книге, что тело после смерти необходимо, чтобы войти в рай, потому что у души тоже должно быть какое-то оформление. Иначе, мол, будет непонятно, кто входит и куда. Это правда?

— Можно сказать и так, — ответило Светящееся Существо. — Но это иллюзорное тело. То, что оно меняется, — естественный процесс. Что-то вроде прыщиков при половом созревании. Помните? Когда оно начинается, кажется, что ужаснее этих прыщей ничего и быть не может. Но на самом деле это предвестие

будущего счастья, не так ли, Телепузик? Не слышу! А? Вот то же самое и здесь.

— Но почему сережки-то? — спросила Дездемона. — Это ведь не тело, а вообще черт знает что.

— Разницы нѐт. После смерти каждый человек делается всемогущ. И любой дрейф ума становится зримым. В этом источник вечного блаженства, но и огромная опасность. Шарахнувшись от собственной тени, вы можете зашвырнуть себя в бесконечное страдание. А можете так же точно вступить в невообразимое счастье. Я здесь как раз для того, чтобы прийти вам на помощь. Я ваш проводник, друзья мои.

— Так что мне теперь делать? — спросила Дездемона.

— Не обращайтесь на это внимания, — ответило Светящееся Существо. — Считайте просто сном. А если вас раздражают эти манифестации, давайте поторопимся с нашим обсуждением. Как только вы вступите в рай, от случайной ряби сознания не останется и следа. Так что давайте сосредоточимся. На чем мы остановились?

— На моральном наслаждении, — сказал Телепузик.

— Правильно, — сказал Монтигомо. — Мы получаем его, например, от победы над злом. Но разные люди считают злом разные вещи. Например, если вы — следователь по раскрытию секс-преступлений, — он покосился на Телепузика, — то злом для вас будет сексуальный маньяк. А если вы сексуальный маньяк, — он опять поглядел на Телепузика, — то злом для вас будет следователь. Если, конечно, вы не следователь — сексуальный маньяк.

— Так, — рассмеялось Светящееся Существо. — И что же нам делать в условиях такой неопределенности?

— Мне кажется, — заговорила Барби, — что никакой неопределенности нет. Разные люди испытывают моральное наслаждение по разным поводам. Но само это наслаждение всегда одинаково! Мы с ним хорошо знакомы, верно? А раз так, давайте просто добавим его в нашу потребительскую корзину, и все!

— А не слишком ли это просто? — подозрительно спросил Телепузик.

— Я же говорю, — заметило Светящееся Существо, — Телепузик любит трудности.

— Барби права, — сказала Дездемона, стараясь говорить так, чтобы двигался один рот и змеи в ушах оставались неподвижными. — Чего мы тут сами себе проблемы выдумываем. Только время тянем. А тянется оно лично для меня не особо приятно. Если кто еще не понял.

— У меня тоже чувство, что мы топчемся на месте, — сказал Монтигомо. — Рай, построенный по нашим заявкам, будет каким-то профсоюзным санаторием. Нужен качественный скачок. Прорыв. Кто?

Некоторое время все напряженно думали. Вдруг Отличник схватил себя за голову и издал победный клекот.

— Оба-на! Да мы вообще не туда едем! Я понял, в чем проблема! Все понял!

— Прошу, — сказала Светящееся Существо.

— Незадолго до... В общем, когда я был проездом в Париже, я видел по телевизору рекламу фирмы “Бонинг”. Сначала какие-то тенистые кущи с родниками,

коврики на лужайках, что-то такое типа исламского рая. Вроде вечного пикника с гуриями. Мне, во всяком случае, так запомнилось. А потом на экране появляется большой серо-синий самолет и надпись: *Boeing. Being there is everything*¹. Я почему этот клип и запомнил — как это, думаю, такую фигню после одиннадцатого сентября показывают...

— А при чем тут мы? — спросила Барби.

— А при том, что в этой рекламе все сказано. *Everything*. То, про что мы говорили, — это *something*. А рай — это *everything*. Понятно? *Being there is everything*!

— То есть как? — спросила Дездемона. — Все вместе, что ли?

— И сразу, — добавил Монтигомо. — Чтоб рыбку съесть и... кино посмотреть.

— Понимаю вашу иронию, — ответил Отличник, — но дело именно в этом! Именно так, как вы сказали! Именно и в точности так! Любой выбор накладывает ограничения. Просто потому что отвергает все остальное, хотя бы на время. Это во-первых. А во-вторых, природа наших удовольствий обусловлена имеющимися у нас органами чувств. И захотеть мы в состоянии только того, что нам знакомо! Только того, что мы когда-то могли... Я понятно говорю?

— Не очень, — отозвалась Родина-мать.

— Круг наших желаний ограничен опытом телесности. Мы вспоминаем о фильмах и сексе, потому что у нас были глаза и сами знаете что. Но мы даже помыслить не можем о чем-то таком, что лежит между

¹ Боинг. Быть там — это все (англ.).

этими двумя занятиями, не являясь ни одним из них! Вот в чем наша ущербность.

— Наверно, не следует говорить об ущербности, — заметило Светящееся Существо, — но в целом ход мысли блестящий!

Отличник просиял. Его даже радовало, что Светящееся Существо сидит к нему спиной. Он знал про себя много такого, что это персональное невнимание казалось неожиданно легкой формой загробного наказания, чем-то вроде очистительного ритуала перед входом в вечное блаженство.

— Конечно! — сказал он, преданно глядя вверх. — Что бы мы ни выбрали, потом мы захотим другого, третьего и будем метаться так всю вечность. А приходило ли вам в голову, что могут существовать неизмеримо более высокие формы наслаждения, вбирающие в себя все то, что мы перечислили? Допускали ли вы, что фильм, который мы смотрим, сможет одновременно насыщать? Мечтали ли вы о том, что икра, которую мы едим, разбудит воображение и вызовет захватывающее дух любопытство к каждой проглатываемой икринке? Думали ли вы о половом акте, который доставит высочайшее моральное удовлетворение?

— Ну, — сказал Телепузик, — такое на зоне сплошь и рядом бывает.

Родина-мать выразительно прокашлялась, но Светящееся Существо захохотало, да так заразительно, что все остальные засмеялись тоже.

— Ай! — пискнула Барби.

Все поглядели в ее сторону. Там, где на ее майке красовалась надпись про мозги, теперь было

что-то мокрое, большое и очень похожее на полушария обнаженного мозга — разделенное надвое нагромождение серо-фиолетовых бугров, извилин и кровеносных сосудов, блестящее и пульсирующее.

— Что это?

— Все то же самое, — сказала Светящееся Существо. — Постепенное созревание семян прошлого в сознании. Причины превращаются в следствия.

— Какие семена! — завизжала Барби. — Какие причины и следствия! Я что, этими сиськами думала, что ли?

— Видимо, нет, — ответило Светящееся Существо. — В этом и беда. Думать не думала, а майку надела. Зачем?

— Да просто так!

— Значит, хватило. Малейшее движение мысли может здесь воплотиться в видимый образ. Потерпите, друзья, скоро все будет позади — мы уже почти на финишной прямой... Да ты не тереби, не тереби, милая. Считай, что ты в мокрой маечке, вот и все... Ну, что дальше, умник ты наш? Какой следует вывод?

Отличник понял, что эти слова относятся к нему.

— Я еще не все продумал, — сказал он, — но Монтигомо, по сути дела, прав. Нужно все и сразу.

— А если мы не хотим всего и сразу? — откликнулась Дездемона. — Мне, например, совершенно не нужны эти змеи в ушах. Или рак простаты. Тем более что у меня ее нет.

— Тогда давайте объявим, что мы хотим всего того, что нам нравится. И одновременно. Так можно?

— Можно, — сказала Светящееся Существо. — Почему нет.

— Так просто? — спросил Телепузик.

— А зачем нам трудности? — спросило Светящееся Существо, и все засмеялись — даже Барби сквозь слезы.

— Попробую сформулировать четко, — заговорил Отличник. — Мы хотим... Мы хотим, чтобы в потребляемом продукте или услуге были представлены свойства и качества, привлекавшие нас в многообразии того, что доставляло нам удовольствие при жизни. И чтобы переживание этих свойств и качеств происходило одновременно, без всяких препятствий и границ, пространственных, временных или каких-либо еще.

— Вот юрист хренов, а? — пробормотала Родина-мать с восхищением.

— Такого не бывает, — сказала Дездемона.

— Откуда вы знаете? — спросил Отличник.

— А откуда. Если бы такое существовало, его бы рекламировали все глянцевые журналы. — Она произносила “глянцевые” через “х” и с хлюпом, так что выходило “хлямцевые”.

— Может быть, в будущем изобретут, — сказал Отличник. — Даже не может быть, а наверняка изобретут! Раз мы с вами додумались, неужели человечество не додумается?

— Просто провидец какой-то, — сказала Светящееся Существо. — Нет слов. Поаплодируем ему, поаплодируем!

Участники обсуждения сговорчиво захлопали в ладоши. Зардевшись, Отличник встал и поклонился. Но приятный момент оказался смазан: Родина-мать заметила, что очки провидца обросли какими-то ост-

рыми коготками. Пока они были короткими, но вид у них был жуткий. Отличник попытался снять очки, но не смог — оправа будто приросла к ушам.

С Телепузиком тоже творилось что-то безобразное. На его рубашке проступили цепочки красноватых пятен — они были бледными, словно на фотобумаге, которую только что бросили в проявитель, но постепенно делались все отчетливей и кровавистей. Толстяк брезгливо оглядывал себя, отводя руки от тела, словно боялся вымазаться. Казалось, что кто-то обмотал беднягу колючей проволокой и сильно потянул за ее концы, отчего шипы впились в плоть под одеждой. К счастью, Монтигомо отвлек внимание аудитории от этой мрачной картины.

— Что-то я не понимаю, как такое смогут изобрести, — сказал он, — даже и в будущем. Человек-то останется тем же, что и сейчас.

— Ну и что. Человек уже сколько тысяч лет тот же самый, а что-то новое каждый год появляется, — откликнулась Барби. — И каждый раз никто не ожидает. Я уверена, лет через сто такое изобретут, чего мы даже и представить не можем.

— Но ведь это все радикально меняет, господа, — сказал Телепузик. — Получается, что мы делаем выбор, основываясь на неполной информации. Это все равно что заказывать в ресторане обед, не прочитав меню.

— А как же еще? — спросила Дама с собачкой. — В будущее ведь не залезешь.

— Почему, — сказала Барби. — Если я правильно поняла, мы можем попросить все, что пожелаем. Так давайте для начала выясним, что мы вообще можем

пожелать. Пускай нам, что называется, покажут весь ассортимент.

Все глаза повернулись к Светящемуся Существу. Оно молчало, видимо, ожидая вопроса.

— Юрист, давай, — сказала Родина-мать. — Загни, чтоб опять никто ничего не понял.

— Мы бы хотели узнать, — заговорил Отличник, — не появится ли в будущем какого-нибудь продукта или процесса, который позволит приблизиться к тому идеалу, о котором мы говорили? То есть сделать потребление бескрайним, а удовлетворение от него бесконечным?

— Появится, — сказала Светящееся Существо.

— Хорошо, — продолжал Отличник, — а можно заглянуть в это самое будущее? Чтобы понять, о чем идет речь. Получить представление. Хоть одним глазком, а?

— Можно всеми тремя, — сказала Светящееся Существо. — Только не пугайтесь.

В следующий момент и оно само, и белый цветок, в котором оно сидело, исчезли из вида.

Стебель с тремя отростками остался на том же месте. Но теперь под ним была сцена, а перед сценой — зал, полный людей, одетых во что-то вроде разноцветных лыжных костюмов. Так, во всяком случае, показалось Отличнику, который оказался в первом ряду этого зала.

Кроме металлического стебля, на сцене была трибуна. Лыжники бешено аплодировали стоявшему на ней оратору в таком же наряде. Не обращая внимания на аплодисменты, тот продолжал говорить. Слышно из-за шума ничего не было, но слова его

речи на десятке разных языков бежали светящимися ручейками по экрану, занимавшему всю стену над трибуной. В самом верху, над полосой с китайскими иероглифами, шел английский текст:

“...nourishment and entertainment will meet and unite in a single safe, colorful, and crispy product, shimmering with nuances of taste and meaning...”

Родной язык мерцал довольно низко, и перевод отставал, зато можно было прочесть все с самого начала:

“Неуклонный прогресс человечества и развитие великой технологической революции неизбежно приведут к тому, что хлеб и зрелища встретятся и сольются в одном безопасном, хрустящем и красочном продукте, переливающимся сочными оттенками вкуса и смысла. Потребление этого абсолютного продукта будет происходить посредством неведомого прежде акта, в котором сольются в одну полноводную реку сексуальный экстаз, удачный шопинг, наслаждение изысканным вкусом и удовлетворение происходящим в кино и жизни. Это поистине будет не только венец материального прогресса, но и его синтез с многовековым духовным поиском человечества, вершина долгого и мучительного восхождения из тьмы полуживотного существования к максимальному самовыражению человека как вида, окончательный акт, где встретятся...”

Английский текст был изящнее и обходился без эвфемизмов, введенных, видимо, импровизирующим синхронистом: вместо слов “абсолютный продукт” стоял термин *entertourishment*, а окончательный акт, в котором встречались все земные радости, был обозначен как *shopulation* — видимо от *shopping*, скрещенного с *copulation*.

Отличник задумался о том, как перевести эти термины. Ничего лучше, чем колхозный оборот “ебокупка хлебозрелища”, не пришло в голову. Чтобы подчеркнуть протяженность процесса во времени (хотелось, понятное дело, чтобы он длился как можно дольше), можно было заменить “ебокупку” на “покупоебывание”, но все равно выходило коряво. Решив посмотреть, как с этим справились переводчики-профессионалы, он опустил взгляд на ту часть табло, где появлялся перевод, но опоздал.

Зал и трибуна с оратором пропали так же мгновенно, как перед этим возникли, и все увидели Светящееся Существо. Цветок, в котором оно возлежало, зажегся над металлическим стеблем одновременно с тем, как лыжники растворились во тьме. Сам стебель снова остался на том же месте, и у Отличника мелькнула неприятная мысль, что это какая-то антенна, которая излучает одно наваждение за другим.

Несколько секунд все молчали, приходя в себя.

— Скажите, — нарушила тишину Родина-мать, — а что это такое, что вы тут нам показываете? Будущее?

— Объемное кино, — бросил Телепузик. — Или галлюцинация.

Пятна на его рубашке успели стать ярко-красными.

— Что они, рай на земле построят? — сказала Дездемона. — Завидно.

— Не надо завидовать, — сказала Светящееся Существо. — Если они и построят рай на земле, неужели вы думаете, что у вас не будет его на небе? Все лучшее, что создано мыслью человека, навсегда достанется человеку, потому что...

Светящееся Существо сделало интригующую паузу.
— Потому что кому еще это нужно? — спросило оно шепотом и засмеялось.

— Нет, правда, что это такое? — спросила Дама с собачкой. — Объясните кто-нибудь.

— Рассуждая логически, — сказал Монтигомо, — эта штука должна быть устройством, которое осуществляет то, о чем мы говорили. Во всяком случае, если окажется, что это зубоврачебный аппарат новой модели, я буду очень удивлен.

— Пускай они объяснят, — застенчиво молвила Родина-мать.

— Как вы проницательно догадались, — сказала Светящееся Существо, — это аппарат, который появится на земле через много лет. В нем воплотится многовековая мечта человечества, о которой само человечество даже не догадывалось все эти века, хотя отгадка была так близко, что вы сегодня нашли ее без всякого труда путем элементарного логического анализа. Но это не просто машина. Это нечто гораздо большее...

— Я знаю! — завопил Отличник. — Я понял! Только что осенило!

Светящееся Существо замолчало.

— Это второе пришествие! — выпалил Отличник.

— Не говорите глупостей, — бросил Монтигомо.

— Конечно! — продолжал Отличник. — Люди ждут, что Бог придет к ним в виде человека. Как две тысячи лет назад. Но почему они так думают, никто не может объяснить. А для чего Богу ветхое человеческое тело? Чтобы его опять прибили к доскам? Нет уж, спасибо! Помним!

Он обвел всех горящим взглядом.

— Знаете, есть такое выражение — *Dei ex Machina*? Когда автор греческой трагедии не справлялся с сюжетом, на сцену спускался Бог в специальной сценической машине и решал все проблемы. Вот что нужно человечеству. Оно так запуталось со своим сюжетом, что дальше просто некуда. Так почему Бог не может протянуть нам руку из машины? Божественной машины? И не просто руку — руки! Этих машин нужно огромное количество, как телевизоров или холодильников... Чтобы вместо одной сломанной появлялось две новые... Правда? Угадал?

— Поразительная острота мышления, — сказала Светящееся Существо. — Скажем так, ты прав настолько, насколько человек может быть прав, рассуждая о сверхчеловеческом. Действительно, после изобретения этой машины начнут циркулировать слухи о втором пришествии. Но ведь так было и после появления ЛСД. Поэтому я не стану говорить, что ты угадал. Или не угадал. При любом варианте возникнет много вопросов, не имеющих ответа.

— А что по этому поводу сказано в Священном писании? — спросила Дама с собачкой.

— Писание говорит так: “Дух дышит где захочет”, — сказал Монтигомо. — Машина нигде не исключается, насколько я помню.

— А что они такого хорошего сделают в будущем? — спросила Дездемона. — За что им рай при жизни?

— За то же самое, за что и вам, — сказала Светящееся Существо. — Просто так.

— Вот именно, — добавил Монтигомо. — Если бы в рай по заслугам брали, там бы один Бог сидел. Ни-

кто больше не попал бы. Спасение не по заслугам, — он покосился на Светящееся Существо. — Только по милосердию. А раз по милосердию, чего удивляться. Милосердие ведь беспредельно. Мы, я думаю, про себя такое могли бы рассказать...

— Это уж точно, — сказала Дездемона и сплюнула.

— Я одного не понимаю, — сказал Отличник, стараясь побыстрее уйти от скользкой темы, — как именно это произойдет? Сначала люди построят аппарат, а потом Бог в него снизойдет? Или Бог сам явит себя в виде устройства?

— Быть может, Бог явит себя в виде устройства, которое построят люди, — глубокомысленно заметил Монтигомо.

— Скажите, — попросила Дама с собачкой, подняв глаза на белый цветок-кресло. — Интересно.

— Не могу, — отозвалось Светящееся Существо. — Это так называемый философский вопрос — как и со вторым пришествием. Я на такие не отвечаю. Понятия, которыми вы оперируете, не указывают ни на что, кроме самих себя, а сами по себе они ничего не значат. Спроси что-нибудь конкретное, хорошо?

— Как он называется, этот аппарат? — спросил Тепузик.

— У него будет много разных названий. Его будут называть даже *Playstation 0*, что, я думаю, заинтересует нашего вундеркинда...

Отличник широко ухмыльнулся. Ему нравилось персональное внимание Светящегося Существа.

— Но это из области шуток. Шире всего он будет известен потребителям как *Ultima Tool* — по имени

самой распространенной модели. В просторечии его станут называть “Рай-машиной”. А его техническое наименование — “Глоботрон”.

— Почему такое слово? — нахмурилась Родина-мать. — От глобализма?

— Успокойтесь, к глобализму это никакого отношения не имеет, — ответило Светящееся Существо. — Название связано с принципом действия. Аппарат воздействует на G-структуры лобных долей головного мозга, синхронизируя поступающие по нервным каналам сигналы таким образом, что возникает эффект, называющийся когнитивным резонансом. Благодаря этому и происходит то, о чем так проницательно догадался наш вундеркинд. Но это физическая сторона, которая в нашем случае не играет никакой роли. Ведь тел у вас уже нет...

— То есть что, мы уже не сможем попробовать? — разочарованно спросила Барби.

— Можете, — отозвалось Светящееся Существо. — Если захотите.

— А как? Теперь уже я не понимаю, — сказал Отличник. — Ведь лобных долей мозга у нас больше нет. На что же этот аппарат будет действовать?

— Второе пришествие, — сказал Монтигомо, — происходит для мертвых так же, как для живых. По всем источникам так. Значит, этот опыт должен быть доступен нам в измерении чистого духа. Правильно?

— Да, — согласилось Светящееся Существо. — Наверно.

— Вот только что представляет собой эта процедура? — спросил Монтигомо. — Я имею в виду, как духовный опыт?

Светящееся Существо задумалось.

— Можно сказать, — отозвалось оно, — что это прыжок в самый источник того счастья, отблеск которого вы ловили в каждом акте потребления.

— И как называется эта... это действие? — спросил Телепузик. — Глоботомия?

Дездемона пробормотала что-то вроде “молчал бы уж”, но Светящееся Существо раскатисто захохотало — оно, несомненно, получало искреннее удовольствие от беседы.

— Да называйте как хотите, — сказала оно, отсмеявшись. — Какая разница.

— Скажите, — спросил Монтигомо, — а все чувствуют одно и то же?

— Сейчас вы все узнаете сами, друзья, — ответило Светящееся Существо, — и эти вопросы исчезнут. Пора начинать — время подходит к концу.

— Как, прямо так сразу? — спросила Родина-мать.

— А как же еще?

Послышалось тихое жужжание, и стебель цветка ожил — засветился зеленоватым огнем, и три его отростка раскрылись. Верхний распустился веером серебристых пластин, которые изогнулись, образовав углубление в форме человеческого лица. Второй отросток, в полуметре ниже, преобразился в пластину, похожую на ладонь с оттопыренным вверх большим пальцем. Нижний превратился во что-то вроде велосипедного седла. Словно флюгера разной формы, подхваченные ветром, все три отростка повернулись в одну сторону.

Метаморфоза заняла несколько мгновений и напомнила Отличнику компьютерную анимацию. Ему

показалось, что серебристый веер со вдавленным лицом походит на авангардный писсуар, отчего устройство можно принять за скульптуру, соединившую в себе эстетику *New Age* с идеями Марселя Дюшана. Но он не стал делиться этим наблюдением со Светящимся Существом.

Зеленоватый свет исходил из крохотных дырочек, покрывавших всю поверхность аппарата; когда он зажегся, стали видны струйки пара, окружавшие конструкцию. Аппарат дымился, как ящик мороженщика в жаркий день, и казалось, что он дышит. Было непонятно, из чего сделано это устройство — его детали блестели, как металлические, но так мог выглядеть и полированный камень, и пластик. Да и вообще, подумал Отличник, можно ли говорить, что все это из чего-то сделано? Из чего все состоит в загробном мире? Думать об этом было страшно.

Барби брезгливо поглядела на свою грудь.

— Я первая, — сказала она и встала. — Что надо делать?

— Подойди к аппарату, — сказало Светящееся Существо. — Теперь зажми нижний электрод ногами. Нет, не так. Представь, что садишься на велосипед... Вот, хорошо. Теперь сложи ладошки так, чтобы второй электрод оказался точно между ними... А теперь прижми лицо к верхнему. Представь себе, что это маска, которую ты примеряешь...

С полусогнутыми коленями и молитвенно сложенными ладонями стоящая перед аппаратом Барби казалась чем-то средним между грешницей на исповеди и ныряльщицей на краю бассейна.

— А больно будет? — спросила она.

— Наоборот, совсем наоборот, — ласково отозвалось Светящееся Существо.

Шмыгнув носом, Барби наклонила голову к серебряному писсуару, и ее лицо скрылось за веером пластин. Опять послышалось жужжание, как будто заработало множество крохотных электромоторов, и пластины прижались к голове Барби, охватив ее со всех сторон.

Вслед за этим произошло нечто невообразимое.

Раздался хлопок (звук был вроде того, что издает унитаз в пассажирском самолете, только намного сильнее), и Барби исчезла. Выглядело это так, словно она была облаком тумана или дыма, которое мгновенно втянули в себя три выступающие части аппарата: руки всосала в себя плоская ладонь, ноги и живот — дырчатое седло, а голова и торс исчезли в веере пластин со вдавленным лицом.

— Трах-тарарах, — сказала Светящееся Существо. — Вот оно какое, счастье.

Все потрясенно молчали. Телепузик обвел остальных глазами, словно чтобы убедиться, что и они видели то же самое. Встретив его взгляд, Дама с собачкой пожала плечами.

— Куда она делась? — спросил Монтигомо.

— В каком смысле? — переспросило Светящееся Существо.

— Ну, где она? Что случилось с ее телом?

— То же, что и с твоим, — ответило Светящееся Существо. — Оно умерло. Поймите, то, что вы принимаете за тела, есть просто привычка ума, воспоминание, которое постепенно начинает стираться под действием новых впечатлений. Так вот, только что она

получила столько новых впечатлений, что воспоминание о теле и всем, что с ним связано, стерлось полностью и окончательно. А вместе с ним и воспоминание об этих ужасных мозгосиськах. Кстати, друзья, есть предположения, что они могли думать? Наверно, как с полушариями — правая рациональная, а левая...

— Я не про это, — перебил Монтигомо. — Где она теперь?

— На этот вопрос каждый сможет ответить только сам, отправившись туда же. И не потому, что я что-то скрываю. Тут мало что можно объяснить.

— Вы как хотите, — сказала Родина-мать, — а я в эту душегубку не пойду.

— И я тоже, — сказала Дама с собачкой. — Вы что же, нас испарить хотите?

Светящееся Существо рассмеялось.

— Испаритесь вы сами, — сказала оно, — без всякой помощи. Подождите еще часок-другой, и испаритесь. Или хуже.

— Что значит — хуже? — спросила Дездемона.

— Кто знает. Сложно предсказать, куда метнется испугавшийся себя ум. Один может стать говорящим роялем, обреченным на вечное одиночество. Другой — болотной тиной, думающей одно и то же десять тысяч лет. Третий — запахом фиалок, наглухо запаянным в ржавой кастрюле. Четвертый — отблеском заката на глазном яблоке замерзшего альпиниста. Для всего этого есть слова. А как насчет того, для чего их нет?

— Роялем? — повторил Монтигомо. — Запахом фиалок?

— Это не самое страшное. Куда серьезней другое. Нет никакой уверенности, что, став затерянной

в космосе заячьей лапкой, вы будете помнить, что эта лапка — вы. Понимаете? Вы — это вы, пока вы помните, что это вы. А если вы этого не помните, так это, наверно, уже и не вы? — Светящееся Существо тихонько засмеялось. — Или все еще вы? Величайшие философы человечества были бессильны ответить на этот вопрос. Тем более что сами не были уверены, они это или нет... Если серьезно, то никто не гонит вас в счастье насильно. Вы сделали выбор. Вот ведущая к нему дверь: Войдите в нее, пока вы еще помните, как ходят! Никто не знает, что случится, когда вы разбредетесь по бесконечности, откуда никто не возвращается назад.

— И что, со всеми будет то же самое, что с этой бедняжкой? — спросила Дама с собачкой. — Я имею в виду, нас так же разорвет на клочки?

— Все зависит от того, чем занят в последнюю минуту ум. Это как салют — одна вспышка голубая, другая розовая. Один залп дает стрелы, другой — гирлянды.

— А это точно не больно? — спросил Телепузик.

— Да будьте же вы мужчиной. Не бойтесь.

Это, видимо, задело Телепузика.

— А кто вам сказал, что я боюсь? — спросил он, вставая.

Когда он подошел к аппарату, стало видно, что его брюки сзади словно разъело кислотой — на задугах и икрах появились дыры, сквозь которые виднелось тело в красных пятнах. Сам он, похоже, не знал об этом, поскольку не пытался прикрыться. Монтигомо издал стон отворачивания. Похожий звук вырвался и у Дамы с собачкой, но Телепузик не об-

ратил внимания, решив, видимо, что это реакция на его общую неуклюжесть. Утопив сиденье в складках своего тела, он принял позу благочестивого ныряльщика.

— О чем думать? — спросил он.

— Представь себе сад, полный румяных яблочек, — сказала Светящееся Существо. — Я шучу. Впрочем, можно действительно представить такой сад или какой-нибудь другой позитивный образ. Можно негативный. Это не особо важно. Наклоняем голову...

Телепузик последний раз поглядел на товарищей по последнему путешествию, словно стараясь увидеть что-то в их глазах, но, видимо, не нашел того, что искал. Выдохнув, он уронил лицо в писсуар.

На этот раз все случилось иначе. Как только лицо Телепузика оказалось внутри металлической выемки, его тело вздулось, одновременно став прозрачным, словно воздушный шарик. Все произошло практически мгновенно — прозрачные ноги оторвались от дырчатого сиденья и взлетели к потолку, а руки раскинулись в стороны, словно короткие крылышки. Раздался такой же хлопок, как в прошлый раз.

— Никого не забрызгало? — поинтересовалось Светящееся Существо. — Шутка... Сиденье дезинфицируется. Тоже шутка.

— Теперь я, — сказала Дездемона. — А то уши болят.

По оттянувшимся вниз мочкам было видно, как тяжелы стали ее серьги; они заметно шевелились. Как только Дездемона приняла требуемую позу, ее тело дернулось и превратилось на секунду в короткий толстый кнут, который оглушительно щелкнул в воздухе и исчез. Отличнику показалось, что он разглядел

на кнуте чешуйки и зигзагообразную полосу, но все произошло слишком быстро, чтобы можно было сказать наверняка.

Следующей в бесконечное счастье отправилась Родина-мать. Подойдя к аппарату, она несколько минут внимательно его разглядывала.

— Хотела бы я дожить до дня, когда эту машину построят! — сказала она.

— Так ты до него и дожилась, — ответило Светящееся Существо.

— Ну, в общем, да, — без энтузиазма согласилась Родина-мать. — Можно и так сказать.

— В чем разница?

Родина-мать пожала плечами.

— Все-таки, — сказала она.

Монтигомо поднял руку.

— Хочу спросить, — сказал он. — Можно?

— Валяй.

— Может, это праздное любопытство. Но все таки мне интересно, а потом вопросы задавать будет, я думаю, уже поздно...

— Давай без предисловий, лапочка. Время не ждет.

— Я вот чего никак не могу понять. Когда душа попадает в рай, с ней случается лучшее из возможного. Но разве может лучшее из возможного меняться каждый год?

— А почему нет?

— Тогда это будет уже не лучшее. Тогда сегодня рай будет не тем, чем вчера, а завтра не тем, чем сегодня... Это даже звучит странно... Правда? Разве могут в высшем порядке вещей происходить такие же скачки и шатания, как на земле?

— А сам как думаешь? — спросило Светящееся Существо.

— Думаю, что нет.

— Правильно. В чем же тогда вопрос?

— Вы ведь сказали правду? Про то, что в будущем построят такой аппарат?

— Конечно. Я всегда говорю правду.

— А тем, кто попадал сюда до нас, вы тоже говорили правду?

— Естественно.

— И они тоже видели перед собой этот, как его... Глоботрон?

— Родной мой, для тебя это глоботрон. А у них просто не возникало вопроса, что это такое. Чудо — оно и есть чудо.

— А что вы показывали тому же древнему египтянину? Или христианину?

— Каждому свое, извиняюсь за каламбур. Только показываем не мы. Вы все показываете себе сами, понимаете? Египтянин видел загробную реку и восход новой жизни. Христиане, прячась за ветками своих любимых яблонь, наблюдали второе пришествие Христа и вообще весь свой видеоклип, в котором высшее блаженство исходит от гвоздей. Сейчас все стало проще. Если бы вам, взыскательным потребителям, стали что-то говорить про Божью любовь, вы резонно попросили бы воплотить ее в чем-нибудь осязаемом. Как вы, собственно, и сделали. Поэтому с практичными людьми мы с самого начала решаем вопрос в практической плоскости. Хотя, конечно, встречаются исключения... Тут перед вами один интересный пассажир был. Белые чулочки, ослиные уши на тесем-

ке — непростая душа. Целый час на меня кидался. Я, говорит, слышал, что в Бардо к свету идти надо. Я его спрашиваю — так чего ты тогда все время крестишься? На всякий случай, говорит...

Светящееся Существо заразительно засмеялось.

Вдруг в зале полыхнуло багровым пламенем, и раздался оглушительный удар. Родина-мать, про которую совсем забыли, исчезла, не попрощавшись, и вокруг аппарата теперь висело постепенно растворяющееся облако пара.

— Уй, напугала, — пробормотало Светящееся Существо.

— Так, значит, всем прежним душам вы говорили неправду? — спросил Монтигомо.

— Неправду? Да почему же неправду. Давайте я еще раз объясню, и хватит разговоров, идет?

— Хорошо, — сказал Монтигомо. — Только чтобы я понял.

— Понимание зависит от вас, не от меня, — сказала Светящееся Существо. — Мост к бесконечному счастью, про который мы говорим, вовсе не соединяет вас с чем-то внешним, с какой-то реальностью, существующей в другом измерении. Я всего лишь помогаю вам найти дорогу к самим себе. Я соединяю то, к чему вы всю жизнь стремились, с тем, что туда стремилось. При этом происходит, если так можно выразиться, короткое замыкание субъекта с объектом. Но обе эти части — просто полюса магнита. Просто половинки вашего существа, как два полушария мозга, как правая рука и левая. Ваши мечты — это и есть вы сами, и если вы стремитесь к чему-то внешнему, то исключительно из-за непонимания того, что

внешнего нет нигде, кроме как внутри, а внутри нет нигде вообще. Часто окружающий вас кошмар так беспросветен, что вы говорите — нет в жизни счастья... Может быть, его там и нет. Но раз вы знаете, чего именно там нет, значит, оно есть где-то еще. И если вы знаете, какое оно, оно уже присутствует в вас самих. Это и есть рай. Так вот, мост в это счастье всегда один и тот же. В том смысле, что не меняются те точки, которые он соединяет. А вот архитектурные особенности этого моста в каждую эпоху различаются. Он может иметь множество опор и быть прямым как стрела. Он может висеть на тросах. Он может изгибаться колесом. Его могут украшать статуи мраморных красавиц или жуткие серые химеры. Но это не играет роли, потому что мост нужен только для того, чтобы перейти его. Потом он исчезает. А то, как именно он выглядит, — совершенно произвольная частность, которая не имеет никакого отношения ни к правде, ни ко лжи...

— Так что, христианам прошлого вы показывали Иисуса Христа, а нам показываете какой-то аппарат, и все это правда?

— Именно так.

Монтигомо подумал еще немного.

— Но ведь будет одно из двух. Либо одно второе пришествие, либо другое. Ведь не может этот аппарат существовать в одном мире с воскресшим Иисусом. Так что же действительно случится в будущем?

— В будущем случится следующее. Вы по очереди встанете, подойдете к глоботрону и испытаете лучшее, что приберегли для вас жизнь и смерть. И там, я уверяю, вы найдете ответы на свои вопросы. Ибо

забыть вопрос ввиду его полной никчемности тоже означает ответить на него. Причем более полного ответа не бывает, потому что тем самым вопрос исчерпывается окончательно.

Светящееся Существо еще говорило, когда Монтигомо решился. Бормоча что-то неслышное — может быть, молитву, — он подошел к цветку и принял требуемую позу. Раздался треск, и он превратился в три фонтана радужного пара, словно от каждого из электродов пустили вверх струю брызг из гигантского пульверизатора.

— Как в парикмахерской, — весело сказала Светящееся Существо. — Ну а теперь ты, мой любимчик. Последний. Иди скорее к своей окончательной *Playstation*. Все-таки ты у меня настоящий провидец. Как ты говорил? Хотелось бы играть в игры, где все свежие впечатления сжаты в минимальном объеме времени? Вот оно, перед тобой. Прямо по индивидуальному заказу.

Отличник осторожно потрогал оправу своих очков. Теперь она казалась сделанной из живой колючей проволоки — ее шипы медленно шевелились, словно начиная понемногу приходить в себя.

— А где Дама с собачкой? — спросил он. — Собачку вижу, вон лежит. А сама она где?

— Уже отправилась.

— Когда это?

— А ты в это время что-то говорил, — ответило Светящееся Существо. — Просто не обратил внимания.

— Разве? — подозрительно переспросил Отличник. — А собачку что, бросила?

— Женщины — вздорные, переменчивые и пустые создания, — сказала Светящееся Существо. — Им вообще не свойственно такое чувство, как привязанность. Они его только имитируют, чтобы войти к человеку в доверие. Теперь, когда мы остались вдвоем, можно говорить об этом открыто. Разве это не так?

— Не буду спорить, — сказал Отличник. — У меня вопрос.

— Валяй.

— Что будет потом?

— Потом? Когда потом?

— Ну, после того, как это... Произойдет. Что со мной будет потом?

Светящееся Существо несколько секунд молчало, словно соображая.

— А, вот ты о чем. Ничего.

— Простите?

— Ну подумай сам. Сейчас с тобой случится самое лучшее из того, что только может быть. Ты ведь не хочешь, чтобы потом было хуже?

— Нет.

— Так его и не будет.

— То есть как?

— Да так. Зачем оно. Время ведь штука субъективная. Ты умный человек и должен это понимать. Сколько, по-твоему, длилось заседание фокус-группы?

— Часа три, — сказал Отличник. — Или даже четыре, если с самого начала, пока знакомились.

— Ошибочка. На самом деле прошла всего секунда.

— Как одна секунда?

— Так. Видишь, какой она может быть долгой. И это не предел. А теперь тебе пора.

— Почему вы так уверены, что я отправлюсь вслед за этими баранами? — спросил Отличник.

Светящееся Существо промолчало. Отличник обвел взглядом окружающую тьму, словно соображая, куда бежать. Вдруг он вскрикнул и схватился за лицо.

— Вот поэтому, — сказала Светящееся Существо. — Выбор у нас есть. Но он, как всегда, диалектический.

Отличник кое-как добрался до аппарата и сжал ногами нижний электрод. На несколько мгновений боль отпустила, и он оторвал руки от лица. Его глаза были залиты кровью. Стекла очков покрывала сетка трещин.

— Не понимаю, чего ты дожидаясь, — сказала Светящееся Существо. — Свобода рядом.

Отличник увидел на металлической штанге перед своим лицом маленький логотип — черное слово *GLOBO* в желтом картуше и веселую красную надпись *Die Smart!*¹.

— Последний вопрос, — сказал он. — Честное слово, самый-самый последний.

— Слушаю, — терпеливо сказала Светящееся Существо.

Отличник открыл рот, но времени у него действительно не осталось. Очки изогнулись и впились ему в глаза. Он взвыл и попытался сбить их с лица, но это не получилось. Тогда он начал хлопать перед собой в ладоши, словно аплодируя происходящему с ним кошмару. С пятой или шестой попытки ему удалось поймать пластину электрода для рук. Он уронил голову в углубление серебряного писсуара, и тогда...

Светящееся Существо как-то поскучнело. Некоторое время оно сидело в своем цветке, тихонько

¹ Умирай по-умному! (англ.).

покачивая капюшоном. Постепенно капюшон перестал светиться, опал, и вниз по металлическому стеблю проплыло округлое утолщение — словно проглоченный кролик спускался по пищеводу удава. Дойдя до основания стебля, утолщение вывалилось наружу в виде чего-то похожего на дыню в сморщенном кожаном мешке.

Одновременно с этим сделался виден окружающий мир, скрытый до этого мраком. Вокруг, во все стороны до горизонта, лежала каменистая пустыня. Из нее торчали блестящие штыри, под которыми подрагивали в пыли продолговатые кожистые яйца. Над некоторыми стеблями мерцали таинственным огнем белые цветы, но их окружали коконы черного тумана, и они были видны еле-еле, как сквозь закопченное стекло.

Небо над пустыней было затянуто тучами. Их разрывал похожий на рану просвет, в котором сияло что-то пульсирующее и лиловое. Из просвета вылетали сонмы голубых огоньков. Они опускались вниз, закручивались вокруг светящихся цветов и, исполнив короткий сумасшедший танец, с треском исчезали в их металлических стеблях. Изредка один или два огонька вырывались из этого круговорота и уносились назад к небу. Тогда по металлическим цветам проходила волна дрожи, и над пустыней раздавался протяжный звук, похожий то ли на сигнал тревоги, то ли на стон, полный сожаления о навсегда потерянных душах.

Роман Сенчин

Очистка

Генка вывалился из универмага, толкая входящих и выходящих.

— Раздись, ёптель! Дорогу, бляха!

Люди послушно шарахались от него, кто морщился, кто отворачивался.

На улице хороший мартовский день. Тает снег, солнце светит ярко, припекает даже.

— Ё-о! — громко хрипит Генка, сдвигая плешивую кроличью шапку на затылок. — Бля буду — весна!

Он, шатаясь, бредет по тротуару. Никто не хочет с ним столкнуться, обходят.

— Эй, землячка, погоди! — пытается заговорить Генка с миловидной женщиной. — Давай, эт самое... Я плачу! Ну-у...

Замечает курящего парня.

— Во, зёма, стоять!

Парень, замедлив шаг, недружелюбно смотрит на Генку.

— Зёма, дай, бля, покурить. Курить хочу охренеть как! — Принимает сигарету. — Во, и огоньку. Зашибись! Держи копыто!

Топают дальше. Улица широкая, чистая. Весна, солнце. Люди кругом, жизнь. Сигарета гаснет.

— Э-э, бля! Ну, ёп-та! Сука, бля!

Генка стоит посреди тротуара, шатается, крутит в руках окурки.

— Ён-ный рот!

Он расстроен.

— Твою-то мать!..

Прохожие сторонятся, обтекая пьяного. Какой-то пожилой, плотный дядя не может пройти мимо. Встал перед Генкой.

— Чего раскричался? — спрашивает.

— А те хер ли надо? А?

— Чего орешь-то? Постеснялся бы, — грустно говорит дядя. — Заберут ведь.

Генка не понимает:

— Че, ветеран? Медаль есть, ёп-та? Че ты, бля, лезешь?

— Эх, ты-ы! — качает головой пенсионер.

— Рот закрой!

— Научился...

— Рот, говорю, закрой! Пень тухлый. Медаль, да? И че?.. Вали дальше, бля!

— Научился... Домой бы ступал, проспался хоть.

— У-у! Затрахать решил, да?!

— Молоде-ец... — И пенсионер медленно идет дальше, убедившись, что этого не исправишь.

Генка еще долго стоит, хрипит, размахивает руками, потом тоже двигается по улице. Споткнулся, упал. Потерял окурок.

— Ох, бляха-муха-та!

Встал, огляделся по сторонам.

А день-то кончается. Солнце скатилось за пятиэтажки. Грустно, обидно... Генка заводит песню:

— Да красноярское солнце, да над проклятой тайгой!..

К Генке подходят. Двое высоких, хорошо одетых парней. С приятными лицами.

— Подожди-ка, — говорит один, беря Генку за локоть.

— Чего?

— Давай пройдем сюда.

Они подталкивают Генку к забору.

— Чего, ёп-та? — удивляется Генка.

И вот за забором. Тут намечалась когда-то стройка. Котлован, на дно его сочится рыжая вода. Вокруг кучи земли, бетонные плиты.

— Чего надо, бляха?

— Вот сюда...

Заводят за штабель плит, ближе к котловану.

Генка испуган:

— Зёмы, вы че?..

— Давай, Андрей, — кивнул тот, что держит Генку за локоть.

Андрей вынул из-под пуховика молоток.

— Зёмы?!

— Мы не зёмы. Мы очищаем город от мрази. Андрей!..

— Зё-о!..

Рот Генке закрывают рукой в мягкой перчатке, резко наклоняют вперед. Шапка слетает с головы, катится в котлован. Андрей коротко размахивается и крепко бьет Генку молотком по затылку раз и второй.

Михаил Елизаров

Сифилис

Тихого нрава и покладистого характера, секретарша Лариса Васильевна рассчитывала прожить долгую жизнь. Для этого она избегала всего короткого: носила только длинные платья, отпускала волосы и ногти, делала при ходьбе широкие шаги, читала многотомные эпопеи, а встречающиеся в речи маленькие слова увеличивала ласкательными суффиксами.

Однажды Лариса Васильевна поела постного борща и вспотела запахом фасоли. Она приняла душ, и у нее заболело горло. В зеркальце она увидела, что гланды облеплены коричневыми корками, полость рта воспалена, а основания десен тронуты язвочками, похожими на творожные крошки.

Лариса Васильевна растолкла в стакане таблетку фурацилина и приготовилась залить ее кипятком, но от полоскания отвлек телефон.

— У тебя “Маяк” ловится?! — спрашивала подруга. — Включай немедленно!

Лариса Васильевна повертела колесико регулятора радиочастот. Из мембраны отошли влажные, обильные хрипы, и бодрый диктор сказал:

— ...обязаны помнить! Какая бы ни сложилась ситуация — горе, радость, обида — вы не должны брать в рот. Ничто не сможет заставить вас изменить своему решению. Мы проводим наши беседы, чтобы навсегда избавить вас от этой пагубно-губной привычки. От вашей воли зависит благополучие в семье и на службе. Итак, настроение у вас отличное, брать в рот вам противно! Слушайте и исполняйте: сверните газету в трубочку, поднесите ко рту... Вас стошнило! Вы здоровы!

— Ты слышала?! — перезвонила подруга. — Чудовищная пошлость!

— Они готовы залезть к нам в постель, — полусмеясь отвечала Лариса Васильевна...



Две недели назад начальник Мнухин вызвал ее в кабинет.

— Сядьте, Лариса Васильевна, — он оттянул пальцем щеку и прегадко щелкнул, — нам нужно поговорить... Не секрет, Лариса Васильевна, что моя семейная жизнь не сложилась. Я буду откровенен. Жену я выбирал с учетом внешних данных — чтоб не зарились.

Мнухин, карманный толстяк со сдобной харей, нервно хохотнул, а Лариса Васильевна сжалась в предчувствии нехорошего.

— Во время родов у жены произошел разрыв промежности, после чего она страдает недержанием... Это выше моих сил, я не могу ее бросить, но спать с ней я тоже не могу, поэтому...

Лариса Васильевна тупо рассматривала узоры на линолеуме...

— Я увольняю вас! — У Мнухина содрогались губы. — Вы презираете меня как мужчину...

— Я очень уважаю в вас мужчину и руководителя, — мертвым ртом сказала Лариса Васильевна.

— Тогда становитесь на колени! — приказал он.

Лицо Ларисы Васильевны оказалось на одном уровне с поясной пряжкой Мнухина. Она расстегнула ему ширинку. В ноздри ударил тяжелый аромат

мнухинского лосьона, а сам Мнухин изнемогающе застонал...



Утром горло не болело, но значительно увеличились лимфатические узлы, сделавшиеся подвижными и болезненными. Крылья носа слегка отеки и покрылись колониями пузырьков, каждый не больше макового зерна. В ванной ждал еще один сюрприз — белесоватые, будто бы пенящиеся, выделения из влагалища.

“Все-таки простудилась”, — решила Лариса Васильевна и приняла таблетку.



— Что с лицом? — нагловатым тоном спросила баба из отдела снабжения.

— А что? — смутилась Лариса Васильевна. Она полутра гримировала свои кожные дефекты, и, как оказалось, напрасно.

— Вроде герпеса... — Баба брезгливо приняхалась. — Вечно у вас тут вонища! — и выбежала прочь.

Оставшись одна, Лариса Васильевна полезла в сумочку за косметичкой. Действительно, еще недавно свежие пузырьки возле носа ссохлись в струпики. На лбу же появились небольшие, красноватой окраски, сидящие близко друг к другу, уплощенные узелки. Их расположение напоминало своеобразную диадему. Лариса Васильевна густо напудрилась и вернулась к бумагам.



Дома она около часа по сантиметру инспектировала свое тело. На ногах проступили сосудистые пятна, на боках, груди и животе возникла сливная сыпь с гнойничками. При сдавливании гнойничок разрешался кровянистым и мутным содержимым. В местах тесного соприкосновения тела с бельем остались крупные, возвышающиеся над уровнем здоровой кожи бляшки, как после ожога крапивой. Вокруг шеи пигментация сделалась несколько темнее и приобрела сероватый оттенок. На его фоне расположились более светлые островки, создающие впечатление плохо вымытого тела. На ягодицах, изощрившись, Лариса Васильевна увидела неприятные красновато-синюшные припухлости.

“Наверное, пятна и сыпь из-за синтетики”, — мужественно успокоила себя Лариса Васильевна. Она сделала марганцевые примочки, кое-где обтерлась детским кремом, зудящие воспаления смазала йодом.



Пробуждение ознаменовалось дополнительной резью в глазах. Эрозии правильных округлых очертаний стягивали кожу обоих век. В паху отчетливо прощупывался лимфатический узел размером с каштан.

“Тянуть некуда”, — сникла Лариса Васильевна и, отпросившись с работы, поехала в кожно-венерологический диспансер.



— Дайте ваш паспорт, — морщась, сказала из окошка регистраторша, — и заполните талон. Образец на стенде...

— Вам куда: к дерматологу или к венерологу? — Регистраторша приняла талон и вклеила в карточку.

— Мне справку... для бассейна, — робко схитрила Лариса Васильевна.

— Поднимитесь по центральной лестнице, потом прямо по коридору, кабинет номер девять, врач Прущ Николай Георгиевич.

Лариса Васильевна взяла карточку и отправилась на поиски девятого кабинета.

Она заблудилась. Вместо того чтобы идти по указанному маршруту, она, обогнув центральную лестницу, пыльными ступенями спустилась вниз, в подвальный коридор, облицованный простенькой плиткой, одинаковой на полу и на стенах.

Коридор все петлял и петлял, сложенные шалашиком носилки сменялись стойками для капельниц, в разобранном виде лежали лампы из операционных. Озабоченная своими несчастьями, Лариса Васильевна не задумывалась над тем, что, скорее всего, попала в подсобное помещение. Она цокала по коридору минут десять, но не встретила ни пациентов, ни санитарок. Слегка настораживало отсутствие привычного для больницы запаха хлорки. Лариса Васильевна по-хозяйски определила, что уборку здесь производили давненько. Вдоль стен уже не было больничного инвентаря, только древние эмалированные ведра с красными надписями “Обед” и “Йод” да битый кирпич.

“Возвращаться бессмысленно, — вздохнула Лариса Васильевна. — Если коридор не закончится тупиком, я выйду к лестнице, ведущей наверх...”

Коридор неожиданно оборвался. Она стояла перед дверью. Лариса Васильевна попыталась было ее отворить, но та не поддавалась, так как придерживалась двумя загнутыми гвоздями, исполняющими функции задвижек. Лариса Васильевна отогнула гвозди и открыла дверь.

Коридор продолжался дощатым полом и стенами, уже без плитки, но чисто выбеленными. Под потолком на шнуре раскачивалась старотипная лампа, с нитью накаливания толщиной в палец, мерцающая тусклым оранжевым светом.

Послышались голоса, Лариса Васильевна прибавила ходу и через поворот вышла в больничные покои. Она подивилась своей интуиции. Над дверью кабинета, у которого образовалось что-то напоминающее очередь, красовалась большая цифра 9, а чуть ниже крепилась табличка с надписью “Доктор Борзов”.



— Кто крайний? — Лариса Васильевна вопросительно оглядела присутствующих. Парень с крестьянским лицом, расстелив портянки, студил на сквозняке босые ноги. Старуха питалась из узелка чем-то отвратительным. Молодая женщина в шляпке с вуалью барабанила пальцами по сумочке с самым безучастным видом.

К Ларисе Васильевне приблизилась извивающаяся, как вьюн, цыганка. На руках ее спящий ребенок шумно сопел слипшимися от гноя ноздрями.

— Проживешь, милая, девяносто три года, будет у тебя пятеро детей, через два года твой муж помрет, еще раз выйдешь замуж, родишь шесть детей, второй муж тоже помрет, выйдешь за третьего, — нараспев пробормотала цыганка.

— Не слушайте глупую бабу, дамочка, — отозвался из угла пожилой одноногий солдат и занялся набиванием трубки.

— Значит, никого в девятый? — переспросила сбитая с толку Лариса Васильевна и, с молчаливого согласия очереди, зашла в кабинет.



За массивным столом с конторками сидел старый доктор Борзов в белом халате и шапочке с выразительным красным крестом, точно кто-то неграмотный расписался на ней кровью. Между седенькими ухоженными усами и айболитовской бородкой таилась улыбочка. Нос Борзова венчало профессорское пенсне.

— Проходите, голубушка, присаживайтесь, — дробным говорком сказал Борзов, а после приглашения забормотал в сторону непонятного волосяного клубка, висящего над столом: — Вошла стройная, интересная брюнетка лет тридцати. Умелая косметика, губы ярко крашены, одета модно и со вкусом. Темные круги под глазами, сероватый цвет лица говорили о неуме-

ренном курении, чрезмерном употреблении алкоголя и половой распущенности...

Лариса Васильевна обомлела. Старичок продолжал бубнить:

— “Помогите!” — взмолилась блудница охрипшим от рыданий голосом... Вы успеваете, Анна Гавриловна?

— Возмутительно, — только и пролепетала Лариса Васильевна.

Волосяной клубок подпрыгнул и оказался верхушкой прически существа по имени Анна Гавриловна.

— Гражданка! Профессор пишет монографию, я ассистирую, профессор тратит бесценное время, пополам разрывается, а вместо благодарности — черствый эгоизм!

— Анна Гавриловна, душенька, я совершенно не в претензии, — кротко вмешался Борзов. Он с укоризной глянул на Ларису Васильевну: — Вы уж простите старого наглеца, сделавшего вас своей музой, хоть и на пару минут... На что жалуетесь?

Ларисе Васильевне стало стыдно. Она отогнула воротничок.

— Вот и вот — язвы и так по всему телу... Очевидно, лишай, но я не держу животных...

— Угу, — деловито сказал Борзов, — если не затруднит, голубушка, покажитесь нам полностью...

Пока Лариса Васильевна мешкала с пуговицами, Борзов говорил:

— Хочу заметить характерную деталь. Чрезмерное подчеркнутое смущение часто идет не от естественного веления души, а от желания специально акцентировать внимание врача на целомудрии его подопечной. Впрочем, вас может осмотреть, раз уж вы так

стесняетесь меня, Анна Гавриловна — блестящий специалист в области палеовенерологии, автор нашумевшей книги “Воспаление любви, или Причины бесплодия Маргариты Наваррской”. Всем известно, что версию о сужении маточных труб королевы вплоть до полного сращения подтвердила эксгумация. Словом, Анна Гавриловна — ученый, которому стоит довериться, — с жаром заключил Борзов.

— Конечно же, мне все равно, — поспешно сказала Лариса Васильевна. — Куда сложить одежду?



— Что-то серьезное? — Лариса Васильевна от волнения вся покрылась мурашками.

— Как любил повторять мой покойный учитель, — нравоучительно произнес Борзов, — в больнице не говорят о здоровье. Решающее слово за анализами, то есть за Сергеем Модестовичем. Тоже, смею вас уверить, интереснейшая личность наш Сергей Модестович... — Борзов с фонариком копошился между ног Ларисы Васильевны. — Потомственный дворянин, кадетский корпус, красавец офицер, соблазнитель, дуэлянт... Однажды, отлучившись с маневров, находит приют в краковском борделе. Юные прелестницы, вино и прочие удовольствия — и все бы хорошо, но спустя три дня обнаружилась “дурная болезнь”. — Борзов лукаво глянул на Ларису Васильевну. — Так состоялось наше знакомство. Я излечиваю гусара, напутствую и прощаюсь... — Борзов выдержал театральную паузу. — Минула неделя, приходит мой Сергей

Модестович в слезах и сообщает, что подал в отставку и желает работать со мной плечом к плечу. И вот уж скоро семьдесят лет, как Сергей Модестович беззаветно отдает все силы благородному делу борьбы с венерическими хворьями...

За ширмой послышался шорох, визгнул стул и звякнуло что-то металлическое

— Сергей Модестович, просим вас, — Борзов подмигнул Ларисе Васильевне, — стесняется, как мальчишка... Сергей Модестович, просим!

Анна Гавриловна, до этого строчившая за Борзовым, отложила перо и зааплодировала. Из-за ширмы выпорхнул Сергей Модестович в гусарском мундирчике. Покрасовавшись перед Ларисой Васильевной, он гусиным шагом скрылся за ширмой.

Борзов выключил фонарик и отчетливо продиктовал Анне Гавриловне:

— Она побледнела, и крупные капли пота выступили у нее на лице: “Доктор, неужели сифилис? Но откуда?!”

У Ларисы Васильевны подломились ноги.

— Я не ослышалась, вы сказали “сифилис”?!

— Никаких сомнений, — сверкнул стеклами Борзов, — результаты анализов следует ожидать резко положительными.

Анна Гавриловна презрительно скривилась с видом “я так и знала”, а Борзов, напротив, спросил с утрированным участием:

— Ну-с, голубушка, поведайте, что за негодяй коснулся вашего... м-м-м... девичества? — и более тихим голосом пояснил внимающей Анне Гавриловне: — Спрашивать надо, соблюдая необходимые такт и осторожность, дабы неловкой фразой не оскорбить,

не унижить страждущего, — и у той брезгливое выражение лица в ту же секунду сменилось сочувственной гримасой.

Лариса Васильевна подумала, что нуждается в на-
шатыре.

— Мнухин Андрей Андреевич, — прошептала она.

— Какой контакт между вами происходил? — на-
стойчиво спросил Борзов.

— Что за наказание! — Лариса Васильевна горестно
всплеснула руками.

— Вот уже и неудовольствие выказываем. — Всякое
сочувствие покинуло гнусавую Анну Гавриловну. —
Думаете, профессор интересуется из праздного лю-
бопытства?.. Профессора интересует, как именно вы
были близки!

— Орально, — мышинным шепотом созналась Лариса
Васильевна, — но меня вынудили, угрожали уволить...

— Слышать не желаю! — Анна Гавриловна демон-
стративно заткнула уши. — Вы пытаетесь укрыться
под маской порядочной женщины, но по существу
являетесь типичным примером аморального челове-
ка! В состоянии опьянения — не отпирайтесь! — вы
не побрезговали вкусить запретного плода, а придя
в себя после пьяного угара, намереваетесь оправдать-
ся мнимым насилием над подвыпившей женщиной!

Борзов страдальчески поднял брови:

— Сергей Модестович, не считите за труд, разыщите
Мнухина. Он нуждается в немедленном осмотре!

Сергей Модестович, как истукан стоявший за шир-
мой, ретиво полетел исполнять веление Борзова.

В кабинете повисла тягостная пауза. Борзов хо-
дил взад-вперед и теребил ус.

— Некоторые как рассуждают: побеждены, мол, венерические болезни, а разговорчики о них вызывают только нездоровый интерес молодежи к вопросам половой жизни. Это чистой воды лицемерие и ханжество, — Борзов подлил чернил неумолимо стенографирующей Анне Гавриловне. — Сколько трудов написано о пользе аскетизма намного больше, чем о вреде последнего. И все прахом. А ведь при воздержании человек ощущает огромный прилив сил, возрастает продуктивность труда, и, наоборот, кроме моральной опустошенности, потери интереса к окружающему, половая жизнь ничего не дает. Правильно в народе говорят: “Половая жизнь, развращенность и цинизм в одном поле растут”.

Сергей Модестович ввел в кабинет злого, упирающегося Мнухина.

— Я буду жаловаться! Я доберусь до высших инстанций, я от вас не оставлю камня на камне! — Мнухин скинул ботинки, снял носки, зашнуровался и надел носки на руки. — Чтоб заразы не хвататься! — дерзко пояснил он.

— Как вам будет угодно, любезный Андрей Андреевич, — начал вкрадчиво Борзов. — У нас есть предположение, что вы являетесь носителем инфекции, именуемой “сифилис”.

— Сифилис?! Какая гадость! Уж лучше рак или простатит! — с пафосом вскричал Мнухин, скрестив на груди руки в носках и выпятив губу.

— Лариса Васильевна предполагает, что заразилась именно от вас, — продолжал Борзов.

Бедная Лариса Васильевна дрожала, ни жива ни мертва, прикрыв лобок ладонями. Мнухин даже не удостоил ее взглядом.

— Более того, Андрей Андреевич, — заключил Борзов, — Лариса Васильевна открылась, что вы принудили ее...

Мнухин исполнился фальшивого достоинства:

— Она лжет, негодяйка такая!

— Сергей Модестович! — молодецки крикнул Борзов. — Займитесь Андрей Андреичем! Препоручаю его на ваше усмотрение.

Мнухин, сопровождаемый Сергеем Модестовичем, с гордо поднятой головой удалился за ширму.

Все, что там происходило, Лариса Васильевна видела так, будто находилась в театре теней. Мнухин пару раз возмущенно сказал:

— Я не обязан отчитываться! — ойкнул: — Коновал!

Потом Сергей Модестович бросил в лоток какой-то инструмент и устало пробасил:

— Акимовна! Готовь буж!

Приковыляла нянька, толкая перед собой тележку. На салфетках лежали острые спицы различных калибров.

— Отлично! — Тень Сергея Модестовича взяла неправдоподобно увеличившийся буж. Другой рукой Сергей Модестович обхватил так же оптически увеличенный член Мнухина и медленно вкрутил туда буж, с пристрастием спрашивая: — Ссильничали секретаршу, Андрей Андреич?

— Знать ничего не знаю, — прошипел Мнухин.

Сергей Модестович сменил буж.

— Ссильничал?!

Мнухин терпел, как партизан, и тихо матерился. На третьем буже он сорвался:

— Да, да, ну и что тут такого?! Она сама хотела!

Сергей Модестович, схожий с тореадором, выглянул из-за ширмы.

— Андрей Андреич в насилии сознаются!

— Правда восторжествовала! — Борзов ободряюще посмотрел на Ларису Васильевну.

— Это первое, — заключил Сергей Модестович, — а второе — у нашего Анри Андреича сифилиса не обнаружено.

— Поздравляем, легко отделались, — сказал Борзов.

— Малой кровью, — усмехаясь, подтвердил Сергей Модестович.

— Камня на камне не оставляю! — Мнухин подтянул носки и уничтожающе оглядел Ларису Васильевну. — Уволю! Завтра же! — и вышел, шарахнув дверь.



— Хотелось бы ляпнуть: “Подыхай, развратная баба!”, но эмоции врача не должны брать верх над его разумом, — невесело диктовал Борзов.

Лариса Васильевна не знала, куда глаза девать.

— Голубушка, вам придется рассказать нам все, — сказал наконец Борзов, — думаю, что уместно напомнить об уголовной ответственности за преступное укрывательство фактов.

— Я клянусь, что за последние полгода ни с кем не вступала в половые контакты, кроме Мнухина, — вытянувшись в струнку, отчеканила Лариса Васильевна.

— Не брешешь? — спросил Борзов с каким-то деревенским простодушием. — А то у меня сердце схватило... Инфаркт, не дай бог. Вот помру — что станет

с пасекой в Лихтовке? Пропадут мои пчелки... Ведь такие разумные твари, диву даешься!

Борзов как-то сразу подрыхлел и растерял профессорский лоск.

— Я ведь в селе-то родился, пастушил мальцом, гусей пас, мамку с папкой уважал... Кабы не мед-прополис, давно там был бы. — Он многозначительно потыкал пальцем в потолок. — До чего в деревне хорошо: сидишь в глубине цветущего сада, пьешь душистый крепкий чай, на столе шумит старинный самовар, и Анна Гавриловна пироги подает... — Борзов словно отмахнулся от восхитительного видения. Анна Гавриловна и Сергей Модестович в это время слезно умилялись.

— Читать любите? — Неожиданно опростившийся Борзов осторожно плел туман из всяких “таперя”, “кубыть”, “дюже”, и Ларисе Васильевне померещилась чужая, книжная любовь, хрященосый казак, казачка в стогу, вихри враждебные, выстрелы и река, величавая, как ртуть...

— Отчего же, голубушка, ваш выбор пал на “Тихий Дон”?

— Чем плох Шолохов? — удивилась Лариса Васильевна.

— Какая художественная неразборчивость, — прошипела Анна Гавриловна.

— И беспечность, — добавил Борзов. — Анна Гавриловна, принесите экземплярчик издания...

Борзов пролистал половину тома, потом, ведя пальцем по странице сверху вниз, прочел вслух:

— “Дарья криво улыбнулась и впервые за разговор подняла полышущие огнем глаза: — У меня сифилис.

Это от какого не вылечиваются, от какого носы проваливаются”.

— Нет сомнений, — Борзов торжествующе захлопнул книгу, — вы, голубушка, заразились от печатного слова! Редкий, конечно, случай. На моей памяти двенадцатый...



— Без паники! Только лечиться! Иного способа нет. — Борзов говорил уверенно и спокойно.

— Быть такого не может! — всхлипывала Лариса Васильевна.

— Вам сегодня же следует лечь в больницу. Госпитализация зараженных особо опасными формами сифилиса производится немедленно, в течение двадцати четырех часов. Таковы непреклонные, жесткие требования, принятые в нашей стране. Начало лечения — обязательно в условиях стационара.

— Значит, сегодня? — с тоской вскричала Лариса Васильевна. Она всегда болела дома и поэтому отчаянно трусила.

— Да, голубушка. Возьмите все необходимые вещи — и сразу сюда. Мы составим деликатное заявление на вашу работу, так что никто ничего не заподозрит, вы подпишете предупреждение, что уведомлены врачом о своем заболевании, что лечение необходимо проводить под наблюдением врачей и уклонение от этих процедур уголовно наказуемо. После формальностей с бумагами Акимовна отведет вас в палату, — сказал Борзов и обнадеживающе улыбнулся.



“Пижаму, тапочки, зубную щетку, полотенце, мыло... И никаких книжек.. — прикидывала в уме Лариса Васильевна, спеша к выходу. — Куплю яблок.. яблоки наверняка можно”.

От волнения она даже не обратила внимания, что вышла не из того здания, в которое входила. Кожно-венерологический диспансер занимал современную трехэтажную постройку. А Лариса Васильевна слетела по ступеням ветхого крыльца одноэтажного домишка на какую-то незнакомую улицу.



— Вот они, мои сифилитики в квадратике. — Нянька Акимовна бросила на матрас стопку желтого белья. — Тумбочка у тебя совместная с Ванечкой, — Акимовна указала на свежего, русочубого паренька. — Если понадобится второе одеяло — проси, не стесняйся...

Увы, к великому неудовольствию Ларисы Васильевны, палата была общая для мужчин и женщин. Кроме Вани под стенкой храпел здоровенный детина. “Затылок скошенный... Дебил, наверное!” — с неприязнью подумала Лариса Васильевна.

Койка ее стояла встык с койкой старухи вызывающе болезненного вида. Особенно приковывали внимание ноги, торчащие из-под халата, в шишках и звездчатых, втянутых внутрь рубцах. Приподнявшись на локте, старуха жаловалась соседке:

— Пятнадцатый годок мучаюсь... Чистотелом натиралась и чем посоветуют, а болячка то заживет, то на новом месте выскочить, ноет, а шишка откроется, и оттуда гной, густой, тягучий. Похоже на чирей, ан не чирей... Я в город поехала к хирургу, а он говорить — костоеда...

“Придется пережить”, — вздохнула Лариса Васильевна и прислушалась к разговору в противоположном углу палаты.

— У нас в Векшах, — сказал вдруг мальчик Ваня, — жили три сестры: тетка Лукерья, тетка Варя и тетка Аня...

“Началось, — Лариса Васильевна прилегла на койку и закрыла глаза, — теперь до ночи байки травить будут...”

Впрочем, Ваня рассказывал хорошо:

— На полнолуние забегает тетка Лукерья в хату и кричит, что конец света пришел, дьявол хватает на улице людей и тащит в пекло. Она вообще припадочная, тетка Лукерья... Тетка Варя и тетка Аня ее уложили, стали травой отпаивать и тут видят, что у нее из тела шерсть полезла, на башке рога выросли, а на руках и ногах — копыта, заговорила она из живота мужским голосом бранными словами. Схватили тетки одна кочергу, другая полено и ну выбивать беса из тетки Лукерьи! Выбивали, пока насмерть не забили...

“Жуть какая”, — содрогнулась Лариса Васильевна.

В это время в палату заглянул Борзов.

— Лежите, лежите, не вставайте. — Борзов прямоком направился к Ларисе Васильевне. — Обустроились? Вот и славно. Вы тут наслушаетесь еще... Фольклор во всей красе...

Держа на отлете руку со шприцем, приближалась Анна Гавриловна. Никогда раньше не видела Лариса Васильевна такого шприца — огромного, из мутного стекла. Борзов поймал ее взгляд.

— Таким надежней. Хотя и ветеринарный, но колет наверняка.

— Никто не смотрит! — скомандовала противная Анна Гавриловна, и все отвернулись от заголенной Ларисы Васильевны. Тем не менее укол был сделан мастерски.

Лариса Васильевна успокоилась и закуталась в одеяло. Верзила у стены начал историю про столяра, которому мать не позволяла перестелить крышу. Судя по эмоциям, сопровождавшим повествование, история была автобиографичной.

— ...до драк доходило. Он ей: “Мама, надо крышу чинить”, а она: “Нет, не надо”. Он ей: “Мама, протекает”, а она: “Нет, не протекает”. Так вот, эта так называемая мать подает сыну мясо или остальные продукты питания, а у него всякий раз после еды печет в животе. Однажды он выпил кипяченой воды, а мать ему: “Не пей кипяченую, а пей сырую — в ней витамины, она полезней”, — и подносит ковшик. Он выпил, а она: “Я тебя спровоцировала: и сырой тебе нельзя, ты теперь кровушку свою застудил”. У матери сделались кошачьи глаза, а сын только сказал: “Надо крышу чинить”, — и взял топор. Мать на двор улизнула и дочке сказала, что сын ее убить хочет, дочка в село, к соседям, соседи пришли, а столяр уже крышу перестелил, а на стрехе — отрубленная материна голова...

Усталость растеклась по жилам Ларисы Васильевны. Ей вспомнилось время студенческой практики в колхозе, сторож дед Тимофей. Он уснул, охраняя

ферму, ему приснились немцы, дед открыл пальбу, и оказалось, что он пострелял доярок. На этом воспоминании Лариса Васильевна отключилась.



Дневное лекарство прекратило свое действие глубокой ночью. Лариса Васильевна умиротворенно скользила по кромке сна и яви, забавляясь тощими треугольниками законного света, дрожащими на стенах.

Внезапно приоткрылась дверь, и в палату крадучись вошел Борзов, а за ним — Анна Гавриловна. В руке Борзова вспыхнул лучик.

— Не шумите, Анна Гавриловна.

— Я стараюсь, дедушка. — Анна Гавриловна тащила за собой кровать-каталку.

— Спят? — Борзов мазнул фонариком по восковым лицам на подушках. Лариса Васильевна крепко сплющила веки, стараясь дышать ровно. Сон окончательно покинул ее.

— Как сурки. — Анна Гавриловна подкатила кровать к мальчику Ване.

— Помогайте же, Анна Гавриловна, — ухал Борзов, — возьмите за ноги... так... так... Подняли... Готово!

Опять проскрипела колесиками каталка, и все стихло.

Лариса Васильевна заскучала от непрошенной бодрости. “Попросить, что ли, димедрольчику, иначе не усну...” Лариса Васильевна осторожно, чтоб никого не разбудить, вошла с постели и вышла в коридор. Точно моль в пустом рукаве, она брела вдоль темно-

го коридора. Из-под одной двери пробивалась желтая полоска и почудились голоса Борзова и Анны Гавриловны. Для верности Лариса Васильевна прильнула глазом к замочной скважине.



Борзов, переодетый в ситцевую рубаху, портки и лапти, тренькал на гусях, Анна Гавриловна, синюшная и страшная, гундосила:

Видим в красках Страшный Суд,
Где нас заживо сожгут...

На каталке метался в плену кошмаров мальчик Ваня.

Борзов вдруг закричал:

— Ванька, шельма, сейчас удавлю, сейчас в рот влезу! — и ужом вполз в Ванин рот. Мальчик только застонал, но не проснулся. Лариса Васильевна услышала, как Борзов сказал изнутри Вани ядовито и уверенно: — Все оторву! — Из рта мальчика высунулась сухонькая лапка Борзова, которая передала Анне Гавриловне Ванину печень. Потом почки.

Ужас сковал горло Ларисы Васильевны. “Бежать из проклятой больницы”, — мелькнула мысль.

Анна Гавриловна настороженно повела ноздрями, прищурилась. Ларисе Васильевне захотелось отскочить от двери, но не успела. Ей показалось, что Анна Гавриловна парализовала ее своим взглядом. Потом Анна Гавриловна раззявила клыкастый рот и пискнула запредельно высоко.

Лариса Васильевна оглянулась. Путь к отступлению перекрыл бравый гусар Сергей Модестович, похожий на мертвеца. С поводка его рвалась обульдожившаяся Акимовна, рычала и хищно облизывалась... Лариса Васильевна почувствовала под лопаткой боль укуса, разум в ней померк, и она рухнула в черноту.



Она очнулась. Марлевый потолок пустил перпендикуляры, стены окостенели, палата приобрела четкие геометрические формы куба. Где-то на дворе ударил колокол, и хор из сотни глоток грянул: “Преставился младенец Иоанн!”

Лариса Васильевна повернула голову. Над пустовавшей койкой дутым парусом возвышалась подушка...

— Выписали утром Ванечку. — В дребезжащем голосе соседки слышалась печаль.

“Не сон!” Лариса Васильевна ощутила дикий прилив страха.

— Ногами вперед! Не притворяйтесь, вы же знаете, что он умер!

— Это Мусоргский вас так растревожил? — Борзов одним махом удавил хор. — Анна Гавриловна! Я же просил убрать из палаты все постороннее, в том числе и радио!

С виноватым видом зашла Анна Гавриловна.

— Сегодня же снимем...

Лекарственный дурман, терзавший Ларису Васильевну, сделал ее бесстрашной. Подойдя вплотную к Борзову и Анне Гавриловне, она угрожающе сказала:

— Мне кажется, нам есть о чем поговорить тет-а-тет!

Низенькие Борзов и Анна Гавриловна переглянулись исподлобья волчьими искорками.

— Ну что ж, — согласился Борзов, — давайте поговорим... Начистоту.



Борзов всплеснул руками:

— Анна Гавриловна, что вы ей укололи?!

— Но вы же помните, профессор, в каком она была состоянии...

— Тогда почему у больной наблюдались ночью галлюцинации?

— Прекратите комедию. — Лариса Васильевна холодно врезалась в их наигранный диалог. — Меня не интересует, кто вы и чем занимаетесь, я не вмешиваюсь в ваши дела — видите, какая я покладистая. Я хочу только одного: отпустите меня отсюда, я никому не скажу ни слова, делайте с остальными что вам заблагорассудится, а меня отпустите!

— Опомнитесь, голубушка, — не шутя взмолился Борзов, — куда вам идти, мы не можем вас отпустить... Во всяком случае, пока вы не успокоитесь и не примете висмутовые процедуры.

— Я ухожу, — твердо сказала Лариса Васильевна.

— Помните, уклонение от лечения венерических болезней после врачебного предупреждения по статье сто пятнадцать Уголовного кодекса наказывается лишением свободы сроком до двух лет. Уголовную ответственность влечет как отказ пройти курс лечения

в медицинском учреждении, так и иные действия, свидетельствующие о наличии злого умысла, направленного на уклонение от лечения! — угрожающе процитировал Борзов.

— Воля ваша, заявляйте в прокуратуру, — сказала Лариса Васильевна.

На лице Анны Гавриловны от злости вспухли жилы.

— Акимовна ей еще компоту наварила!

— Единственно знаю, — каркнул Борзов, — сами примчитесь, голубушка, только поздно будет!

— Прийде коза до воза та й скаже: “Ме!” — пробормотала Анна Гавриловна.

— Пся крив! — по-польски выругался в захлопнувшуюся дверь Борзов.



Лариса Васильевна пулей вылетела из больницы. Она сразу поймала машину и поехала домой. Шофер старался казаться бесстрастным, но, видимо, внешний вид Ларисы Васильевны располагал к той настороженной брезгливости, с которой он принял деньги — двумя пальцами, какдохлую крысу.

Родные стены успокоили Ларису Васильевну. Она не испытывала голода, но заставила себя выпить стакан кефира. Стирая перед зеркалом молочные усы, Лариса Васильевна была неприятно поражена — под ними обнаружили настоящие. Конечно, у нее и раньше росли совсем неприметные усики, не нуждавшиеся даже в освещении. Теперь же про-

зрачные волосики на губе отчетливо погрубели и потемнели.

В животе противно урчало и булькало, как в прорвавшей канализации, в желудке ощущались чьи-то маленькие шажки.

Попытка соорудить на голове прическу окончилась слезами. Сколько она ни расчесывалась, массажная щетка всякий раз оказывалась полна волос: они лезли пучками, так что на висках очень скоро обозначились проплешинки.

Прыщики вокруг лба подсохли, но совершенно не готовились к смерти, а как-то затаились. Кожа на теле принципиально изменилась по оттенку, и поры чудовищно разверзлись.

Лариса Васильевна еще не потеряла веру в нормальную медицину и поэтому решила обратиться в районную поликлинику по месту жительства. Только скрыв лицо платком, она отважилась показаться на улицу.

Она терпеливо высидела очередь на флюорографию. Ветеранам и старухам, казалось, не будет конца. Наконец и ее пригласили зайти. Толстая докторша, даже не повернувшись к Ларисе Васильевне, сказала, чтоб та разделась до пояса и зашла в кабинку.

— Вдохните, — скомандовала докторша.

Лариса Васильевна набрала полную грудь воздуха и через несколько секунд выдохнула жуткой тухлятиной. Задыхаясь от собственного зловония, она выскочила из кабинки. Докторша, присев за стол, уже что-то строчила в ее карточке. Как и все покладистые пациенты, Лариса Васильевна с деланой бодростью поинтересовалась:

— Ну, как там у меня дела?

— Совсем сгнила от сифилиса, матушка! — неожиданно мужским голосом произнесла докторша, обернувшись к Ларисе Васильевне, а потом зловеще расхохоталась.

Лариса Васильевна кинулась вон из поликлиники.



Недуг тем временем прогрессировал. К вечеру усилился рост волос над верхней губой и на подбородке, волосы были седые и жесткие, брови же и ресницы, наоборот, облысели.

Прежде чем спустить воду, Лариса Васильевна заглянула в унитаз, и то, что она увидела, окончательно деморализовало ее: в унитазе плавала матка, плавничками трепыхались обрывки подгнивших тканей.

Ночью Лариса Васильевна часто вставала с постели, проверяла замки, бродила из угла в угол, тоскливо повторяя:

— Горе, горе...



Молодой врач Николай Георгиевич Прущ делился скабрезным анекдотом. Практикантка готовилась рассмеяться, Прущ перешел на интимный шепот. Практикантка залилась дурацким журавлиным смехом, нянька, убиравшая неподалеку, грюкнула ведром и распластала на полу чавкающую ветошь.

Прущ расцвел и, рассказывая следующий анекдот, прикидывал, как убедить практикантку в необходимости совместного распития кофе, хотя бы на людях; о событиях, происходящих без свидетелей, он пока не задумывался.

Какая-то женщина явно намеревалась юркнуть в подвал.

— Куда вы? — остановил ее Прущ. — Там ничего интересного нет.

— Я уже была там... — В тембре женщины преобладал носовой призыв. Гуммозные поражения захватывали хрящевые и костные ткани черепа больной.

“А говорят еще, что у нас не встретишь образчик с третичным периодом”, — с удивлением отметил Прущ, а вслух спросил:

— Вы к кому? Я имею в виду, кто ваш лечащий врач?

— У меня нет лечащего врача, я больна всего две недели...

— Вы у нас впервые? — продолжал допытываться Прущ.

— Меня принимал и осматривал доктор Борзов, — ответила женщина.

Нянька с грохотом уронила ведро. Больная вздрогнула и тревожно оглянулась.

— Мне нужно найти доктора Борзова!

— Если я вам сообщу, что этот Борзов никогда не работал здесь... — Прущ всегда предпочитал говорить правду.

— Как же так?! — Взгляд женщины неприятно прыгал с Пруща на практикантку и обратно.

— Думаю, вам стоит обратиться ко мне, моя фамилия Прущ...

— Я помню! Кабинет номер девять, меня направляли к вам. — Больная истерично разрыдалась.

“Ох, и намаюсь с ней”, — подумал Прущ и учтиво улыбнулся.

— Вот и славно, жду вас завтра к восьми.

Женщина не уходила.

— Значит, нету Борзова в помине?! — спросила вдруг она, и такая россыпь отчаяния и злобы прозвучала в ее голосе, что бывалый Прущ почувствовал холодок в спине. Он взял себя в руки и вежливо подтвердил:

— Нет в помине.



— Она сумасшедшая, да, Николай Георгиевич? — с уважением к его спокойствию спросила практикантка.

— Прежде всего — это человек, и человек страждущий. Помочь ему — наш священный долг, — шутливо назидал Прущ. — Я одного не пойму: откуда такое запущенное состояние? — И еще, — Прущ скорчил страдальческое лицо, — не называй меня Николаем Георгиевичем! Отчество, как и лишний макияж, старит.

— Холосо, — прелестно сюсюкая, сказала практикантка. — А кто такой Борзов?

— Борзов? — Эрудированный Прущ усмехнулся. — На сленге специалистов начала века “Борзов” — он же “сифилис” или “люэс”. Как кому нравится...



Нянька догнала Ларису Васильевну.

— Подожди! — окликнула она. — Не поможет тебе Прущ, если с Борзовым повстречалась.

Нянька боязливо перекрестилась.

— Тебе в Лавру, к монахам ехать надо, у тебя колдун в животе, сожрет изнутри!

— Уже сожрал. — Лариса Васильевна робко потянулась к няньке. Та в ужасе отступила.

— Не подходи, Христа ради!

И Лариса Васильевна осеклась в своем порыве.

— В деревне Пустыри бабка живет, — сказала нянька, — к ней поезжай. Если успеешь, она колдуна молитвой вытравит!

Нянька подхватила ведро и опрометью понеслась в сестринскую — предупредить, чтоб не совались в подвал, что снова объявился Борзов.



Лариса Васильевна тряслась в маршрутном автобусике, горбатеньком, дребезжащем, как короб с гвоздями. Давно она не каталась в таких допотопных, ушедших из города в конце семидесятых, с журнальными картинками, вклеенными между окон, и миртовыми веночками на носатых компостерах, четырехколесных шкатулочках.

Вскоре город выветрился, запахло вспаханной землей. Лариса Васильевна разглядывала ветвящиеся от самых корней шелковицы, скачущие тополя, сквозь

зелень — блески кладбищенских крестов, одноногие дорожные указатели: первый — с названием деревеньки, а вскоре и второй — с тем же названием, перечеркнутым наискосок, точно дорога своей волей стирала деревеньку из памяти.

Вид женщин в вышитых бисером свитерах, мужчин в простецких коричневых или темно-синих пиджаках, детишек с цыганскими леденцами совершенно не докучал Ларисе Васильевне, а, наоборот, умиротворял.

Все же что-то разрушало эту пасторальную гармонию. Лариса Васильевна осторожно перемещала взгляд с одного пассажира на другого, пока внутренняя ее тревога не остановила выбор на некоем старичке. Из общей массы он ничем особенным не выделялся. Щупленький, он опирался на спеленутые черенки лопаты и грабелек.

— Лихтовка следующая! — сказал водитель. Старичок засуетился, подхватил сумку, свой огородный инвентарь, перекинулся парой фраз с кем-то, стоящим впереди него.

Лариса Васильевна гипнотизировала его пиджачную спину, пока старичок не оглянулся. Лариса Васильевна чуть не вскрикнула: “Венеролог!”

Внешне старичок имел весьма определенное сходство с Борзовым — та же чеховская борода да усы. “К пчелкам приехал”, — догадалась она и потихоньку стала протискиваться к двери.

В Лихтовке сошло несколько человек. Старичок общей дороге предпочел тропинку, ведущую в лес. Прошагав какое-то расстояние, он обернулся и прибавил скорости. Лариса Васильевна без труда сокра-

тила дистанцию. Старичок подозрительно оглядел Ларису Васильевну и припустил хроменькой трусцой. Лариса Васильевна и не думала отставать. Старичок бросил свою кладь и принял вбок, улепетывая что есть мочи. Лариса Васильевна на ходу подхватила лопату, освободив ее от тряпичных пеленок.

— Помогите! — слабенько завопил старичок и упал, подвернув ножку.

Лариса Васильевна настигла его, вскинула лопату. Старичок, перевернувшись на спину, ощерился и завизжал. Лариса Васильевна рубанула наотмашь — раз, второй, третий. Она расправлялась с ним, как с дождевым червем, не в силах остановиться, пока не увидела под солнцем кровавую радугу.

Старичок не шевелился. На красных ниточках, точно рачьи, болтались его глаза, лицо было иссечено до неузнаваемости, из почти перерубленной шеи текла мутная кровь.

Лариса Васильевна отшвырнула лопату и побрела прочь. Жутко парило под одеждой, но она благодарно терпела, зная, что беды закончились и впереди скорое выздоровление.

С утра у нее запала переносица, она хрипела, тщаь избавиться от мокроты, стекавшей на дно ее тела, капавшей, как монетки в копилку. Кишечник, легкие, желудок сгнили. Она чувствовала себя выеденным яйцом. Теперь же пустота сменилась ощущением присутствия.

У поросшего осокой озерца Лариса Васильевна присела отдохнуть. Она скинула одежду, чтоб смыть кровь и остудить зуд. На коже образовались гармошки, которые при попытке растянуть их разрывались,

и язва обнажала кость. Лариса Васильевна склонилась над водой, и вместо своего отражения ей представился грозный лик бородатого старца.

Она ополоснулась и прилегла. Солнце разморило ее. Дрему сменил сон, и сознание перестало мерцать в мозгу Ларисы Васильевны.

Дряблая кожа слезла, как перчатка. Из мертвого тела вылез сам Борзов, старик с кровавыми усами, Доктор Сифилис. Поправ гнилые останки погубленной секретарши, Борзов свистнул черных птиц, положил на них руки и улетел вместе с птицами.

Владимир Сорокин

Моноклон

*Моноклон — крупный растительноядный
динозавр юрского периода мезозойской
эры. Передвигался на четырех ногах.
На его панцирной голове с щитовидным
воротником был один большой рог.*

Виктор Николаевич проснулся от странно-го, нелепого сна. Ему приснился покойный отец, довоенный Весьегонск, свадьба дяди Семена и Анны, на которой он побывал десятилетним мальчиком. Во сне все было почти как тогда, в далеком 1938-м, но он сам почему-то был уже нынешним стариком и отец звал его дедом Витей. Его посадили во главу стола, отец сидел рядом и все время подливал ему вкусного, легкого, как березовый сок, самогона, от которого дед Витя, будучи по сути мальчиком, сильно захмелел и уже не мог сидеть, а упал под стол и, хохоча, стал хватать всех за ноги, отчего собравшиеся разозлились и принялись сильно пихать и бить его сапогами, галдя, что дед Витя опозорился. Потом его подхватили и поволокли вон из дома, а он от опьянения не мог пошевелить ни рукой ни ногой, и ему стало так смешно, так весело, что он хохотал, хохотал дико до тех пор, пока не разрыдался.

Разлепив веки, полные слез, он поморгал ими. Слезы скатились по щекам на подушку. Потом он

долго лежал, глядя в потолок с чешской хрустальной люстрой, купленной покойной женой в середине семидесятых в магазине “Свет” на Ленинском проспекте.

Дурацкий сон спутал мысли. Лежа и теребя пальцами край одеяла, Виктор Николаевич приводил мысли в порядок: в двенадцать придет Валя сделать последний укол, потом надо сходить в булочную, после обеда обещал зайти Коржев, сыграть в шахматы, а вечером должен заехать Володя. А завтра — идти за пенсией. И завтра будет готово белье, Володя заедет и получит. Жаль, что не сегодня, он бы по пути и заехал, а завтра ему опять придется кругалю давать.

— Весьегоньск... — произнес он, откинул одеяло и сел на кровати.

Нашарив ногами тапочки, скосил глаза на тумбочку: часы “Янтарь”, газета “Известия”, сборник кроссвордов, книга Суворова “Ледокол”, томик стихов Вероники Тушновой, стакан кипяченой воды, очки для чтения, фигурка Дарта Вейдера, подаренная семилетним правнуком, валокордин, упаковка церебрализина с последней ампулой, упаковки ноотропила, сонапакса, феназепама, фуросемида, но-шпы и папазола.

Взял сонапакс, выдавил из кассеты таблетку, сунул в рот, запил водой.

Посидел, щурясь на солнце в просвете штор, шлепнул себя по коленкам, встал. Пошел в ванную, шаркая тапочками по старому паркету:

— Весьегоньск... Весь-е-гоньск...

Зажег свет в ванной, вошел, спустил полосатые пижамные штаны, осторожно сел на унитаз. Посидел,

жуя сухими губами, почесывая колено. Помочился медленно, с перерывами. Заворочался, пожевывая, серьезно вцепился в колени. Напрягся, опустив голову. Дряблые складки на шее угрожающе собрались под упрямым подбородком. Тужась, закрихтел. Замер. Но, недовольно выдохнув, покачал головой, расслабился, распрямляясь:

— Горные вершины спят во тьме ночной...

Встал, подтянул штаны, спустил воду, подошел к раковине, глянул в зеркало. Из зеркала на него уставился восьмидесятидвухлетний Виктор Николаевич.

— Гутен морген, — сказал ему Виктор Николаевич, взял зубную щетку, слегка трясущейся рукой выдавил на нее пасты и стал чистить свои ровные новые зубы.

Вычистив, сплюнул, прополоскал рот, умыл лицо, долго вытирал его розовым полотенцем. Затем снял с себя пижаму, повесил на крючок и осторожно, не торопясь, шагнул через борт ванны, схватился за металлическое кольцо, подтянул другую ногу. Открыл воду, отрегулировал, снял трубку душа с рычажков, похожих на довоенные телефоны, переключил воду, направил струю на свои худые ноги. Убедившись, что вода теплая, направил ее на свое худощавое, смуглое тело с обвислым животом. На теле было два старых шрама: на левом бедре, когда в 58-м на охоте его задел клыками раненый кабан, и на правом локте, когда в 91-м он сломал руку, поскользнувшись возле своего подъезда. Еще на теле виднелись две татуировки: посередине груди орел, когтящий змею, а на левом плече сердце, проткнутое двумя кинжалами, и еле различ-

мая надпись “Нина”. Обе татуировки были старыми, пятидесятих годов.

Виктор Николаевич поливал свое тело из душа, опустив голову, отчего складки на шее снова угрожающе собрались; а нижняя губа сумрачно отвисла.

— В сто концов убегают рельсы... — проговорил он, вспомнив песню Пугачевой. — По рельсам... и по шпалам, по шпалам, по шпалам...

Выключил воду, взялся за кольцо, с осторожностью перенес свое тело из ванны на коврик. Снял полотенце и долго вытирался. Облачился в халат красного шелка, вздохнул, вышел из ванны и направился на кухню, шаркая тапочками. Но за окнами большой комнаты что-то зашумело. Виктор Николаевич шаркал в большую комнату, подошел к окну.

Поседевшие брови его удивленно поползли вверх: весь Ленинский проспект, простирающийся под окнами, был заполнен молодежью в одинаковых серебристых скафандрах и белых гермошлемах с надписью “СССР”.

— Космонавты! — удивленно пробормотал Виктор Николаевич.

И сразу вспомнил:

— Сегодня ж 12 апреля! День космонавтики, сволочи дорогие! Мать честная!

Пораженный, он покачал головой. Сотни, тысячи космонавтов заполняли проспект. Машин не было. По краям у домов темнели зеваки.

За свою сорокалетнюю жизнь на Ленинском проспекте он не видел ничего подобного. Случались здесь демонстрации коммунистов в ельцинские времена, было и знаменитое побоище на площади Гага-

рина в 1993 году, в трехстах метрах от его дома, когда патриоты из “Трудовой Москвы” схватились с ельцинским ОМОНОм. Но такого не было еще никогда.

Виктор Николаевич открыл окно, высунулся, радостно завертел головой:

— Ничего себе! Космонавты! Космонавтики! — Восторженно рассмеялся. Весенний ветер зашевелил его редкие седые волосы.

В толпе космонавтов шло какое-то движение, подготовка к чему-то. В центре, в мешанине блестящих на солнце тел стала приподниматься ракета с гербом России на корпусе. Едва она встала вертикально, нос ее откинулся, в ракете показалась фигура в скафандре. Толпа радостно зашумела. Сидящий в ракете приветствовал всех взмахами рук. Потом открыл свой гермошлем, поднял руку, прося тишины. Толпа стихла. С шестого этажа Виктор Николаевич разглядел лицо парня в открытом гермошлеме: чернобровое, скуластое, с птичьим носом.

— Дорогие друзья! — заговорил парень звонким, бодрым голосом, и динамики разнесли этот голос по проспекту.

— Сегодня двенадцатое апреля. День космонавтики. В этот день Юрий Гагарин покорил космос, совершив свой героический полет. Наша держава заявила о себе на весь мир и во весь голос. Сегодня здесь, на Гагаринской площади, у памятника первооткрывателю космоса собрались тридцать тысяч молодых россиян. Каждый из вас готов повторить подвиг Гагарина. Потому что в душе каждого из вас живет любовь к своей родине, желание сделать ее еще более могущественной, еще более свободной! И мне из этой раке-

ты сейчас кажется, друзья, что сегодня каждого из вас зовут Юрий!

Толпа зашумела.

— Каждый патриот России — космонавт в душе! Наш президент — космонавт № 1!

Толпа заплодировала.

— А уж наш премьер — космонавт из космонавтов!

Толпа радостно заревела.

Выступающий подождал, пока шум стихнет, выдержал паузу и вдруг запел:

— Заправлены в планшеты космические карты...

— И штурман уточняет в последний раз маршрут! — тут же подхватила толпа.

— Давайте-ка, ребята, покурим перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать мину-у-у-ут! — подпел толпе Виктор Николаевич с шестого этажа.

Сзади в комнате, на письменном столе зазвонил телефон. Виктор Николаевич недовольно обернулся, заспешил к столу, снял трубку, приложил к уху, возвращаясь с трубкой к окну. Звонил сын Володя.

— Вов, тут у меня под окнами такое творится! Тридцать тысяч космонавтов!

Говоря по телефону, он высунулся в окно.

— А? Что? Это не бред, дорогой мой, а кра-со-та! Послушай, как поют!

Он протянул руку с телефоном из окна. Худая рука закачалась в воздухе. Виктор Николаевич подождал, потом втянул ее в комнату, приложил трубку к уху:

— Слышал? Вот! Это эти... как их... ну, идут которые? “Мы вместе”? Как их? Да! Да! Собрали тридцать тысяч, можешь себе представить? Сегодня же День космонавтики, сынок! Вот так! А? Что? Нет. А чего?

Валя? Так она же в двенадцать прибудет. Да? Ну, пусть раньше, я не против. Я попозже только в булочную... Да. Хорошо, Вов. В данный момент просто прекрасно! Настроение ве-ли-ко-лепное! Готовность — номер один! Выхожу на орбиту! Да. Да. А белье завтра. Хорошо. Жду вечером. — Он нажал на трубке красную кнопку, положил ее на подоконник. За окном пела блестящая толпа:

На пыльных тропинках
Далеких планет
Останутся наши следы!

Улыбаясь поющим вместе, Виктор Николаевич закрутил головой, оглядываясь: кто из соседей следит за происходящим? Но высунулись только молодые Рубинштейны с третьего этажа, девчонка Горбунова с четвертого и еще какая-то пара внизу. А на шестом и пятом никто окон не раскрыл.

Виктор Николаевич сжал жилистый кулак, выкинул в окно и крикнул:

— Слава героям космоса!

Рубинштейны и Горбунова услышали, глянули снизу, замахали ему. В дверь позвонили.

— Чего? — недовольно обернулся он. Понял, что это Валя приперлась пораньше, как только что сообщил ему Володя.

— Твою мать... — сплюнул весенним воздухом Виктор Николаевич. — Всегда вовремя!

Качая головой, зашаркал в прихожую.

— Взбрело ей именно сию минуту... куда летит ночное такси, лети, лети, меня вези...

Недовольно бормоча и напевая, щелкнул замком, размашисто распахнул дверь:

— Валя, быстрее! Я вам щас такое покажу!

За дверью стояли трое мужчин. Один из них тут же пихнул Виктора Николаевича в грудь. Виктор Николаевич отшатнулся, попятился назад, но не упал. Трое вошли в темную прихожую, захлопнули за собой дверь.

— Хороший день, — спокойно произнес один из них, что повыше, выходя из прихожей.

— Вы кто? — спросил Виктор Николаевич, не испугавшись.

Человек приблизился к Виктору Николаевичу, снял шляпу и произнес:

— Моноклон.

Виктор Николаевич замер.

Человек был сильно пожилым, как и Виктор Николаевич. На лбу у него, прямо посередине, был вырост, напоминающий спиленный рог. Левую бровь пересекал глубокий старый шрам, отчего левый глаз смотрел совсем сквозь щелочку. Зато правый, светло-серый, глядел умно и решительно.

— Узнал, — улыбнулся Моноклон и, оглядевшись, повесил шляпу на спинку стула, не торопясь, снял свой бежевый плащ, отдал одному из вошедших с ним. Тот повесил плащ на вешалку.

Виктор Николаевич попятился в большую комнату. Моноклон пошел за ним:

— Я же обещал тебе.

Виктор Николаевич допятился до овального обеденного стола, стоящего посередине комнаты, ткнулся в него и стал. Моноклон подошел, остановился напротив. Двое встали рядом, по сторонам. Они были

молодыми, крепкотелыми, в кожаных куртках, с мужественными лицами. В руке у одного парня была кожаная сумка.

— А обещанного ждут не три года, — произнес Моноклон и протянул руку.

Парень достал из сумки что-то продолговатое, завернутое в черный бархат, передал Моноклону. Тот взял и положил на стол.

— Что это? — спросил Моноклон у хозяина квартиры, кивнув на сверток.

Но лицо Виктора Николаевича словно окостенело. Стоя в своем красном шелковом халате и тапочках, он уставился на сверток.

— Валек, — скомандовал Моноклон.

Один из парней раскрыл сверток. На черном бархате лежал наконечник обыкновенной кирки. Но он был идеально отполирован и сверкал в солнечном свете, как дорогой японский меч. Валек взял этот блестящий, плавно изогнутый кусок железа, поднес к лицу Виктора Николаевича. На одной грани кирки было выгравировано:

PROCUL DUBIO¹

На другой:

AD MEMORANDUM²

Виктор Николаевич уставился на блестящий металл. Моноклон заглянул в глаза смотрящего, удовлетворенно кивнул:

1 Без сомнения (*лат.*).

2 На память (*лат.*)

— Помнит.

Парни с ухмылками переглянулись. Ветер из распахнутого окна шевелил занавески с верблюдами, бредущими на фоне пальм и пирамид. За окном шумела и смеялась толпа. Но визитеры не обращали на этот шум человеческий никакого внимания.

— Время, — скомандовал Моноклон.

Парни схватили Виктора Николаевича, сорвали с него халат, залепили рот зеленой клейкой лентой. Моноклон смахнул со стола шахматы, вазу и газету "Завтра". Ваза разбилась, шахматы покатались по паркету. Парни бросили Виктора Николаевича грудью на стол, навалились, прижали его худое, смуглое тело. За окном толпа запела песню про Землю, ожидающую возвращения из космоса своих сыновей и дочерей.

Моноклон вынул из сумки кувалду. Придерживая Виктора Николаевича, парни свободными руками вцепились в его дряблые ягодицы со следами уколов, развели их. Моноклон вставил в геморроидальный анус острый конец кирки, надавил, загоняя глубже. Виктор Николаевич зарычал, забился в руках парней. Но те держали крепко. Придерживая свое оружие, Моноклон размахнулся и ударил по его широкому концу. Сталь вошла в содрогающееся тело. Ноги жертвы беспорядочно заплясали. Моноклон размахнулся и ударил сильнее. Сталь вошла глубже. Тело Виктора Николаевича словно окаменело. Только нога билась о ножку стола равномерно, будто отсчитывая время.

Моноклон размахнулся и ударил изо всех сил. Металл почти целиком ушел в тело, а из левого бока, чуть выше поясницы, разрывая смугло-желтую кожу и раздвигая ребра, выдавив струйку крови, вы-

лез острый конец. Его появление положило предел казни: нога перестала биться, тело обмякло. Парни отпустили Виктора Николаевича. Моноклон глянул на блестящий, прошедший сквозь старческое тело металл, опустил кувалду:

— Ну вот...

Тяжело, астматически дыша, передал кувалду парню. Впалые щеки Моноклона побагровели. Глядя на неподвижное тело, он хлопнул себя по карманам, потом вспомнил:

— В плаще.

Валек вернулся в прихожую, достал из кармана плаща пачку немецких сигарет без фильтра, золотую зажигалку, протянул Моноклону. Тот закурил, привычно загораживая огонь от ветра. Обе руки его были покалечены: на правой не хватало мизинца, на левой четвертый палец и мизинец не сгибались.

— Все? — спросил парень, убирая кувалду и бархат в сумку.

— Все, — дымя, Моноклон повернулся, чтобы покинуть эту квартиру навсегда, но вдруг взгляд его задержался на фотографиях, висящих на стене над письменным столом. Он подошел, хрустя осколками хрусталя. Фотографий было шесть, все в аккуратных рамках: родители Виктора Николаевича, его жена, сын, внук, правнук, молодой Виктор Николаевич в форме старшего лейтенанта госбезопасности с косой надписью в уголке “Норильск 1952”, и коллективная фотография выпускников юридического факультета Казанского университета 1949 года.

Моноклон приблизил свое лицо к этой фотографии. Третьим слева во втором ряду стоял Виктор

Николаевич. Рядом с ним стоял Моноклон. Его лицо тогда было полнее, круглее, но вырост на лбу был таким же, как и теперь.

Он затаился и стал медленно выпускать дым в фотографию.

Парни между тем осторожно подошли к окну, глянули, не высовываясь. За окном пели блестящие:

Я Земля, я своих провожаю питомцев —
Сыновей, дочерей.
Долетайте до самого солнца
И домой возвращайтесь скорей.

Постояв возле фотографий, Моноклон резко повернулся и пошел из комнаты. Парни поспешили за ним. Валек помог ему надеть плащ и шляпу. Моноклон поднял воротник плаща, кивнул другому парню на дверь. Тот глянул в глазок:

— Чисто.

Открыл дверь. Они вышли, тихо прикрыв дверь за собой. Щелкнул замок.

В большой комнате на столе осталось лежать тело старика, проткнутое железом. Широкое охвостье кирки торчало из сочащегося кровью ануса, узкий штырь выглядывал из левого бока. Занавески с верблюдами слабо покачивались. Толпа перестала петь и просто шумела.

— Ух ты, ах ты! — разнесли динамики голос бровастого парня.

— Все мы космонавты! — заревела толпа.

— Ух ты, ах ты!

— Все мы космонавты!!

— Ух ты! Ах ты!

— Все мы ко-смо-нав-ты!!!

Ноги старика пошевелились. Руки ожили, ладони поползли по столу к голове. Тело сдвинулось с места, сползло со стола и повалилось на пол. Старик застонал. Трясущейся рукой нащупал пластырь, содрал его с губ. Из рта выползло шипение. Он сипло всхлипнул и, трясая головой, пополз под столом. Пополз к окну. Кровь скупно сочилась из ануса, ноги размазывали ее по паркету. Он полз, полз по осколкам хрустала, по шахматным фигурам. Подполз к батарее отопления, вцепился в батарею руками, подтянул правую ногу и рывком, со стоном и шипением подтянулся, схватился за подоконник, урча и хрипя, стал тянуть, подталкивать свое тело, отключив неподвижную левую ногу. Голова его сильно тряслась. Невероятным усилием, словно старый манекен, он вполз грудью на подоконник, схватился, подтянулся. Его лицо возникло в проеме окна. Он увидел всю ту же переливающуюся толпу космонавтов. Раскрыл рот, чтобы закричать. Но изо рта его хлынула кровь, скопившаяся в пропоротом желудке. Кровь плеснула на белый, прошлой осенью покрашенный внуком низ оконного проема, потекла назад, по подоконнику, закапала на паркет. Лишь одна капля, отскочив, минуя зеленый откос водоотлива, сорвалась вниз, сверкнула рубином на солнце, полетела, подхваченная влажным воздухом. Ветер отнес каплю крови от дома и уронил на толпу блестящих.

Капля крови упала на шлем хохочущего шестнадцатилетнего парня по имени Виктор. Но он ее не почувствовал.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

CORPUS

РУССКИЙ ЖЕСТОКИЙ РАССКАЗ

СОСТАВИТЕЛЬ ВЛАДИМИР СОРОКИН

18+

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Главный редактор ВАРВАРА ГОРНОСТАЕВА

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Ведущий редактор ЕВГЕНИЯ ЛАВУТ

Ответственный за выпуск ОЛЬГА ЭНРАЙТ

Технический редактор ГАЛИНА ЭТМАНОВА

Корректор ЕКАТЕРИНА КОМАРОВА

Верстка МАРАТ ЗИНУЛЛИН

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать 15.08.14. Формат 84×108 1/32
Бумага офсетная. Гарнитура *OriginalGaramondC*
Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,6
Тираж 5000 экз. Заказ № 2853/14

ООО “Издательство АСТ”,
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке

По вопросам оптовой покупки книг обращаться по адресу:
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, БЦ “Империя”, а/я № 5
Тел.: (499) 951 6000, доб. 574

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО “ИПК Парето-Принт”, г. Тверь.
www.pareto-print



НИКОЛА
ВЛАДИМ
МИХАИЛ
ФЕДОР Д

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ВСЕВОЛОД ГАРШИН

АНТОН ЧЕХОВ

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

ФЕДОР СОЛОГУБ

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

ИВАН БУНИН

СЕМЕН ПОДЪЯЧЕВ

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ГАЙТО ГАЗДАНОВ

ИСААК БАБЕЛЬ

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

ДАНИИЛ ХАРМС

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

ВАСИЛЬ БЫКОВ

ЮРИЙ МАМЛЕЕВ

ВЛАДИМИР КАЗАКОВ

ЕВГЕНИЙ ХАРИТОНОВ

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ

ЮРИЙ БУЙДА

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

РОМАН СЕНЧИН

МИХАИЛ ЕЛИЗАРОВ

ВЛАДИМИР СОРОКИН

The New York Public Library



3 3333 40271 0699

www.nypl.org

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ